

Левь по Звучу 1989



Левь по Звучу
1989

~~Восточная часть России~~

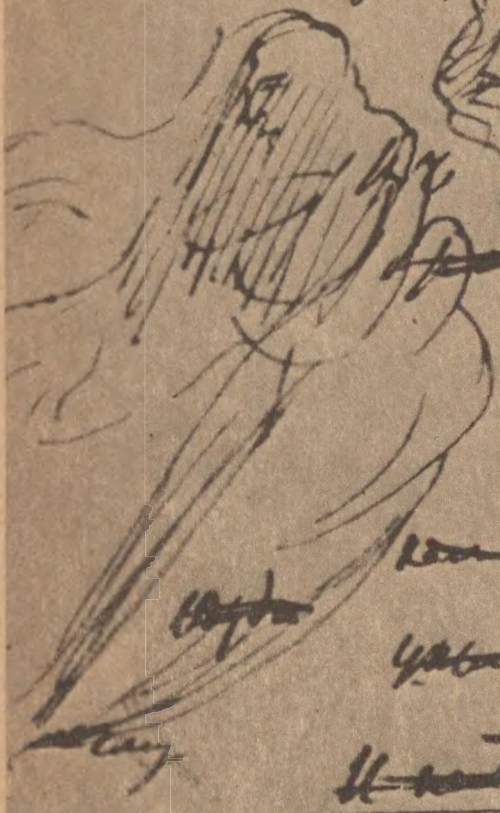
~~Россия, восточная часть~~

~~Россия, восточная часть~~

~~Россия, восточная часть~~

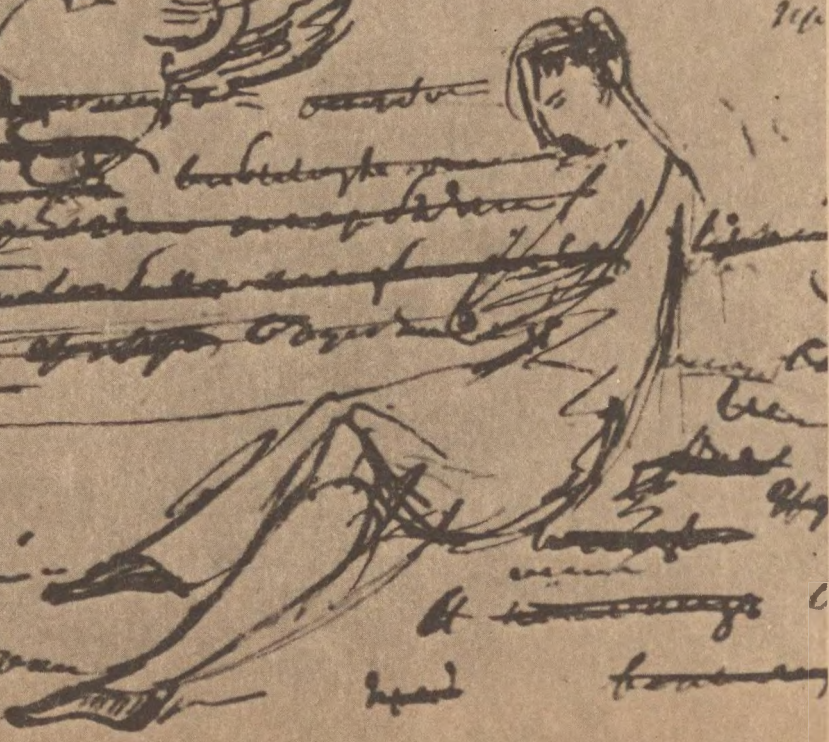
~~Россия, восточная часть~~

~~Россия, восточная часть~~



~~Россия, восточная часть~~

~~Россия, восточная часть~~



~~Россия, восточная часть~~



A. T. Kuznetsov



A large, stylized, handwritten signature in black ink that reads 'Лев' (Lev). The letters are fluid and interconnected, with a prominent loop at the top of the 'Л' and a long, sweeping tail for the 'в'.

Главный редактор — Анатолий Передрев.

Редакционная коллегия:

*Лев Аннинский, Вадим Кожиков,
Вячеслав Куприянов (составитель),
Владимир Лазарев (составитель),
Юрий Левитанский, Игорь Ляпин,
Алексей Меньков, Борис Примеров,
Валентин Сидоров, Владимир Соколов,
Владимир Солоухин, Анатолий Софронов,
Людмила Щипазина.*

коззи

Р.С.

СБОРНИК
ОФОРМЛЕН
РИСУНКАМИ
ПОЭТОВ

Москва • Советский писатель

1981

На первой странице обложки — репродукция с картины Н. Рериха «Строят лабью».
На развороте перед титулом — фрагмент рукописи и рисунки А. С. Пушкина.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1981

М., «Советский писатель», 1981, 240 стр.
План выпуска 1981 г. № 165

Редактор **В. С. Фогельсон**
Художник **Д. С. Мухин**
Худож. редактор **Н. С. Лаврентьев**
Техн. редактор **Н. М. Минская**
Корректор **Л. Н. Морозова**

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

Недавно в Англии в кругу специалистов русского языка и литературы мне был задан такой вопрос: какой смысл вкладываю я в понятие «партийность в литературе»?

— А самый простой, жизненный, — ответил я. — Ленинский смысл. И не я вкладываю, а сама жизнь вкладывает. Партийность в литературе для нас, советских писателей, это прежде всего — партийность в самой жизни. А сфера деятельности нашей партии, как известно, практически безгранична. Безгранична и ее ответственность. Коммунистическая партия — это первоответственный отряд не только рабочего класса, но и всего народа. Партия ответственна и за уголь, и за хлеб, и за нефть, и за чистоту наших рек, и за то, разумно ли, скажем, рубят у нас лес, и много ли у нас его рубят, и чисто ли небо над нами, и достаточно ли мы вооружены, чтобы сохранить это небо мирным... Партия ответственна и за то, сколько на душу у нас приходится километров дорог — рельсовых, бетонных, каменных — всяких... И сколько на душу у нас приходится метров жилья, шелка, шерсти, сукна... Словом, за все ответственна наша партия. И больше всего за то, конечно, сколько на душу приходится души.

Так сказал я тогда.

И вот новое подтверждение тому — Основные направления, материалы XXVI съезда нашей партии. Это — действительно грандиозный документ. Просто читать его — мало, надо вглядываться, вдумываться в него, настолько он многопредметен, всеобъемлющ. Все тут имеет глубоко обоснованный смысл.

Великому слову великого документа даны права и силы стать в ближайшие годы не только чертежом, но и образом, реальной явью на всех направлениях нашей социалистической экономики и духа народного. И мы знаем: будет так!

Направления... Направления... Много их, даже очень много, главных и основных... И все-таки, что ни говори, самое главное из главных направлений в планах нашей партии, как всегда, было и есть — сам человек, его нравственный облик, его душа, глубина его сознания, его некичливое достоинство.

Недавно я получил в дар удивительное издание — книгу о книге. Она так и называется — «Похвала книге». В ней собраны самые мудрые высказывания-афоризмы о книге, о ее роли в жизни человека и человечества, начиная с глубокой древности и кончая нашими днями. Каж-

дый афоризм — жемчужина, соль, суть. Вот их смысловой ряд: книга и общество, книга и труд, книга и знание, книга и физика, книга и лирика... Словом, и золото, и серебро — все тут. И все тут убедительно, высоко, мудро...

И все-таки, все-таки... Ко всему этому авторитетно-незыблемому, высокому, мудрому хотелось бы добавить и самое наипростое, «ситцевое», а именно: есть книга и книга. Есть книга хорошая и есть книга плохая. А с точки зрения хозяйственной можно было бы приплюсовать сюда еще и такой небезынтересный факт: был бор, большой, вековой, златоствольный бор с белыми березами на опушке. Гудящим был, стонущим, аukaющим... Был угрюмым и светлым... Был как целый лесной мир... Был!

И вдруг этого бора не стало — в книгу ушел. Водой, рельсами ушел. Стал миром человеческого воображения, стал словом, книгой. И книга, по-видимому, стоит этого. Но только всякая ли — вот вопрос! Добро, когда это — «Клим Самгин», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Железный поток», «Хорошо!», «Василий Теркин»... Добро, когда малая толика хвойно-лиственного русского леса в «Русский лес» Леонова войдет. Добро, когда великое, ценное, став бумагой, через печатное слово сослужит службу еще более великому, еще более ценному, живое и прекрасное в природе — живому и прекрасному в слове, в строке, в абзаце, в книге. Сослужит службу истинно талантливому, прекрасному, доброму.

В нашей многонациональной литературной общности богатых языков, жанров и талантов, достаточно много таких книг, которые позволяют в полный голос сказать о ней, как о литературе мощной, жизненно богатой, кипучей литературе.

Но, к сожалению, бывают и такие книги, которые не стоят даже тех печальных пенек на скорбном месте того размашисто-широкого лесоповала. В самом деле, в книгу, можно сказать, полег целый вековой бор, а в ней, в этой книге, не по затратам так все немощно, так все несвежо, как в какой-нибудь беззаботно-эстетски прокуренной комнате. Так в ней вторично все, так все десятикратно даже, что нестерпимо захочется первоисточника — зазря погубленного леса того. Такая книга и не книга вовсе. Она даже дважды не книга. Она дважды убыток, дважды ущерб. Ущерб экономический и ущерб эстетический, идейный.

Но вторичность — это еще полбеды. Полная беда в том, где есть только видимость чего-то. Есть некая такая таинственная неясность вокруг

некоей такой туманной неопределенности. Это в основном касается некоторой части стихов. Есть отзвук от отзвука, но нет самого звука, есть ответ от ответа, но нет самого света. Есть что-то откуда-то чем-то навешанное, но не увиденное, не пережитое, не познанное.

У одного среднемолодого поэта, предрасположенного к такой вот навешанности, — уроженца деревни, кстати, — я как-то спросил: а ты знаешь, когда сеют овес? Он ответил: не знаю и знать не хочу — я поэт! Сказал и пошел в Дом литераторов, как на службу пошел.

А Пушкин, между прочим, знал, когда сеют овес, знал, какие они и сколько у него лошадей в Болдино. Больше того, я досконально убежден в том, что уровень его познания проблем сельского хозяйства тех времен, если сравнить с нашим временем, ничуть не ниже уровня даже самого знатного председателя колхоза.

А Лермонтов? Удивительно и то, что он гений. Удивительно и то, что этот гений служил всего-навсего поручиком, думал о солдатском провианте, об овсе для лошадей... И при этом так гениально писал о Демоне, о Тамаре, о Бэле, о Максиме Максимыче... И где... Когда?.. В каких залакированных кабинетах? Вот — чудо!

А тот среднемолодой сочинитель, как на службу, к столику пошел. Вдохновляться.

У нас почему-то принято думать: если риторизм, то обязательно восклицательный, под голосовым ударением, значит. Это — правда, но только вполовину. Есть еще и шепотный риторизм, риторизм в домашних, стариковских тапочках, с подвялым цветочком в руке. Риторизм по пути от Маяковского, Твардовского, Есенина — куда-то туда, к Надсону, к антикварной лавке, к покосившимся крестам на погосте, к унылым осенним дождям весной, к преждевременному листопаду в июле, к целлофановой тоске в целлофане... Риторизм по пути к заведомо кокетливому, пряному постарению... Боюсь я такого риторизма — нарочито шепотного, с хрипотцой под интим. Особенно в среде молодежи. И хочу предупредить — это не тот путь. Это даже скорее беспутьца, чем путь. Путь нашей поэзии — это путь в жизнь, к беспокойству, к познанию и созиданию, к человеку деятельному, общительному, бескорыстному. К этому нас, литераторов, призывает партия, и это близко, дорого нашим мыслям и чувствам.

На одной встрече за рубежом мне был задан такой вопрос: «Не кажется ли вам, что ваша литература слишком много говорит о войне, о памяти?» Я ответил: «Нет, не кажется». И в свою очередь спросил спросившего: а вы были на войне? Он заколебался, но ответил: нет.

«А в кругу ваших близких родственников, друзей, знакомых много ли убитых, искалеченных, без вести пропавших?» Он еще более заколебался, но ответил: мало. И вот тогда я ему сказал при всем замершем зале: а я воевал. И в кругу моих близких родственников, друзей и знакомых очень и очень много убитых, искалеченных, без вести пропавших — больше половины мужского населения всего нашего воронежского степного села. А в нашем селе до войны было 15 тысяч населения. Так вот — погибших и без вести пропавших из нашего села больше батальона. У вас был один Ковентри, стертый с лица земли фашистами, а у нас их почти две тысячи. В их числе такие, как Сталинград, как мой родной город Воронеж, Минск, как весь Донбасс...

Все в крошку, все в железные узлы... Мы потеряли в войну 20 миллионов близких, дорогих своих — 20 миллионов! Вдумайтесь в эту цифру, взгляните, вчувствуйтесь в каждую скорбную единицу, составляющую эту невыносимую цифру, в каждое лицо всмотритесь, вчувствуйтесь в биографию каждую, в судьбу, и тогда, я думаю, вы не будете кощунствовать, задавая такие вопросы.

Мы выстрадали свою память. И объем, и вес этого выстраданного всегда будет определять объем и длительность нашей памяти, длительность разговора о войне. И ее, такой памяти, и его, такого разговора о войне, хватит не только нам, но и нашим детям, нашим внукам.

И еще я сказал тогда: фашизм отучал людей мыслить. Наши враги, враги мира, всячески стараются сейчас отучить нас помнить. Не выйдет, господа!

Все испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет, нас разя.
Сердца! Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

Давно это было написано Василием Федоровым, но как это современно звучит. И еще из стихов Федорова:

Мы спорили о смысле красоты,
И он сказал
с наивностью младенца:
— Я за искусство левое. А ты?
— За левое,
Но не левее сердца!

Хочу добавить: и не левее партии, не левее народа! И не правее! А вместе, в одном строю — и в творческом, и в боевом!

Сергей Смирнов

* * *

И колокольчик под дугой,
И зорь небесное кружало,
И флаг
 с эмблемой дорогой —
Все это
Ты, моя держава!

Вгляжусь
 попристальной —
 вокруг

Простор,
Одна Шестая Света.
И под рукой
Станок,
 и плуг,
И оборонная ракета.

И по безбрежьям дорогим
Хлеба да стройки —
 строй за строем.

И рвется с уст
Партийный гимн:
— Мы наш,
 мы новый мир построим!..

* * *

Я — это «я»
 без ячества,
 без грима,
Без пышных благ
И нищенской сумы.
Я —
 это все,
Что дорого, что зримо.
Я — это
 собирательное
 мы.

Я —
 проза повседневности...
И — Муза...
И все,
 что светит
Сердцу и уму...
Я — Гражданин Советского
 Союза,
И нет меня
Без верности
 Ему!

Виктор Полторацкий

ВЕЧНО ЖИВОЕ

Как бесконечность обновлений,
Проходит жизнь за годом год.
Забыто многое. Но Ленин
В народной памяти живет.

И мрамором скульптур, и ликом,
Что на холсте изображен,
И тем, что в малом и великом
Всегда и всюду с нами он.

Как будто и сегодня снова
В заботы наши он проник,

Звучит его живое слово
И мысли бьет живой родник.

А так и есть. Ведь неуклонно
О благе мира хлопоча,
Живут партийцев миллионы
С душой и сердцем Ильича.

Кто силу партии измерит!
Из года в год она растет.
Народ, как Ленину, ей верит
И, как за Лениным, идет.

ОТЗЫВАЕТСЯ В СЕРДЦЕ

Есть
драгоценного сплава
слова.
Соединились в них
нежность и сила.
Слышится:
Ладога, Волга, Москва...
А отзывается в сердце —
Россия!

Суздаль,
восставший из древних глубин,
звон луговых колокольчиков
синих.
Пух голубиный,
кисти рябин —
милая сердцу,
родная Россия.

Красные звезды
на башнях Кремля.
Ленинской мысли

свет негасимый.
Дружба народов,
что крепче кремня.
Гром обновления жизни —
Россия.

Мирное небо
над головой,
раннее утро,
березы босые.
Необозримый
простор полевой,
песня от чистого сердца —
Россия!

Все обнимается
словом одним.
В нем наше мужество,
нежность и сила.
С ним мы родились,
живем и творим.
Здравствуй, Отечество наше —
Россия!

Михаил Матусовский

К ВЫНОСУ ЗНАМЕНИ — ВСТАТЬ!

Слово знакомой команды
Слышу опять и опять.
Вносится Знамя Победы.
К выносу знамени — встать!

Встать перед теми, кто падал
Грудью на лающий дот.
Кто из трясины новгородских
К нам никогда не придет.

Кто на речных переправах
Шел, словно камень, ко дну.
Кто на века безымянный
Канул в фашистском плену.

Кто согревался дыханьем
В стужу блокадных ночей.
Кто улетал вместе с дымом
Из бухенвальдских печей.

Кто перехватывал с ходу
Корсунь-Шевченковский шлях.
Кто подрывался на минных,
Смертью набитых полях.

Кто, ослепленный ракетой,
Вдруг попадал под обстрел.
Кто в умирающем танке
Вместе с броней горел.

Кто зарывался в траншеи,
Землю ногтями скребя,
Шквальный огонь «фердинандов»
Как бы приняв на себя.

Кто ради правого дела
Сердце отдать был готов.
Кто под машины ложился
Вместо понтонных мостов.

Кто за родные пределы
Гнал чужеземную рать...

Вносится Знамя Победы.
К выносу знамени — встать!

Юлия Друнина

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Бывают такие секунды,
Когда, как на фронте,
В бою,
Ты должен подняться,
Хоть трудно
Покинуть траншею свою.
Хотя отсидеться бы проще —
Никто ведь не гонит вперед...
Но гордость солдатская ропщет,
Но совесть
Мне жить не дает.
Но сердце
Забить не сумело —

Бесчестие
Хуже чем смерть.
На бруствер,
За правое дело
И страшно,
И сладко взлететь!
Отчаянно, бережно, чисто
Люблю я
Отчизну свою.
Считаю себя
Коммунистом,
Хоть в Партии
Не состою.

МОЯ ЗВЕЗДА

Уклончивость —
Она не для солдата:
Коль «нет» — так «нет»,
А если «да» — то «да».
Ведет меня и ныне,
Как когда-то,
Единственная —
Красная — звезда.

И что бы в жизни
Ни случилось, что бы —
Осуждены солдатские сердца
Дружить до гроба,
И любить до гроба,
И ненавидеть
Тоже до конца.





Василий Казин

МОЛОДОМУ ПОЭТУ

Да, ныне пишущих — оравы.
И вдруг из них и ты, орел,
Ко мне, видать, в поимке славы
Как на литисповідь пришел.

И, высясь чуть ли не верзилой,
Во весь напыжившийся дых
Прочел стихи. И вот что, милый,
И вот что выскажу о них.

Мила в них личная горячка
И искренность их с огонька.
Но в лирике и раскорячка:
Глубоко чувство, мысль мелка.

И, видно, пишешь без отточки.
И пишешь ритору под стать.

ЗАЩИТА

И кто ж не видит — тих на диво.
А только былью тряхани —
И выявится, как визгливо
И я, родившись, встретил дни.

И, видно, заплакал живинку
Такой зарядки, что, кажись,
Как на завидную новинку
Смотрю на прожитую жизнь.

И пылко рад я, старичина,
И горд, столицы старожил,
Что сам Октябрь меня как сына
Партийным лириком взрастил.

Взрастил с Москвою яснолицей.
И правду его со строки
Освободительной жар-птицей
Мчал и в глухие уголки.

И в силах выдать выше книжку
Проник и к миру бы на вид,

Тут надо пышность сбить со строчки
И выкрики пообтесать.

А там повычистить бы с перцем
И вывертами щегольство.
Пойми ж навек, что сердце сердцем,
А мастерство есть мастерство.

А и работа есть работа,
А и попыжься, дорогой,
Чтоб и под диким ливнем пота
Пробиться дивною строкой.

И чтоб лирическая сила,
Ну как вон солнце сквозь стекло,
Лучистой жизненностью была
И было с личного-то пыла
И сердцу родины тепло.

Когда б не били как мальчишку
Плетями убийственных обид.

Но как там мысль их ни стремилась
Сбить и в безжизненность с пути,
А все ж не мстительность, а милость
Я вырешил им поднести.

Ну и не будь им тих, как рыба,
А и не слишком их суди.
Ведь и твой вскрик от их ушиба
Вскипает лирикой в груди.

И лишь добывший чин обидчик
Хлестнет мучительней других,
Глядь, и из мук я, слов добытчик,
Взметну живительнейший стих.

Да стих-то высшая защита
От лиха всякого лица.
И даже пытка плодовита
Великим счастьем у творца.

О Б Р А З А Н Н Ы

1. ЛИК ЛЮБВИ

Поди, и близких памятью откину,
А не откину, милая, тепла
И всей счастливости, как в сердцевину
Моей жизнелюбивости вошла.

И как лучась всем видом-то — и влив им,
И влив им искорки и огоньки,
Подвинула таким лучистым ливнем
Поить людей с лирической строки.

И выдала ты доброты немало.
И сколько ж ты, Анюшенька, прикинь,
Пришибленную душу поднимала,
Как солнышко поникшую полянь.

И, скидывая лихости бульжник,
Подкидывала столько дивных сил,
Что пусть и не на диво как подвижник,
А все ж радиво родине служил.

И, видишь ли, остыlostью сединой
Испытанные годы повели.
А я все пылче, как перед святыней,
Перед тобой склоняюсь до земли.

Да ведь и тем бывает стих прекрасен,
Что им любимую боготворим.
В политике культ личности опасен,
А в лирике любви необходим.

2. КРАСАВИЦА

Есть тьмы красавиц, чьи черты
И миловидностью пусты.
Но пусть хоть и сединок иней,
А как ты искришься святыней
Целительнейшей красоты!

Лишь только искоркой блесни —
И в продолжительной тени,
Где исподволь и жизнь гасили,
Я вспыхну выдержкою силы
Встречать подвижнически дни.

И чуть не кинусь в дикий крик,
Вмиг и счастливостью велик.
И что ж дивиться-то? Да ты ведь
Сильна и змия осчастливить,
Сильна блеснуть, чтоб как двойник.
И он явил святыни лик.

3. СЧАСТЬЕ

Видно, жизнь и бить нас мастерица.
То одним ударит, то другим.
А подчас и даже тем, что лица,
Призванные счастьем поделиться,
Дышат лишь как собственники им.

Ты же счастьем выглядишь иначе.
Что ни слово — милостью дивит.
И не выкрикнешь о недостатке,
Что так и не мог, мол, побогаче,
Пофорсистей вырядить твой вид.

И без шика дивная, излишку
Издавна противишься сему.
Как по солнцу, каждой мысли вспышку,
Каждую я страсть свою, страстишку
Проверял по сердцу твоему.

Смерть придет к нам в дом как ледяная
И неотвратимая беда.
И, поживший, ткнусь к ней, заклиная
Мигом так сместиться лихом льда,
Чтоб не я тебе, а ты, родная,
Мне глаза закрыла навсегда.

4. НА КЛАДБИЩЕ

Ай, как же мне тут каждый миг и горек,
И вновь до умиленности чтим,
Когда на тихий глинистый пригорок
Взберусь к могиле с именем твоим.

И, видимо, все лише век, сердитей
Усиливая взрывчатую прыть,
Пронзительными вихрями событий
Летит тебя и с памяти мне сбить.

Но как давно не предана покою,
А только и во сне и наяву
Поистине покойною тобою
Живее, чем живыми, я живу.

И даже не живой водичкой брызги,
А лишь ожить-то я тебя взмоли —
И истовой вершительницей жизни
Вмиг так и высверкнешь из-под земли.

И, вмиг могилу высветлив в светлицу,
До жилочки вся выявишься ты,
С девичества теплившая столицу
Пленительной улыбкой доброты.

И, двигавшая к избранной вершине
Лирические вспышки сил моих,
Да удивительнейшая, и ныне
Даришь мне вдохновенность на стих.

Даришь счастье высшего пошиба.
И как тебе, укрывшаяся в тишь,
Не выкликнуть великое спасибо
За то, что ты и смертью жизнь творишь.

Владимир Луговской

1901—1957

В 1981 году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского.

«Владимир Луговской был русским поэтом, прекрасно знавшим отечественную историю и литературу,— писал Николай Тихонов.— У него было замечательное понимание слова: он тонко ощущал звукопись нашего русского стиха, с его переливами и многообразием тонов, с его чувством песенного, жемчужного словесного полета, с его ритмическим упоением, уносящим слова-строки в просторы времени...»

Поэзия для Луговского была земным дыханием, жаждой, ответом на сложнейшие вопросы бытия, великим праздником.

Праздником встречи поэтов с читателем мыслил себе Луговской и альманах «День поэзии», родившийся по его инициативе двадцать пять лет назад. Он хотел, чтобы новый альманах объединял поэтов разных поколений, разных темпераментов, разных школ. Хотел, чтобы «День поэзии» стал ежегодной проверкой стиха на «Знак качества».

Время не сберегло многих из тех, кто стоял у истоков этого издания. Раньше всех оно унесло Луговского, которому довелось увидеть лишь первый выпуск задуманного им альманаха.

Он любил повторять слова Гете: «В ограниченье мастер познается». В архиве Луговского сохранилось много неопубликованного. Стихи, которые печатаются ниже, впервые приходят к читателям.

Стихотворение «Москва напрягается, когда с холма...» относится к раннему периоду творчества В. Луговского.

Стихотворение «Куст» было начато в Ташкенте в военные годы и завершено поэтом незадолго до смерти.

Маленькая поэма «Когда я был зеленым лопухом» относится ко времени, когда Луговской работал над своей главной книгой — «Середина века».

Е. Л. Б Ы К О В А

* * *

Москва напрягается, когда с холма,
Холма Калиты,

Иоанна,

Малюты,

Летят, сотрясая дворцы и дома,

Громы торжественного салюта.

Плывут эскадрильи среди облаков.

Плотнища старых знамен алеют.

Недвижны тугие квадраты полков

У каменнорубежного Мавзолея.

Ты славой суровой навеки легла
Вокруг этих стен и буреющих башен,
Когда пулемет, как тупая игла,
Пробивал ключья солдатских рубашек.

И цепи ложились, и цепи ползли,
Пожары качались, и стекла звенели.
Орлы императорской русской земли
Топорщились в тучах октябрьской шрапнелл.

Дома на Неглинке как свечи горят,
Слабеет сухая горячка отпора,
Шестидюймовок брезенты скрипят,
Пробит белокаменный холод собора.

Так Кремль затихает перед концом,
Так в жерла ворот, где века прошумелл,
Вступают прошитые серым свинцом
Сырые колонны пальто и шинелей.

Красногвардейцы проходят в Кремль.

1930

КУСТ

Мир этот холоден и пуст.
И вот ночной порой
Шумит, бормочет черный куст,
Куст осени сырой.

А днем он золотист и рыж
И полон кутерьмой.
Что ж ты так грустно шелестишь,
Брат невеселый мой?

Эвакуация идет.
Вздыхают поезда.

Глядит на смутный небосвод
Случайная звезда...

Звезда моя, любовь моя,
Как бесприютна ты —
Седая искра бытия
В глубинах пустоты.

Ты возникаешь без следа,
Исчезнешь без следа,
Большая тусклая звезда,
Ташкентская звезда.

1941—1956

КОГДА Я БЫЛ ЗЕЛЕНЫМ ЛОПУХОМ

Когда я был зеленым лопухом,
Ко мне пришла тяжелая улитка
И ползала и щекотала листья,
А наверху синело небо
В кольчужных круглых богатырских тучах,
И по дороге шли богатыри,
Перемещая алые рубахи
Среди холодной зелени берез.
Они топтали белую дорогу
Старинными большими сапогами,
Они качали на тяжелых бедрах
Крыжатные и тусклые мечи.
Они болтали всяческую кривду
Про нашу землю, крапленную кровью,
Из коей я возник среди крапивы —
Могучий русский молодой лопух.

Улитки шли холодным скользким строем,
Улитки шли, похабно выгибаясь,
А между ними медленно шагали,
Рубахами горя, богатыри.

Она была в то время несравненна,
Многочудсна, копьями томима,
Покрыта хмелем, мхом и повиликой,
Неведомая русская земля.
Она неслась от моря и до моря
Осенним ливнем, синюю фатою,
Великолепьем красногрудых сосен,
Построенных у гробовых озер.
Ходили мужики в портках холщовых,
Скакали конники в квадратных бронях,
Летели пчелы в золотых уборах,
Отец Перун сидел у черных изб.
Он целовался при медовом свете,
Исполненный полуночной истомой
Луны столетий, а потом тоскливо,
Кобенясь, приходил к своей жене.

Она ему давала оплеухи
Не больше и не меньше,
чем случалось
Схватить седому Одину, который
Германцев вел в славянские края...
Могучий русский молодой лопух,
Я восходил, седой, при Святославе,
От моря и до моря простираясь,
Ночным германцам преграждая путь.
Зачем богатыри твердят несытно,
Что слишком мягок мудрый
князь Владимир,
Что неизбежна русская земля.

Я говорю вам, маленькие люди:
Хватайте ночи, распахните зори,
Качайте колокол усталых звезд,
Земля гороха, хмеля, повилики
Опять летит побитая копытом,
Опять встает, великая и злая,
Над Доном и над Волгой слюдяной.
Щеглом свистя, восходит пар сосновый,
Болото дышит, запевают листья.
Священная и добрая, возникла
Над ними святорусская земля.
Живи еще хоть сотню лет, товарищ,
Все те же будут плакаться березы,
Все те же будут оплывать болота
И голос девок не умчится вспять.

Они идут, три витязя железных:
По рыжему, как башни, краснолесью,
По рекам из отборной, древней стали,
По черноземным громовым полям.

Потом пришли курдючные татары,
Потом взошли монгольские созвездья,
Потом рванул над нашей мягкой речью
Пустынный тюркский ветровой язык.

Уже не надо Дон черпать шеломом,
Уже не надо рать кидать по склонам,
Уже не надо по степям зеленым
Тоску людей считать за речью речь.
Ты все одна — высокая, как небо,
Ты мне нужнее и теплее хлеба,
И над тобой крестовый русский меч...

Когда я был зеленым лопухом,
Я окружал спокойный, ветхий дом,
Я песню мчал от края и до края.
Теперь я очень точно вспоминаю,
О, русская земля, как прежде ты
Над Доном и над Волгою колышешь
Твои тугие белые холсты,

Николай Грибачев

ИЗ ВСЕЙ ДОБЫЧИ

Окружный мир приемля не без страха,
Ступая за неведомый порог,
Что человек всего лишь горстка праха —
Один давнишний говорил пророк.

По физике — так точка зренья верная.
Но до того, как прахом станет плоть,
В нем целая вмещается вселенная
И страсть, какой ничем не побороть.

Страсть знать, любить, творить, идти хоть
в пекло,

СПИ СПОКОЙНО В ОТЧЕЙ СТОРОНЕ

Дед мой убыл с крестиком на шее,
Перекочевал в могильный холм,
Получив от церкви отпущенье
Мнимых и действительных грехов.

Отошел, как будто в воду канув,
На чужие положил труды
Хату с шевеленьем тараканов,
Поле в завихреньях лебеды.

И не будет больше, слово к слову,
Росказней про суть и соль земли,
Про лужок, про масть коня соловую,
Про неурожаи конопли,

Про соседа, с коим вечно в ссоре,
И про то, что лес хоть и велик,
Только барский, —
старая история, —
И на лапти не добудешь лык.

Соломенные солнечные крыши.
Я поднимаю огненный стакан,
Наполненный ребристой русской водкой,
За нашу землю, крапленную кровью,
За землю тучеходных корпусов,
За гром и свет, за русский мягкий волос,
За мертвецов от севера до юга,
За горе горькое и за туман вечерний,
За лопухи и посвист богатырский,
Да будет имя им — российская земля.

1943—1944

Публикация Е. Л. Быковой и М. В. Ногтевой

Бороться с бездной, пламенем и льдом,
Чтобы душа, светясь, от счастья пела,
Чтоб все богаче — сердце, память, дом.

Но, может быть, из всей его добычи
На небесах, на суше и воде
Прекраснейшим является обычай
Друг другу руку подавать в беде.

В нем — сила мудрости и мудрость силы
Во имя жизни соединены
Над временем, над тишиной могилы,
Над изуверством злобы и войны!

Ничего за той не будет гранью,
Что легла, все мглостей становясь.
Я теперь, встречая зиму раннюю,
Пробую идти к нему на связь.

Слушай, дед, при доле нашей равной,
Хоть в разделе тот и этот свет,
Я хочу задать вопрос не праздный
И не праздный выслушать совет.

Отрешенный, дальний, упокоенный,
Просвети, в загадки не клоня,
Как такую кровью непокорной
И зачем ты наделил меня?

Для чего, еще не зная точно,
Как мы тут житье себе совьем,
Внуку норов накрутил такой, что
Хоть прибрей,
а ставить на своем?

И не прикидывайся старым,
Не надо старости внимать;
Ведь жизнь смотрел ты не по фарам,
И поздно что-либо менять.

Менять все просто невозможно,
Да, невозможно и смешно,—
Опять стучит капель весны тревожной,
Как барабан, в речное дно!

* * *

Давай в воспоминания уйдем,—
В них легче жить
И думать нам вольготней;
Все далеко теперь —
И старый отчий дом,
И юности страданья беззаботной.

Дорожки в прошлое
Как горная тропа:
То вверх они,
То вниз бегут по кручам;
Ведь юность
Беззастенчиво слепа,
Вторично ты ее
Уже ничем не мучай.

Бывает юность только раз,
А зрелость много раз,
Но к полной зрелости
Ты все равно не выйдешь:
Когда огонь у юности погас,

Как ни пытайся ты —
Ее ты не обидишь.

И все же — в юность!
В юность, как всегда!
Все в зрелости тебя
Тревожит;
Ты понимаешь,
Что беда — беда,
А заслониться от нее
Ничем не можешь.

Вот тут и вспомнишь
Степь, и вешний сад,
И лепестки, летящие по ветру;
Они летят,
Над травами парят,
Но каждый,
Каждый со своей приметой.

Пусть это будет
Как минутный сон,
Как отблеск света
Розовато-белый...
Ты был для подвигов,
Для мужества рожден,—
Подумай все же,
Что сумел ты сделать?!

Кельн

Ноябрь 1979 г.

Марк Соболев

О ТРЕХ СОЛДАТАХ...

Сыновьям и внукам

Я за плечи вас обнимаю
и тихо по строчкам веду —
в то утро
Девятого мая
в двухтысячном с чем-то году.

В садах еще зябко и мокро,
но вот уже зорька зажгла
домов стояжкие стекла
и маленькие купола.

Светлеет задумчивый Пушкин,
и Красная площадь горда...
Шуршат на воздушной подушке
рассветной поры поезда.

Навстречу встающему солнцу —
знамен полыхающий строй...
Минутку!

Сейчас он проснется,
мой первый и главный герой.

Не тот, что всесветною славой
внесен над толпой и велик,
а просто седой,
сухощавый,
негромкий и легкий старик.

Он настезь окно открывает,
ликующий слушает шум.

и всех, кто живой, упомянет,
и мертвых своих помянет.

Спасибо отсывчивой славе,
отчаянной дружбе хвала;
спасибо судьбе-переправе —
живого к живым довела!

Прекрасен, высок и печален
той встречи пронзительный миг...

...Так где же вы, однополчане?
Не надо! Они замолчали,
навек умолкли, старик.

Как раненый
на пепелище,
глаза приподняв тяжело,
он взглядом товарищей ищет,
а их на клочки разнесло.

Скосило. Годами сразило.
И в сквере, что весь на виду,
нигде ни флажка, ни призыва,
а были же в прошлом году!

Исчезли. Ни звука. Ни следа.
В крошечную сгнули тьму.
И шепчет «последний, последний»
листва молодая ему.

Он понял. Он тяжко спокоен,
как лед на безмолвной реке.
И я бы, ребята, щекою
к его бы прижался щеке.

Но в том звездолетном столетье,
в сиреневой кипени дня,
на милом на этом на свете
давно уже нету меня.

Распахнут ликующий праздник,
и звонко Москва молода...
Так будьте, как память, пристрастны,
когда вы придете туда!

Там видится как бы извечной
Победы чеканная медь,
и где уж в седом человечке
живинку ее разглядеть.

В толпе, но как будто сторонкой,
в пути приотставший на миг,
подтянутый, легкий, негромкий,
последний идет фронтовик.

— Смелее, воробышек, в ногу! —
кричу я ему сквозь века...

...Конечная наша дорога,
как смертно она коротка!

Но держится старая стража —
моих ветеранов редут,
почетом ли важно уважают,
иль наглым плечом ототрут.

В крутой повседневности буден,
что в дело легла, как печать,
не надо нас чествовать, люди,
а надо нас
не огорчать.

Персоны не слишком большие
из передового полка,
мы все, что могли, совершили,
не все довершили пока.

К высоткам эпохи далекой
еще проторяем пути...
Прощай, мой солдат одинокий,
родной и последний, прости!

В свое воспаленное время,
кому присягал и служу,
из этого стихотворенья
я — третий солдат — ухожу.

В грядущем
Девятого мая,
дымком и песком становясь,
на вас я его оставляю.
Я очень надеюсь на вас.

Михаил Львов

* * *

Не разрешаю
в разговорах
Развенчивать
друзей моих,
В несправедливых
спорах-ссорах...
Я лучше прочих
знаю их.
Давно их образ
узаконен
Для поколения всего.
... И Наровчатов,
И Луконин,
Неотделимый от него,—

Блистательные
мушкетеры.
Послепобедная Москва!
На битву —
яростны и скоры!
Бескомпромиссны их слова.
Хлебнули мы
беды и браги
Послевоенных схваток тех.
А их
невидимые шпаги
Прокладывали путь
для всех.

* * *

— Уходит наше поколенье,—
Кайсын печально мне сказал.—
А нам давалось покоренье
И жизни,
и вершин,
и скал.
Какие были мы джигиты
В любви,
и в песне,
и в игре!
Еще полвека⁷ хоть живи ты —
А не вернуться к той поре...

Мне к возрасту не применится —
Все «рыпаясь» я
до сих пор.
Как с тем уходом примириться?
Принять его
как приговор?
...Уходим мы —
без возвращенья —
В глубины
памяти
страны,
Изъятые
из обращенья,
Как золотой запас
казны.

* * *

...Полвека уже говорю я по-русски.
Полвека на русском
мне снятся и сны.
На русском — и счастье,
и все перегрузки,
Победы и беды мне были даны.
Лишь изредка
детство — внезапно — приснится,
Тогда говорю по-татарски во сне
И слышу сквозь сон,
как влажнеют ресницы,
Как детство сиротское
плачет во мне.

Константин Ваншенкин

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

В белой аллее, под светом луны,
Землю украсив,
Пушкин стоял — как с другой стороны
Есть Тимирязев.

Медленно с другом моим дорогим
Шли мы на пару.
Непостижимо дурманящий дым
Плыл по бульвару.

А между губ, как лесной светлячок,
Нежный фонарик,—
Тлея, озаряя неясности щек,
Малый чинарик.

С девушкой мы познакомились тут,
Что-то ей пели,
А за оградой светлел институт
Ясностью цели.

Память непрочная, вспомним давай
С маленьким риском,
Как пробегал трехвагонный трамвай
Прямо к Никитским.

А на весеннем бульваре Тверском
Пахло сиренью.
Да вдалеке постовой со свистком —
Как со свирелью.

В КОНЦЕ ВОЙНЫ

Не то чтобы стройный рассказ
Из жизни тогдашнего тыла,
Но я представляю сейчас
Примерно, как там это было.

Все ближе победная весть.
Девчонки в смятенье высоком.
Не голод, но хочется есть,
Да бьет возбуждения током.

* * *

Видишь, как гордо,
Золотом светлым своим дорожа,
Кленов когорта
Высится, не доходя гаража?

Небо невинно.
Холодно. Дождик покапал едва.

* * *

После долгих невзгод и атак,—
К счастью, именно после,—
Их столкнуло, негаданно как
Оказавшихся возле.

Две судьбы обратили в одну,
Так свели их и свили,
Чтобы вместе и ввысь, и ко дну,
И в бессилье, и в силе.

Словно пласт плодоносной земли —
Так ночами и днями

Соленый огурчик один
Запутался в длинном укропе.
А мы — среди чуждых равнин
Давно уже в старой Европе.

А здесь громыхает салют.
Снимают защитную штору.
Болтают, что скоро сольют
Мужскую и женскую школу.

Снега не видно,
И до него еще месяца два.

И ни листочка
Нет под ногой. Но, однако, теперь
Ставятся точки
В перечне всех очевидных потерь.

Перекрестно они проросли
И сцепились корнями.

Поддержать на подъеме крутом?
Дать уставшему руку?..
Крозь свою, не однажды притом,
Перелили друг другу.

...Вот сидят они возле стола,
Что уже приготовлен для чая,
Продолжая другие дела,
Две различные книжки читая.

Василий Федоров

РУССКИЕ ПЛОТНИКИ

От житейской экспрессии
В поредевших лесах
Умирают профессии
У меня на глазах.

Мастера и работники,
Рукотворцы хором,
Где вы, русские плотники,
С золотым топором?

Вот среди бойко оплаченных
Дом, как нищий в гостях,
Весь в древах изнахраченных,
Весь на ржавых гвоздях.

Где ж вы, бревноукладчики,
Воздвигавшие дом?

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Ты мне ужасен,
Новый год,
Как поздней истины приход,
Когда обманутую память
Смирять нелепее всего,
Когда и праздника не справить
И не исправить ничего.

Еще ужаснее прозренье,
Что новый год
Без обновленья.
Все та же рана, та же боль
За новогоднюю границу,
На ту же рану та же соль
Из той же горькой солоницы.

За мной
Из декабря в январь
Переползла все та же тварь.
Она, дыша дыханьем смрада,
Вино из той же чаши пьет
И, пополняя дозу яда,
Все те же злые кольца вьет.

А больше
Вот что устрашает:
Меняться мир не поспешает.
О человечества заря,
Ты обещала нам не мало.
И что ж? Дубинка дикаря
В наш умный век
Нейтронной стала.

Где вы, где, конопатчики
С конопляным жгутом?

Этих «где» — изобилие,
Для ответов на них
Нам остались фамилии
От профессий былых.

Где вы, тоже не лодыри,
В деле знавшие честь?
Нет вас, звонкие бондари,
Только Бондарев есть!

Не поможет в экспрессиях
От бетонного ига
Уходящим профессиям
Даже Красная книга!

Нет новизны.
В людской полове
И умереть уже не внове.
Как часто на земных путях
В мечтах за высоту и дальность
Я умирал в чужих смертях,
Что умереть —
Почти формальность.

Та жизнь,
Что нам прожить дано,
У вечности — всего окно.
И без того обзор не дальний,
А тут еще она, судьба,
Вдруг явится, закроет ставни
И приоткроет погребя.
Как мне узнать
По знакам сущим,
Что будет без меня в грядущем?
Хочу, когда сверкнет коса,
Когда во прах пойду, увечный,
Оставить на земле глаза,
Чтобы на мир глядели вечно.

Хочу, чтоб в те,
Иные дни
От счастья плакали они,
А в горестях — совсем немного.
С душой, где все наперекосяк.
До слез любви,
До слез восторга
Я в этой жизни не дорос.

Душа, гневясь,
Вдвойне бунтует,
Когда и красота плутует
Из-за рублей, из-за квартир,
Из-за минутного блаженства.
Пока несовершенен мир,
Не будет в людях совершенства.

Ты мне ужасен,
Новый год,
Как поздней истины приход,
Что мы для будущего слепы,
Что все предвидеть не дано,
Что жизнь моя в страстях нелепых
У вечности — всего окно.

Леонид Мартынов 1905—1980

«Со смерти все и начинается», — сказал Леонид Мартынов, и мы не хотим видеть печали в этих его словах, ибо они верно провозгласили закон вечной жизни творческой личности. Давая ранние стихи из архива поэта, мы продолжаем его разговор с молодостью и о молодости, ибо и сейчас мартиновский голос звучит свежо, искренне и необычайно современно.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

СУББОТА

Суббота бегала на босу ногу,
Чтоб не стоптать воскресных каблучков,
Кой-кто еще хотел молиться богу
И делал книгу целью для очков.

Но вообще рождалось опасенье
У всех, кто бросил думать о труде,
Что будет жарким это Воскресенье
И даже пламень грянет кое-где!
1919

* * *

Горело лицо от пощечин,
Чужая победа пришла
Холодной и мутной весной.
Сказала: — Ты мой дружок! —
Грустна и невесела,
Сказала: — Пойдем со мной! —

И всем молодым и старым —
Казался ненастоящим
Болезненный жар моих щек.
А жизнь была тротуаром,
В Грядущее уходящим
Из-под нетвердых ног.

1919

РЕВМАТИЗМ

Допытывал я у шаманов:
Как научил вас бог Ульгень
Среди морозов и туманов
Предвидеть оттепели день?

Мои испытанные кости
Так сильно ноют в эти дни,
Что, вероятно, на погосте
Не успокоятся они.

Теперь барометра не хуже —
Я чувствую приход весны,
И чую я прихода стужи
С определенной стороны.

И буду знать, в какие краски
Окрасилась вверху заря...
А вы живете по указке
Бездушного календаря.

1922

ТЫ — ПОЕЗД

Ты — поезд! Я падал на рельсы:
Ну что ж, уничтожь, налети!
Увидела, что не бессмертен, —
Сама соскочила с пути.

Разбилась на мелкие части
Чугунная кукла-душа,
Но в черных обломках крушения
Увидел я только себя!

1923

Ничто не заменит
Зеленый огурчик,
Его я считаю
Закуской могучей.

По шумному рынку
Иду себе тихо.

— Что это, мамаша?
— Сынок, облепиха.

Земля! Ты дарами
Меня облепила.
Бессмертна твоя
Черноземная сила!

Маргарита Алигер

БЕСЕДА

Памяти К. Симонова

Ах, эти вечера воспоминаний!
Все миновало...

Вспоминать пора.
Но как расскажешь людям вечер ранний,
который затянулся до утра,
и ту неторопливую беседу,
упрямо устремленную в зарю...
Нет, лучше я на вечер не поеду.
Нет, лучше я с тобой договорю.
Договорю?

Докуда?

Смерить трудно.
Договорить дано ли в жизни нам?
Но той беседы грузное судно
всей тяжестью пустилось по волнам.
Нет, не вперед...

Обратно!

В те буруны,
водовороты, зарева из тьмы,
туда, где так неповторимо юны,
так яростно отважны были мы.
Так небогаты, так незначимы,
так безотчетно не защищены,
так ко всему готовы, так открыты
для славы, для тюрьмы и для войны.
Все может быть!

Все — жизнь!

Ах, что-то будет?!

И сбудется ли?

И пробьет ли час?

Все миновало...

И теперь нас судят.
За все, что мы любили, судят нас.
Глядят высокомерно и упрямо
и приговор выносят не судя.

Что делать, Костя?

Жить.

Стараясь прямо.

По совести. Глаза не отводи.
Чего там! Сдюжим! Всякое бывало...
Никто нас на поруки не возьмет.
И вместе быть.

Но нас осталось мало.

И то сказать! И меньше, что ни год.
И то сказать!

Хотя бы сразу, вместе,
всем поколеньем, как на бранный путь...
Но я живу и, говоря по чести,
все странно верю: можно их вернуть.
Обрадуйтесь же солнечной погоде,
земле и людям,

смертью смерть поправ.

Не умирайте, Саша и Володя!
Живите, Леонид и Ярослав!
Жизнь лучше смерти и в раскатах бури,
перед судом и в испытанья час.
Не исчезайте, Павлик, Эмма, Юрий!
На свете так невесело без вас.
Вы слышите ль меня?

Но нет ответа.

Лишь синева, без берега, без дна...
И я порой не знаю, жизнь ли это?
Еще бы!

Разумеется!

Она!

Но в сердце нет ни зависти, ни злости...
Убоги и беспомощны слова...
И только память...

Что с ней делать, Костя?

Ответа нет.

Да разве я жива?!

Евгений Винокуров

ГУЛЛИВЕР

Голубые глаза лилипутов
в голубую уставлены тишь...
Все на свете смешав и запутав,
ты туда же в пространство глядишь.
Где твоя позабытая вера?
Что стоишь ты, задумчивый гость?
И огромная тень Гулливера
оперлась на огромную трость.

И, готовя тончайшие пути
и уже презирая себя,
подползают гурьбой лилипуты,
от волнения трусливо сопя...
Но воздвиглась фигура прямая
с толстой палкою, весящей пуд,
ничего-то не понимая,
как гигантский смешной лилипут.

У МАГАЗИНА

В магазин со своей стеклотарой
он доплелся — и вот вам удар:
водки нет! И стоит он, нестарый,
потерявший свой творческий дар...

Был когда-то он молод и в теле,
взгляд сиял его зло и умно,
и писал он все время — в постели,
на прогулке, в метро и в кино.

Он подчас просыпался ночами —
был усеян бумагами пол!..
Только ангел, что был за плечами,
рассердился вдруг: раз — и ушел.

Он ругался, он бился, он плакал
и беспомощен стал как дитя...
Не вернется обиженный ангел,
беспощадно — за что-нибудь — мстя.

УЧИТЕЛЮ

Как мы с тобой в эти сети попались
времени, в это вот время твое?..
Как я любил этот согнутый палец
мне указующий в небытие!
Как мне был дорог тот лоб громовержца,
пепел сжигаемых сигарет!
Все же я где-то хранил возле сердца
школьницы в сереньком платье портрет.

Что говорить, борода не густая,
взгляд, что блестит через стекла умно...
Все ж в нем жило, сквозь года прорастая,
когда-то посеянное зерно!

Старый Арбат, что пробиться старался,
и пролетевшей машины бензин,
и палисадничек около «Арса»,
и диетический магазин,
и гастроном с предвоенным товаром,
где развесное в пакетах пшено,

я заявляю, что это недаром
было когда-то предрешиено!
И даже в штапельном платье девица,
что мне записку бросала тогда, —
нет, не случайно глазами провидца
было увидено сквозь года.
Ты бы сказал мне, что так не бывает
и среди различных всемирных утех
наша вселенная забывает
умных и глухих, и этих и тех...

Я бы ответил, что я не согласен,
люди хоть в памяти и слабы,
будет, я думаю, громогласен
звучный архангельский вопль трубы.
Тысячелетья как камешки канут
в тех беспредельных ночах неземных,
и все же умершие вдруг восстанут,
и ты будешь тоже стоять среди них.

АВВАКУМ

Не станет он терпеть позорные порядки!..
Пусть всяк тут брат и сват, пусть всяк
друг другу кум...
Он за описки встал, он встал за опечатки,
неистовый пророк, безумный Аввакум!
Как вынешь из стены хотя б один кирпичик?!..
И вот он уж встает, неистов и клокаст;

пусть это лишь всего ошибся переписчик,
но он ошибок тех вовеки не отдаст!..
Он чувствует, что смрад уже ползет из Рима,
что близится пора постыдных свар и смут,
и к отжитому страсть его неукротима:
«Все новые пути к антихристу ведут!»

Поэзия в меняющемся мире

БЕСЕДА С Д. Д. БЛАГИМ

— Дмитрий Дмитриевич, что Вы думаете о вечном и злободневном в поэзии?

— Пушкин всегда считал необходимым уточнять смысл употребляемых понятий, о чем бы ни шла речь (о народности, о романтизме и т. д.). Это важно и в наши дни. Например, мы употребляем словосочетание литература и искусство, не замечая того, что это, по сути дела, выводит литературу из семьи искусств, приводит к совершенному отделению литературы от искусства. Пушкин понимал, что искусство слова — это значит одновременно искусство мысли. Не так-то просто было принять такое пушкинское понимание литературы. Я написал книгу «Мастерство Пушкина», и понятие «литература — это искусство слова» стало общепринятым. Но тогда стали делать другие крайние выводы, что художественная форма разрушает жизненное содержание литературного произведения (в 60-х годах один известный психолог развивал это в целую теорию). И даже всерьез ставили вопрос о выведении литературы из школьных программ (мол, раз это искусство, читай и наслаждайся факультативно), забывая, что литература занимает свое особое место в семье искусств, не умаяя значения других, но принципиально отличаясь от них («Союз волшебных звуков, чувств и дум»). Вот сколь остро и действительно сегодня в собственно литературоведческом смысле и даже в общественном живом пушкинском понятие литературы.

Литература — это слово мышление, и поскольку слово-мысль включает в себя все, для поэта возникает возможность всеохватности. Мы и говорим: «Мирообъемлющий гений Пушкина» (Белинский).

Но всеохватность мысли, скажем, для Е. Баратынского наносила ущерб романтичности искусства да и самой романтичности мировосприятия. Как один из замечательнейших представителей «поэзии мысли», он это хорошо осознавал:

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Все тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нами мечом,
Мысль, острый луч! — бледнеет жизнь земная.

Пушкин это знал, но тем не менее писал: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». И ему же принадлежит: «Да здравствуют музы! Да здравствует разум!» Пушкин — художник и мыслитель — естественно объединяет то, что для других разъято, противопоставленно. Он же был и против чрезмерного «умничанья» в поэзии, упрекая в этом Вяземского. И доверие к чувству, и доверие к музыке стиха — в высокой степени свойственны Пушкину. Это находит продолжение в нашей поэзии. Противники Фета, например, очень потешались над его строками: «Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». Между тем для Фета строки эти никак

не были случайной оговоркой. «Нет музыкального настроения — нет художественного произведения», — программно заявлял он в одной из своих статей. Но и в том и в другом случае — сознательно или непроизвольно — Фет прямо опирается на творческий опыт Пушкина, лишь односторонне заостряя его.

Поначалу Пушкин-романтик видел ключ к пониманию поэзии в самой музыке слов, он рано стал мастером «волшебных звуков». И в ранних его стихах привлекает прежде всего очарование этих «волшебных звуков». Первое крупное произведение, где он становится поэтом действительности, — роман в стихах «Евгений Онегин», в конце первой главы которого он дал определение поэзии как «союз волшебных звуков, чувств и дум». Оставьте у поэзии глубокие мысли и высокие чувства, отнимите у нее «волшебные звуки» — и влияние ее ослабеет. Именно присутствие этого элемента в пушкинской формуле и объясняет особое влияние поэзии на человеческую личность.

В свете этой мысли легко решается вопрос о злободневности и непреходящих ценностях в поэзии. Если злободневность отвечает пушкинской формуле поэзии, приведенной нами выше, то она приобретает долговременное значение. Примером могут служить вольнолюбивые стихи Пушкина, стихи, обращенные к декабристам. Далее мы наблюдаем изменение тактики (после восстания декабристов), но «Анчар», так сказать, о том же, и «Медный всадник» все о том же: злободневность включается постоянно поэтом в постановку вечных вопросов. Сами-то декабристы недопонимали этого, выделяя и заостряя «злободневность», что сказалось в ожесточенных спорах Рыльева и Пушкина. Пушкин совсем не принимал рылеевских «Дум». Да и сам Рылеев говорил об утилитарности своих творений (готовил, говоря сегодняшним языком, кадры декабризма). И когда Пушкин выступил с критикой этих «Дум», Рылеев ответил: «Я не поэт, а гражданин». Вяземский приводит ответное замечание Пушкина: мол, тогда не пиши стихов, «гражданствуй в прозе». Однако Пушкин первый ввел пафос истинной современности в поэзию. Этому учился у него Ф. М. Достоевский, который писал в 1861 году: «...мы к современным вопросам пришли через Пушкина». Задуманнейшим убеждением Достоевского было то, что лишь «насущнейшее», «современное» составляет предмет истинного искусства. «Никакое воображение не придумает вам того, что даст иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь! Уважайте жизнь!» — говорил Достоевский. Он унаследовал поразительную критическую пронизательность Пушкина, умевшего мыслить категориями века, включившими в себя (пусть в зерне) политическую, общественную, философскую, этическую, эстетическую проблематику целого столетия, если не более.

— Русскую поэзию всегда отличал высокий уровень гражданственности. Меняется ли, по-вашему, это понятие во времени?

— Развитие представлений о гражданственности очень характерно для всего XIX века. Лермонтовское

представление о гражданственности не было адекватным пушкинскому (например, стихи «Кинжал»), а понял он Пушкина вполне в стихотворении «На смерть поэта», как понял и то, что проза Пушкина есть всего рода поэзия (чего не понял, к сожалению, Белинский), и именно в ее русле написал «Героя нашего времени».

Однако социальные воззрения менялись: формула Рыльева («Я не поэт, а гражданин») была в какой-то мере принята Некрасовым, правда, в несколько смягченном виде: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Но это было выражением революционно-демократической ситуации — именно «злой дия» некрасовского времени. Социально обостренное сознание ставило в тот период Некрасова выше Лермонтова, выше Пушкина. И в этом неповторимые черты определенного времени. Отклонив это сильное преувеличение, отметим, однако, что даже тенденциозные стихи Некрасова приобретали силу истинной поэзии, ибо не носили столь утилитарного характера, как «Думы» Рыльева. Сказалось и дальнейшее развитие общественной мысли. Так, если первый поэт-дескабрист В. Ф. Расветский упрекал Пушкина: «Как петь любовь, где брызжет кровь...», не замечая того, что любовная лирика Пушкина являлась новым этапом общественного сознания, то уж Чернышевский и Добролюбов значительно глубже подходили к этому вопросу. Чернышевский написал однажды Некрасову: «Вы думаете, что ценю больше Вашу тенденциозную поэзию, а я улываюсь Вашей любовной лирикой. И хотя я сам за тенденцию, люди-то стреляются не от политики, а от любви. Я рыдал, читая Ваши любовные стихотворения...» Отсюда и приятие и восторженное отношение Чернышевского и Добролюбова к стихам Тютчева и Фета (особенно Тютчева). Да и Достоевский, который резко восставал против тенденциозности Некрасова, выступал за широту поэтического творчества в пушкинском понимании. И, именно исходя из этого, назвал Некрасова великим народным поэтом, а его творчество новым этапом в развитии освободительных идей в поэзии. И только стал возражать, когда молодые люди (В. Г. Плеханов и другие) закричали: «Выше Пушкина!»

Я думаю, что этот процесс развития представлений о гражданственности в XIX веке весьма поучителен и для нашего времени.

— Были ли крупные поэты, Ваше отношение к которым менялось?

— В гимназии я увлекался Лермонтовым. Пушкин довольно долго был недооценен мной. К нему я пришел гораздо позднее. Прошел пешком по лермонтовским маршрутам на Кавказе, так любил его. Затем наступило увлечение Фетом и Тютчевым, и лишь в 30-е годы по-настоящему пришел к Пушкину, и это стало моей жизненной страстью. Из символистов более всего любил Валерия Брюсова и, откровенно говоря, не очень ценил Блока, хотя и зачитывался его стихами. Однако теперь вижу: из всех поэтов начала века, так или иначе свя-

занных с модернизмом, ближе всего к Пушкину Блок. Огромно его значение для развития современной русской поэзии, но культового отношения у меня к нему нет. А сейчас, на мой взгляд, существует некий культ Блока. Сейчас он несколько переоценен. Я считаю, что Блок не успел стать тем, кем он мог бы стать, путь его оборвался, и развитие его духа осталось незаконченным...

— Кто из современных поэтов Вам наиболее близок?

— Из поэтов последнего времени я с большим уважением отношусь к Александру Трифоновичу Твардовскому, ценю поэтический талант Ярослава Смелякова.

— Что не удовлетворяет Вас в нынешнем поэтическом процессе?

— В изменяющемся мире — в наши дни — поэзия, особенно лирика, в читательском сознании приобретает все большее значение: возникло некое всенародное влечение к ней. Возник огромный поток стихов. Здесь есть и свои слабые места: ценность поэзии в этом потоке зачастую весьма низкая, ведь истинный поэтический дар — явление весьма редкое. Так было и есть. Но мы на это подчас, к сожалению, закрываем глаза, даже в отношении профессиональных поэтов. И так, природная одаренность. Но к этому надо прибавить и такие понятия, как высокая поэтическая культура, трианический постоянный труд. Когда смотришь рукописи Пушкина, только тогда понимаешь, каким он был великим тружеником. Вяземский писал об Александре Сергеевиче: «Труд был для Пушкина очищающей кундеью». Мне кажется, что всего этого недостает многим современным поэтам и сказывается на текущей поэзии. С другой стороны, мне кажется, что существует сейчас, особенно в творчестве определенной части молодых (начинающих и не очень утруждающих себя работой) авторов, некий повышенный культ личности поэта. Между тем Пушкин не разделял романтического культа Поэта. «И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», — писал Александр Сергеевич. Однако при этом не надо забывать и о важности правдивого начала в поэте, — Пушкин, к примеру, был добрым гением в семье мировых гениев.

Нынешнее влечение к Пушкину — весьма характерно, но носит подчас декларативный характер, отдает не более как экзальтированностью авторов. Достаточно перечитать многие из стихов, посвященных Пушкину. А вот глубокое усвоение его традиций, как мне представляется, для нашей поэзии во многом еще — дело будущего. Погоня за сенсационностью и в текущей поэзии и в текущем пушкиноведении приводит лишь к некоему делячеству, которое по сути противостоит пушкинской традиции.

Беседа вел В. Тульчин

Павел Васильев
1910—1937

НА ТРАКТОРЕ

Встает рассвет,
и поднимают пар
проталины по утренним поемам,
здесь, развернувшись
сотнями гектар,
дымится даль набухшим черноземом.

Где, отступая,
медленно прошли
израненные полчища морозов,
там молодостью
вспаханной земли
нагреты дни над пашнями колхозов.

Пусть сквозь прибор
нахлынувших ветров
оттаивают северные зори,
гремящие эскадры тракторов
плывут в степном,
весеннем черноморьи.

Твоя ладонь смуглеет у руля,
крутой рычаг
переводи на «полный»!
Тяжелой зыбью
пенится земля,
вздыхая развороченные волны.

Чтоб до конца
простор перелистать,
взметнулся ветер —
звонок и неистов!

ИЗ ЦИКЛА «ЖЕНЩИНЫ»

А в цветных,
тепличных будуарах,
по старинным
нотам наизусть,
на своих изнеженных гитарах
все еще разучивают грусть.
И романс
цыганскими глазами
томно смотрит
в дымное окно.
...«Ехали на тройке с бубенцами,
а потом проехали давно-о»...

Каруселью
пестрых граммофонов,
изгибаясь,

Ты крепкогруда, и тебе под стать
почетная работа трактористов.

В глухих степях, взрывая тишину,
вновь по пластам,
морщинистым и черствым,
плыви и пой,
тревожа целину
горячим, нерастраченным упорством.

Припомни!
Как над жнивьями острей,
снопы простоволосые разбросив,
серпом звенели
песни матерей,
подкашивая золото колосьев.

И как отцы, вынашивая гнев,
впрягали жизнь
в нагорбленные сохи,
но ты за них раскинула посев
на рубеже
невиданной эпохи.

Увидишь ты
в раздолье полевым,
как посреди
раскинутого края
лучистым,
созревающим зерном
осыплется богатство урожая.

1930

вкрадчиво плывет
контрабандным грузом
привезенный
до рассвета
вычурный фокстрот.

В дыме
папиросного тумана
здесь,
тоской
работу заменив,
как листы бульварного романа,
шелестят
зачитанные дни.

Январь 1930 г.

* * *

Тогда по травам крался холодок,
В ладонях тонких их перебирая,
Он падал и, распластанный у ног,
Почти рыдал, теснясь и обмирая.
Почти рыдал, теснясь и обмирая.
Сосна огнем и дымом обросла,
Свет опускался кистью винограда,
Шумела хвой летучая игла.
Почувствуй же, какая ночь прошла,
Ночь обмороков, птичьего надсада.
Есть странный отблеск в утренней воде,

Как будто б ею умывался кто-то,
Иконная, сквозная позолота
Проглядывает краешком везде.
Ночь гул и шум гнала с полей стадами,
А песни проходили стороной.
Ты вся была как молодость со мной,
Я бредил горько теплыми следами
Случайных встреч — и ты тому виной.

1932

ВОСПОМИНАНИЕ

25 декабря 1980 года исполнилось семьдесят лет выдающемуся советскому поэту Павлу Николаевичу Васильеву. Накануне в Центральном Доме литераторов состоялся посвященный ему вечер. Выступали писатели разных поколений, и чувствовалось, как его счастливый дар, мощное, широкоохватное творчество своими художественными гранями задевает дух и мысли ныне живущих, — и современную молодежь, и тех, кто когда-то лично знал поэта.

Мелькают в моей памяти 30-е годы и наши с П. Васильевым встречи, совместные выступления перед читателями, участие в обсуждениях литературных дел, споры и ночные прогулки по бульварам Малого садового кольца.

Однажды мне пришлось летней ночью с Иосифом Уткиным и Павлом Васильевым бродить по Москве до рассвета. Разговаривали обо всем, и, конечно, о поэзии. Читали по очереди стихи, нет, не свои — чужие. Звучали строфы Баратынского, Тютчева, Случевского, Бутурлина, Анненского, Блока, Северянина, Есенина, Пастернака — всех не поминешь. После того как я прочел пушкинское «Желание славы», Уткин вдруг с простодушной хитрецей спросил:

— Старик, а у вас есть желание славы?

Я смутился, не находя в себе ясного ответа, и после краткой паузы наивно сказал:

— Наверно, есть. Правда, я этого в мыслях никогда не держал.

— Так что же вас заставляет писать стихи? — не отступался он.

Я, почти не задумываясь, ответил:

— Жизнь!

— Вот по-мужицки сказано! — воскликнул Васильев. — А я что говорил?

Я, детеныш пшениц и ржи,

Верю в неслыханное счастье.

Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи

Руки мои от своих запястий!

— Павел, — мягко запротестовал Уткин. — Вы нарушили уговор: «Свое не читать».

— Помилуйте! — И Васильев, растопырив веером

пальцы, прислонил руку к сердцу. — Это всего-навсего цитата из себя. Надо ж было подкрепить мысль...

— Ну, ну, — заулыбался Уткин. И мы с упоением заговорили о жизни как о двигателе словесного искусства, перемежая свои рассуждения стихами различных поэтов.

Именно — жизнь сияла в помыслах Павла Васильева, жизнь, крутая и нежная, она бушевала, как шторм, в его поэмах и стихах. Слышу издали, из глубины отошедшего его басовитый голос:

Мы никогда не состаримся, никогда,
Мы молоды до седин.

И вот семидесятилетие... Неужели утекло так много времени после его смерти? А он погиб совсем молодой, горячий, красивый, двадцатипятилетний, не доживший до седин. И я не могу представить его иным, ни пожилым, ни старым. Роюсь в памяти, как в архиве, перебирая потускневшие события, речи, статьи о нем. Перечитываю — в который раз! — все созданное им. Какая свежесть, какое чудотворство слова, и не потускнело серебро эпитетов, слав метафор — они сияют и звучат старинным колокольным русским звоном. Открываю архивные папки, смотрю на его неопубликованные и забытые вещи... Начальная пора. Вот стихотворение «На тракторе», оно написано совместно с талантливо начинавшим Евгением Забелиным. И все же чувствуется в этом раннем произведении сильная рука Павла Васильева, его рисунок, его манера изображать... Он подавил несколько риторичную манеру товарища. Цикл «Женщины». Он состоит из миниатюр П. Васильева и Е. Забелина. Васильевские резче, сильнее сделаны, выразительнее, мягче по тональности.

Перелистываю автографы. Рядом с «Августом» лежит небольшое стихотворение «Когда по травам крался холодок...». Его Павел Васильев написал в конце июля 1932 года на квартире С. А. Клычкова. Бумага желтая-желтая, обветшала... А на ней светятся немеркнувшие, утренние слова поэта

Сергей Поделков

ФАНТАЗИЯ О РАДНОТИ

В сорок пятом году
Возле Ораниенбурга
Пара задумчивых кляч
Тащила большую фуру
По пустынной дороге.
Возница в черном жилете,
В старой фетровой шляпе
Шагал с колымагой рядом,
Похожий на итальянца.
— Кто вы? — спросил по-немецки
Я у того человека.
Возница пожал плечами.
Остановилась фура.
Выглянули из нее
Несколько бледных, курчавых
И перепуганных детских
Рожиц. За ними — старик.
Старик одет был в тряпье,
Торчали седые патлы,
Он явно был не в себе
И закричал по-немецки:
— Я Радноти Миклош,
Великий венгерский поэт,
В городе Будапеште
Меня знает любая собака!
Меня подобрала цыгане.
И я теперь стал цыганом.
Это великое племя,

Которого не уничтожить,
Ибо ему суждены
Свобода, музыка, кони.
Нет никого прекрасней
На свете, чем цыгане!
Здесь я хочу умереть
Под скрипку и ржанье коней!
К черту — бывшая слава!
К дьяволу — бывшее счастье!
Я люблю только вас,
Цыгане, музыка, кони!..

Так орал этот странный
Старец с цыганской фуры.
Слушали молча цыгане,
Слов его не понимая.
Наши солдаты стояли,
Думая: старый свихнулся.

Я много позже узнал,
Что поэт Радноти Миклош
Погиб совсем молодым
В Сербии, в лагере смерти.

Может, ослышался я.
Но нет, хорошо помню,
Как сумасшедший старик
Кричал, что он Радноти Миклош.

* * *

Тебя мне память возвратила
Такой, какую ты была.
Когда «не любит» говорила
И слезы горькие лила.

О, как мне нужно возвращенье
Из тех невозвратимых лет,

Где и отмыенье и прощенье,
Страстей непроходящий след.

И лишь сегодня на колени
Паду. И цену знаю сам
Своей любви, своей измене,
Твоей любви, твоим слезам.

ЗА ПЕРЕВАЛОМ

Я уже за третьим перевалом.
Горных кряжей розовая медь
Отцвела в закате небывалом.
Постепенно начало темнеть.

Холодно. Никто тебя не встретит.
Камень в бездну канул из-под ног.

Лишь внизу, в долине робко светит
Одинокой сакли огонек.

Пой для храбрости, идя в долину,
Пой погромче, унимая дрожь.
Или помолись отцу и сыну.
И тогда, наверное, дойдешь.

* * *

Зачем за жалкие слова
Я отдал все без колебаний —
И золотые острова,
И вольность молодости ранней!

А лучше — взял бы я на плечи
Иную ношу наших дней.
Я, может быть, любил бы крепче,
Страдал бы слаще и сильней.

Владимир Карнеко

* * *

Т. А. К.

...Вот мы опять
сидим вдвоем с тобой.
Когда бы знать,
что может быть такое:
мир в наших душах
и покой...
А боль —
там, глубоко,
на самом дне покоя.

В твоей прическе
нити седины...
Ну что ж,

мы ничего не забываем —
мы только ран заживших не вскрываем,

нелегким грузом лет
умудрены.
С тех дней, когда
была душа в крови,
мы постигали
среди житейских буден,
как близок путь
от дружбы до любви,
а к дружбе от любви —
далек и труден.

НАША ЮНОСТЬ

Загрустил товарищ давний
загрюмел и затих.
О поре припомнил дальней,
о дорогах фронтовых...

Что ж тоскуешь ты, родимый?
В драке, хоть не лез в кусты,
жив, однако: пуля — мимо...
Так с чего же это ты:

«Словно свечечку задумо,
нет души — зола одна,
нашу юность зачеркнула
острием штыка война!..»

Да, не медом штык намазан,
и снаряд — не шоколад,
и приказ, который разом
посылает юность в ад.

И в аду кошмарном самом —
что уж тут, приятель, врать —

ты кричал сначала «мама»,
лишь потом «такую мать!».

Но и в самом раскромешном,
где пожаров злая мгла
крыла все, — в тебе, сердешном,
юность все ж была... Была!

На двоих сухарь делила
и, бывало, на спине
из огня меня тащила,
бинтовала раны мне.

Там, в окопной жиже-глине,
жили дружба и любовь,
что живут в нас и поныне...

Даровых каких хлебов
наша юность не искала
Долгий путь мы помним свой,
где судьба нас приласкала
нежностью пороховой.

* * *

Словно сам себе приснился,
встал, не зная, что к чему...
Двухмакушечным родился,
счастье прочили ему.

Золотистые кудряшки
разбежались, что огонь.
Бабкой вышита рубашка,
дедом дарена гармонь.

«Ах вы сени мои, сени...»
Это ж сколько лет уже?
Никаких землетрясений
ни в судьбе и ни в душе!

Да и что в волненьях проку?
Шел по жизни он легко.
Не загадывал далеко
и вздыхал не глубоко.

Все-то в дом, а не из дому —
где дадут, а где урвет...
Жил по принципу простому:
«Умный в гору не пойдет...»

Так и шел — легко, беспечно,
жизнь — не жизнь, а сладкий сон:
поле, луг... а вот и речка.
Вот и лодочник. Харон...

Владимир Семакин

* * *

Слишком юными,
слишком рано
самолучшие полегли.

Тяжко маются ветераны,
чьи протезы и костыли
год от года все реже, реже
перескрипом тревожат слух.
Выплывает на главный стржешь
уж не наш, одногодки, струг.

Ах, когда бы в своем-то веке
жить — поменьше бы мне тужить,
я, не частый ходок в аптеки,
мог и в следующем бы пожить.
Смог прожить бы намного дольше,
чем, наверное, проживу:
спал урывками;
помню, молча
горе снашивал;
и траву,
и макуху едал, бывало,
в незавидные времена,
и пускай не душа обвяла,
но обитель-то ей нужна —
тело крепкое,
нервы тоже
и улыбочивости чуток...

До обидного мало прожил,
рухнув замертво,
мой годок,

стал не знаю какой травой,
где земля и в ночи тепла, —
незабудкою под Москвою
иль бессмертником у Днестра...

Всё-то в памяти — гул крутого
переката нещадных лет.
От наплывов пережитого
забытущего зелья нет.

Я-то жив —
повезло, конечно.
Не контуженый, не культя.
Только с юга повеет нежно,
солнцу радуюсь, как дитя,
народившееся недавно.
Солнце красное,
в добрый час!
Будут, будут
и внук, и правнук
непременно
счастливей нас.

Лишь бы их
обошло в их веке
все нещадное стороной.
Может, к вёдру
глядится в реки
небо
радуютою двойной...

ЗАЗЕЛЕНЕЛИ ДАЖЕ КОЛЫШКИ

По берегам, на вольной волюшке,
под пенье птиц на все лады
повеселели даже колышки —
тычки рыбацьи — у воды.

Еще их почки — в грубом рубище,
а между тем, а между тем
обыкновенные обрубьши
вступили в спор с небытием.

Почти на грани сущей мистики,
на грани фокуса почти

рывок — и вызволились листики,
улав томиться взаперти.

Почти лишенная живучести
рогулька вербного тычка,
ты избежала горькой участи
и сушняка
и топляка.
Ты ожила у края воложки,
в беде ослушалась беды...

Зазеленели даже колышки —
тычки рыбацьи — у воды.

Алексей Марков

СТАРЫЕ НАЗВАНИЯ

К чему словес обвал,
Шумливых клятв Отчизне?
Кузнецкий мост — сказал,
И сладко сердце стиснет!

Рождественский бульвар...
О, как он душу греет.
Как будто в зиму жар
Горячей батарее!

И мудрые Фили,
И людная Петровка
Наследством к нам пришли.
Отцов не знать неловко!

* * *

Когда к концу подходит путь —
Воспоминания гурьбою.

...Ты мог в Дунае утонуть,
Борясь с волною голубою,
Но — миг усилия над собою,
И снова вольно дышит грудь!

Ты мог упасть с отвесной кручи,
Но — корень тополиный спас,
Такой же, как и ты, живучий.
Пыль отряхнув не суетясь,
Тупыми страхами не мучим,
Продолжил путь через Кавказ...

Скользнула пуля мимо уха:
На волосок от смерти был.

О, сколько смысла в них!
В походе, на чужбине
Чуть назовешь — и вмиг
Тоска-печаль покинет!

Названья за спиной
Сынов на подвиг звали.
Их строй вставал стеной
Перед фашистской сталью!

Живите же века,
Пока живет Россия,
Как в небе облака,
От солнца золотые...

Не дрогнул мускул, словно муха
Промчалась в безопасный тыл,
Тогда не захватило духа
И риск был чем-то даже мил...
Да. Это главное, пожалуй:
Испуга не было тогда.
По жизни шел ты разудалый,
И не беда тебе беда...

...И лишь когда прошло немало,
Далече утекла вода,
В поту холодном просыпаясь,
Я сердцем чувствую испуг
И думаю: какая малость
Тогда до смерти оставалась.
...Что помогло спастись мне вдруг?
Бояться было недосуг!

* * *

Не верьте утренним устам —
Устам забот и суесловья!
Когда ж сияет звездный храм,
Уста наполнены любовью!

Сквозит неискренностью день.
Ночь состоит из откровений!
В окошко тянется сирень.
Душистей нет ночной сирени!

Олег Дмитриев

ПРОГУЛКА В МАРТЕ

Л. Л.

С женщиной этой немолодою
Связан я радостью, а не бедою:
По Ленинграду, по Петербургу
Или, точнее, по белу свету
Шли мы...
Вовеки не позабуду
Мартовский полдень, женщину эту.

Солнце о камни, о снег дробилось,
Наша прогулка все длилась, длилась.
В каменном лесе не пропадая,
Шли мы над Мойкою, над водою.
Женщина эта немолодая
Сделалась сказочно молодою!

Может быть, в счастье, может быть, в трансе
Шли мы во времени, а не в пространстве —
Прошлые тени и силуэты
Шли нам навстречу по тротуарам —
Ведь обладала женщина эта
Их воскрешенья
Сказочным даром.

Вышли на Пряжку, к улицам Блока.
Время прекрасно, время жестоко:
К женщине этой вскоре подкралась,
Словно бежавшая вслед за нами,
Уничжительная усталость —
Та, что накапливалась годами.

Женщина милая постарела.
Небо весеннее посерело.
Пошлые тени — как сговорились! —
Все разбежались, не оглянувшись,
За поворотами растворились,
На пьедесталы свои вернулись.

Милая женщина шла устало.
Сразу печаль между нами встала,
Годы меж нами легли, как камни,
Стенами встали меж нами лета...
Стала намного больше близка мне
Немолодая женщина эта!

Прошлые годы были моими,
Темные сводыплыли над нами,—
Что огорчаться правдой напрасной?
Если по улицам невесенним
Шел рядом с женщиною прекрасной,
Это причислю к лучшим мгновеньям!

Предпочитаю истине строгой
Небо над нашей дальней дорогой,
Солнце у женщины в ясном взгляде,
Иней на долгой литой ограде,
Наши прогулки, за бога ради,
То в Петербурге, то в Ленинграде!

ДРОВЯНОЙ ПЕРЕУЛОК

Ты еще приди со мной
В переулок Дровяной.

В уходящую столицу
Ты еще приди. Зима.
Хмуро смотрят в наши лица
Обреченные дома.

Эти жалкие остатки
Надо ль снова воспевать?

А с потомков взятки гладки —
Им на это наплевать!

Утро им несет на блюде
Молодые облака.
Что ж, дома — они как люди:
Век отжили, и пока...

Наши дети очень слабо
Понимают о таком:

Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком.

Приготовясь к именинам,
Дед тальянку доставал.

Тихий домик с мезонином
С ними жил да поживал.

Все уснули вечным сном
В переулке Дровяном.

АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ

Когда летят метеориты,
Даря земле прощальный свет,
Тогда со звездами мы квиты —
Ведь и у них бессмертья нет.

За звездочкой следя падучей,
Кончающей свой долгий век,
Мы думаем с печалью жгучей,
Что где-то умер человек.
Кто это осознал впервые

На предрассветном холоду,
Поймет, что звезды все —
Живые,
И ощутит в душе звезду.

Ведь не случайно, не случайно
Звезда, за горизонт скользя,
Связала с небом нас,
Как тайна,
Которой разгадать нельзя.

Лев Смирнов

ПЕСНЯ О ЧЕРВЛЕННЫХ ЩИТАХ И БЕРЕЗЕ

Прошел по земле я с цветком медуницы,
Полями в чумацких возах...
В музеях висели знамена... А птицы
Летели, как встарь, в небесах.

Прошел я, бряцая победной кольчугой,
С тавром новгородским на лбу,
Но звезды чертили уже над Калугой
И тайну мою, и судьбу.

До нитки последней обобран монголом,
В преддверье неродственных скал
Я душу свою по яругам и долам,
Как чашу с вином, расплескал.

Я шапку, завещанную Мономахом,
Повесил на медной трубе.
Небесную твердь даровал росомахам,
А дебри оставил себе.

Я дом свой воздвиг, как велели мне предки,
У капища слова и ржи
И мудрую сказку о дедке и репке
В ногах положил у межи.

Я справил в лугах панихиду тверезо
По старым червленым щитам...
Но в душу горячую льется береза —
И слезы текут по щекам.

* * *

Жил когда-то Ванька Каин,
Шибко весело гулял.
Честным жителям окраин
Ванька спуска не давал.

Он орудовал кастетом,
Он карманы потрошил
И в полиции при этом
Тайным агентом служил.

А когда седым и старым
Знаменитый стал злодей,
Написал он мемуары
О профессии своей.

Написал, как воровал он
И как деньги пропивал.
А про то, как выдавал он,
Ни строки не написал.

ОДИН УРОК В ШКОЛЕ БОРИСА СЛУЦКОГО

Мир Бориса Слуцкого — люди. Их много. Портретно четки отдельные лица. Иногда на портрет хватается одного эпитета: *седоусая секретарша*. Да тут и судьба видна. Люди у Слуцкого при деле, никто не позирует и не служит ему предлогом для стихов «о другом». Люди говорят и выглядят так, как это было приостановлено в строке тогда-то, *в наши личные времена*. При другом составе времени это прозвучит немного по-другому — несмотря на всю нынешнюю усиленную определенность высказываний и положений. Определенность Слуцкого имеет одно счастливое свойство: она опирается на доброту дня — не на злобу его. Борис Абрамович это нам и растолковывает, называя так одну из книг: ДОБРОТА ДНЯ.

Как бы целиком читая на память и надеясь на память читателей, назову стихи, которые я люблю. *На строительстве был перерыв... Училка бьет чернилку пером рондо...* Стихи о том, как юные немцы убивали бабку — а бабка маленькая, словно атом... Стихи о матери: *она меня за шиворот хватала и в школу шла, размазывая мной*. И о ней же, совсем старой: *лежит, свернувшись на боку трогательным сухоньким калачиком*. О том, как поднимают прикладом насмерть уставших людей: *я все аргументы исчерпал. Я обезголодел, ночь не спал. Я б не смог при помощи приклада. Выставкин, сердитый старшина, лучше понимает, что война — это значит: надо, значит, надо*. Стихи о четырех верблюдах, дотянувших пушки до Европы. Лошади в океане... Некоторые стихи даже называть больно. Стихи о соседках: *и поэтому Ленка, седая как лунь, Дуньку, тоже седую, ругает, и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь! На-ко, выпей — берет, помогает!»* Совершенно пронзительные стихи — или песни? — о детских шарах для мертвых летчиков. Стихи о Коле Глазкове с предложением, пока жив, поставить ему памятник. Или эти стихи, из последних, стихи уже без слов: *у больничного окна с узелком стоит жена. За окном в своей палате я стою в худом галате...*

Говорят: Слуцкий ничей не ученик. Пусть так, но лучший из уроков Маяковского усвоен им наилучшим образом: *мало знать чистописание ремесла, расписать закат или цветенье редьки. Вот когда к ребру душа примерзла, ты ее попробуй отогреть-ка!* И прекрасно, что у самого Слуцкого учатся этому те, кто предрасположен к этому сам. Например, Дмитрий Сухарев.

Большой, сильный, здоровый, добрый и смелый человек написал множество стихов — о людях, животных, деревьях... И едва ли не каждое из этого огромного множества — так или иначе драма. *Если правда, что есть у растенной душа, то душа тополей озверела и ожесточилась*. Эти стихи глубокого сострадания, этот чистый гнев — большая редкость среди растворов и примесей. Слуцкий сделал — мимоходом — множество открытий, в которых еще предстоит нам разобраться. Стихи еще разберутся на эпиграфы... Тут есть материал для психолога, для историка, для биолога, для социолога. *Я читал усиля токкаря и пекаря, шлифующих металл и минерал, по уровень свободы измерял зарплатою библиотекаря*. И для поэта, конечно. Слуцкий удивляет своей беззаботностью и расточительностью — пока заботится о порядке наших чувств и мыс-

лей... Я сказал что-то лишнее? Удивительный поэт! О заглушем моторе он обронил фразу: *он вздрогнул, как усталый раб во сне*. Или пишет: *душа поет как молоденькая летчица*. Он был там, где не бывал. Знает то, чего знать не мог... *Бывал, бывал* — откликается стих Мартынова, чье присутствие здесь я все время ощущаю.

Политрук Слуцкий обязан был все знать, понимать и объяснять бойцам. Поэт, в нем сидящий, отметил при этом, что важны не слова — важен момент речи. Политрук поручил поэту говорить слова. Их значением жизнь не исчерпывалась. Более того — она гнула свое и так круто, что близость вчерашнего дня казалась невероятной. Сильный познающий и формулирующий ум, щедрое и деятельное чувство вступили в противоборство с жизнью, которая, как бог Иова, не объясняла своих действий. После войны Слуцкого застал мир — и поразил немотой лет на семь... То, что жизнь всегда права, — объяснение для ленивых. Для меня загадка — самообладание Слуцкого и не загадка — раздранные ризы Иова. Что означала молния, ударившая рядом? Что? Вынь да положь. Человек огромной и необходимо трагической жажды — ясности. И справедливости. Человек прямой речи. Опять Маяковский: *люблю до конца сказать, кто сволочь*. Слуцкий должен был быть прав! У него совесть пятится перед судьбой — титанический расчет с собой! — слышна тяжелая поступь статуи... Но я не об этом уроке говорю — этого мне не усвоить.

Слуцкий наш «дядька» — более суровый, чем все Бушо, Жьячинто и Карлы Иванычи вместе взятые. Он многому нас учит, от многого оберегает. Благодаря ему мы будем знать, как воевал Толбухин, будем помнить, что Есенин и Уитмен, Брехт и Хемингуэй были санитарями. При имени Кропотова — вспомним Бородино... Сведения, почерпнутые у Слуцкого, — образы факты, образы истории, сообщающие ей смысл, и смысл добрый. Что-нибудь у Бориса Абрамовича припасено для нас и на завтра — хотя мы не сварили, как Фамусов, еще и вчерашнего, и позавчерашнего.

Читая черновики Пушкина, я заметил, как он оберегает нас от головокружительной глубины того, что открывалось ему самому. Так страшно бывает за ребенка... В этом страхе за нас я вижу бесконечную доброту Пушкина — она глубже бездн, которые соблазняют малых сих. Не послужило ли это уроком Борису Слуцкому?

Возможно, тут объяснение эпической сдержанности Слуцкого и порядка в его мыслях и одежде... Тогда мне даже нравится эта улыбка, сложенная из камня, — улыбка навстречу страху и опасности. И шевельнувшийся было упрек, что у Слуцкого мало мне свободы, что в этой кубатуре не разлетаешься, как-то снижает. Я думаю. Она, свобода, у всякого своя. У Слуцкого — в том порыве *ради родины и дисциплины* — она есть. И в горе этом: *и я как собака вою над бедной твоей головой* (стихи Кульчицкому). И в этой нелепой, лишней, жалкой фигуре: *словно сторож возле снеженного мону-мента «Свободный труд», я с поста своего полусонного не сойду, пока не попрут*.

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

ДЕРЕВНЯ И ГОРОД

(Начало 30-х)

Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.

Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
хлеб с половиной,
с корой,
а также с лебедой.

За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овинном,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,
а в городе — а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
ссыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забвенье,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

РУКА И ДУША

Не дрогнула рука!
Душа перевернулась,
притом совсем не дрогнула рука,
ни на мгновенье даже
не запнулась,
не задержалась даже
и слегка.

И глядя
на решительность ее —
руки,
ударившей,

миры обруша,—
я снова не поверил в бытие
души.
Наверно, выдумали душу.

Во всяком случае,
как ни дрожит
душа,
какую там ни терпит
муку,
давайте поглядим на руку.
Она решит!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернулся из странствия, дальнего столь,
что протерся на кровлях отечества толь.
Что там толь?
И железо истлело,
и солому корова изъела.

Я вернулся на родину и не звоню,
как вы жили, Содом и Гоморра?
А бывало, набатец стабильный на дню —
разговоры да переговоры.

А бывало, по сто номеров набирал,
чтоб услышать одну полужразу,

и газеты раскладывал по номерам
и читал за два месяца сразу.

Как понятие новости сузилось! Ритм
как замедлился жизни и быта!
Как немного теперь телефон говорит!
Как надежно газета забыта!

Пушкин с Гоголем остаются одни,
и читаю по школьной программе.
В зимней, новеньким инеем тронутой раме —
не фонарные, звездные
блещут огни.

УНИЖЕНИЕ ВО СНЕ

Унижали во сне.
Сколько раз засыпал,
столько раз просыпался от негодованья:
за меня в сновиденье не много давали.
Ну, я думал, дела!
Ну, я думал, попал!

Я бы этого не допустил наяву!
И, униженный, я просыпался в надежде:
ни за что!
Никогда!
Сколько ни проживу!
Но едва засыпал,
унижали, как прежде.

Александр Балин

* * *

Родная земля...
Распаши и засеи,
Чтоб вызрела рожь — с грабелище...
Весной оседали могилы друзей
На братском поспешном кладбище.

А мы уходили от них
Навсегда —
Планида пехоты такая,
И долго за нами следила звезда,
Сквозь ельник побитый мелькая.

Следила, как знала:
Еще впереди
Утрат предостаточно будет.
Садись...

На столешницу руки клади
И думай — тебя не убудет.

И думай:
Печали испили до дна ль,
Чтоб праздновать праздник любви?
И думай:
Вот эта земляца родна ль
До хруста в суставах,
До крови?

...Над нами все та же восходит звезда
Смотреть:
Вдруг от крохотной боли
Забыли, что страшная в мире беда —
Могилы ровесников в поле...

Екатерина Шевелева

ИЗ ПОЭМЫ «КОММУНИСТ»

*Светлой памяти
Петра Мироновича Машерова*

1. РАПОРТ

...Он снова вылетает на поля,
Где ливень был как лезвие ножа,
Зной как ожог;

 где начато с нуля
Борение за трудный урожай.

Он создает ответственный режим
На поле — словно в зоне фронтовой;
Уборки боевые рубежи
Наперекор погоде штормовой.

Минута каждая районных встреч —
Как будто напряженная струна.
— Чем вам помочь, чтоб удалось сберечь
И лишний пуд, и даже горсть зерна?

И снова вихря взмах. И неба синь.

2. ИЗВЕСТЬЕ

4 октября 1980 года в автомобильной
катастрофе трагически погиб...

«Правда», 6 октября 1980 г.

Растерзало душу известье.
Не могу. Непереносимо, —
Будто с ним погибаю вместе,
Сокрушенная адской силой.

...Мне навстречу кто стар, кто молод
С беспокойствами их простыми.
Но привычно живущий город —
Как пустыня он, как пустыня.

Я куда-то бреду, ступаю
Сквозь туманы, сквозь тучи пепла.
Мне вдогонку:

— Она слепая! —

Мне вдогонку:

— Она ослепла...

Нет ни гор в осеннем багрянце,
Ни внезапной высокой сини.

Когда уже мы завершали путь,
Он попросил пилота повернуть
Чуть в сторону от Минска.
 На Хатынь.

Запомнился лица его овал,
Озерное волнение чела.
Глядел он на Хатынь.
 Рапортовал
Безмолвно тени каждого села.

И принимала памятная тень
Пожарищ, исторических боев
Его очередной рабочий день
В суровое бессмертие свое.

Даже если очень стараться —
Больше нет ничего отныне.

Нет на свете ни дня, ни ночи.
Обмелели моря и реки.
Даже если стараться очень —
Больше нет ничего навеки.

Затаилась, как в черной нише,
Я в крошечной немой обиде.
Кто-то шепчет:
 — Она не слышит.—
Кто-то шепчет:
 — Она не видит...

Я страницы газет листаю:
Как случилось безумье это,
Что пустая, совсем пустая
И сама я, и вся планета?!

Сергей Поликарпов

* * *

К отходному бы дню
Да всю собрать родню!
Родня не велика,
И речь не высока:
— Покуда не угас,
Простите в смертный час,
Как исстари пошло,
Коль в чем содеял зло...

Прощайте!..
Видно, в том,
Что поодаль живем,
Вина не в нас самих —
Селянах городских,
А в быте, чуждом нам:
Все — по своим углам
В бетонном затишке,
Где всяк что кот в мешке...

Нас нянчила пора,
Когда мы у двора
Иль на поле в страду
Все были на виду
Как на ладони — зри
С зари и до зари,
Чем беден и богат
И брат, и кум, и сват...

Что обрели взамен
Мы, дети перемен
Глобальных и крутых,
Печальных и смешных?
С землей порвавши связь,
На лифтах вознесясь
К скворечникам своим,
От всех вдали сидим,
Мы волею судеб
Жуем — не сея — хлеб,
Мы нынче лишь жнецы,
Как юркие скворцы...

Недавний хлебодел
Не у исконных дел,
Как с подолом в репьях
В нечаянных гостях,
Как не в своих санях
При взбрыкчивых конях...
Куда летишь, седок,
Вцепившись в передок?

Селянин-селянин!
Глубь городских стремнин
Куда тебя несет?
Суров жизневорот,

Таит немало бед...
А кто спасет?
Сосед —
Ни брат, ни деверь твой, —
Кто ближе, под рукой
В трамвае, на реке,
На жгучем сквозняке
Строительных лесов...

Не кровь,
А общий кров —
Завод иль школьный класс
Роднят сегодня нас.
Прости,
Прости меня,
Рязанская родня,
Единокровец ваш
Пил жизнь из тех же чаш,
Из коих пьете вы...
Мы все
В своем — правы!

И тяжело всем нести
Последнее —
«Прости...».

Виталий Коржиков

ЛЕГЕНДА

*Памяти отца —
Тита Михайловича Коржикова*

На медленном коне,
Сквозь век, почти в конце,
Доехала ко мне
Легенда об отце.
О ночи ледяной,
Когда в морозный шквал
На станции одной
Отец грузил
Крахмал.

И где сапог хромал,
И где прошла нога,
Скрипели, как крахмал,
Январские снега,
И в этом злом снегу,
Костиста, но жива,
Еставала встречу врагу
Голодная Москва.

Доедена треска,
Картошка — до глазка!
С оружием рука,
А хлеба — ни куска.
А тут-то — как ни мал —
Завод, а в нем запас —
Картофельный крахмал!
Пускай Москве — на час,
Но, может, не успеи
Доставить этот клад —
И сил не хватит ей
Отправить в ствол
Снаряд!
А подспеет тыл —
И ясный разговор:
Вдруг сразу станет сил
Руке дослать затвор!

Весь воздух искромсал
Ладонью на пути
Парнишка-комиссар
Неполных двадцати:
— Бросайте лежаки! —
Кричал. — Кому кричу?!

И встали мужики:
— Поможем Ильичу!

А ну, слетай, снежок,
С горячего плеча,
Ложись в вагон, мешок,
Солдатам Ильича!
Скрипи, скрипи спорей,
Работай веселей —
Голодной детворе
Для добрых киселей!

Вдруг чей-то возглас: «Влип!»
И чей-то выдох: «Ох!»

По всей долине скрип
Деникинских сапог!

В ненависти кипят
Нахальные зрачки,
Крахмальные скрипят
Окрест воротнички.
Играет злобный хмель:
— Так, говоришь, кисель?
Достанет киселя
Вам всем навеселе,

Как дрогнет вся земля
В кровавом киселе!
Откомиссарил, Тит,
Ужо хлебнешь свое.—
Ох, как в петле хрустит
Крахмальное белье!
А он бежит, живой,
По сходям под огнем,
Рубаха вся впервой
Крахмальная на нем!
А ну, быстрее, дружки!
Бегом, бегом, бегом!
Мешки, мешки, мешки —
В вагон, в вагон, в вагон!

И двери — на запор,
И поезд — на пути!
Давай во весь опор
Кати, кати, кати!

Встал комиссар: «Бывай!»
Страхнул крахмальный пот,
Сказал: «Теперь — давай!»
И лег за пулемет.

Ударил вдоль щелей
В проемы портупей
И ряд снега подмял...

Ох, как хрустит крахмал!

Поэзия в меняющемся мире

В. И. Севастьянов

летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза

* * *

В космическом полете остро чувствуешь: как замечательно, что человечество создало прекрасную поэзию, прекрасную музыку. Вынести психологическую нагрузку полета без живущей в твоём сознании поэзии, музыки, исторической памяти, наверное, просто невысказано. В полете у космонавтов ограниченный спектр звуков, запахов. И конечно, в длительном полете мы тоскуем по всему земному и нам снится земное... Мне, например, приснился шум дождя. И я рад, что этот факт вдохновил поэта и композитора, которые написали об этом песню, получившую известность.

В полете в свободные минуты к нам приходит поэзия, литература вообще. С нами были избранные стихи Пушкина, Шолохов, чеховские рассказы. Пушкина читали чаще всего, его поэзия наполняла сердце устойчивостью, оптимизмом. Читали Сергея Есенина... Петр Климук взял с собой белорусских поэтов Петруся Бровку и Якуба Коласа...

Во время нашего полета на земле в одном из московских залов состоялся вечер поэзии Евгения Евтушенко, и жена сообщила мне во время радиосвязи о том, что Евтушенко прочел стихи, посвященные мне, и вообще весь вечер посвятил нашему космическому полету. Нам было очень приятно услышать это, взаимосвязь с землей насуточно необходима космонавту. Но, разумеется, этот факт не исчерпывает существующей

темы «Поэзия и космос», достаточно многосложной. После космических полетов лучше, полнее понимаешь, например, Уолта Уитмена и Николая Рериха.

Войдя в космос, мы, например, столкнулись с проблемой малости земли... И уж потом я с большим интересом познакомился с трудами русского философа Н. Ф. Федорова, который, по-моему, был не только ученым, но и истинным поэтом, когда задумывался над макрозначением и микрозначением жизни человека, когда писал о поиске Острова отцов, о восстановлении бесконечной цепи жизни... Так вот, пользуясь терминологией Федорова, можно сказать, что Пушкин построил мост над рекой Времени между берегом Чувств и берегом Разума. И он построил также мост между прошедшими поколениями и нами и теми, кто еще придет. В этом великая заслуга поэта. Поэзия должна меняться, но она должна и менять людей. В текущей поэзии, мне кажется, не хватает этой самой любви к предкам, о которой писал Федоров. Об Александре Суворове знал и знает весь мир. А много ли о нем написано по-настоящему хороших стихов? Я, например, из современников могу лишь назвать К. Симонова, помню его поэму. А много ли по-настоящему ценного создано в последнее время в поэзии о Куликовской битве?

Все это очень важные вопросы. И они волнуют не только одних поэтов.

М. А. Новиков

сотрудник
института медико-биологических проблем Минздрава
СССР

* * *

Слово оказывает огромное влияние на человека не только в общепринятом понимании. Оно может влиять не только на волю, но и на весь организм в целом. Слово действительно в определенных случаях может убить или возродить. Ритмизованное слово оказывает особое влияние на человеческую психику. Рифма придает ритмически организованному тексту законченность и способствует эмоциональной разрядке, эмоциональному наслаждению. Тогда как верлибр — чисто формально — оставляет чувство некоторого беспокойства, дискомфорта. И доставляет эстетическое наслаждение в этом смысле более изощренной психике, может быть, даже этим самым чувством дискомфорта, неудовлетворенности...

Я сменил несколько специальностей — работал психоневрологом, физиологом, психологом. Так вот, многолетние исследования и наблюдения привели меня к выводам, что высказывание поэта, то есть его творчество, ассоциативное, многостороннее по своему охвату, — ближе всего стоит к той сложной организации, которой характеризуется мыслительный процесс.

Может быть, поэтому поэты чаще всего бывают пророками. И они так же учат человека более богатому и разнообразному языку. Я имею в виду, разумеется, истинных поэтов. Это очень важно в наше время, насыщенное технической специализацией, когда возникают так называемые профессионально-групповые эмоции и даже выраженный на основе профессиональных взаимосвязей обедненный групповой язык. Еще в двадцатых годах Василий Казин замечательно писал:

Людей по цехам этот век рассек —
И вместо задушевного волнения
Профессией повеял человек.

В этом случае очень важен поэт, которого слушают, которого любят, современник или близкий по времени... Он-то и обучает таких людей более сложному и разнообразному языку. Таковыми явились, на мой взгляд, и Сергей Есенин и Александр Блок. Такая учеба не напрасна, убежден, что человеческое сознание в память — своего рода постоянно расширяющаяся вселенная. Я в молодости более всего увлекался Генрихом Гейне, Адамом Мицкевичем, любил Шекспира. Читал их в кодлинниках и в переводах. Лет в тридцать стал читать по-настоящему Пушкина, узнал Ивана Бунина, с его точностью необычайной, с его великолепным русским языком. И через Бунина именно мне многое открылось, и мой собственный словарь обогатился и тем самым

обогатился и сознание. С удивлением встретил у Бунина слова, бытующие в моих родных местах. А я родом из-под Ельца. Под Лебедяню есть такая деревня Смоородино. А меж собой местные крестьяне ее называют Клишино. Там у нас: осока — куча, верх — означает овраг и т. д. Это, так сказать, родовые слова. Вот в этом-то значении я их и встретил у Бунина. И стал внимательно всматриваться в его прозу, в его стихи. После прочтения Бунина стал особенно ценить подлинность в поэзии.

Когда вернулась в Москву с Северного полюса экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро, на приеме в ЦК ВЛКСМ (я принимал участие в этой экспедиции и присутствовал на этой встрече) один молодой композитор лихо напевал песенку на следующий текст:

А снег предательски порист!..
На Северный полюс...
На Северный полюс!

Ребята посмеивались; а снег там был вовсе не порист, а упруг... Такой песне не было веры, как ни старался композитор. Текст песни отдавал домашней умозрительностью. А Вознесенский, который побывал тогда на Северном полюсе, ни за что не написал бы так. Эффект присутствия в данном случае был очень важен. Вознесенский, к примеру, о многом расспрашивал, внимательно наблюдал... Большая льдина на полюсе была с трех, вернее, с двух с половиной сторон ограничена торосами, возвышавшимися над льдиной метра на два или чуть больше. Со стороны льдины они были подтесаны солнцем. Льдина припорошена. И если порошу разгрести — проступает глубокая синева льда и зелени. И этот же свет более интенсивен в торосах. Как витражи. И даже без солнца, закрытого не очень плотным облаком, — ощущение витража. Незабываемое зрелище, заключающее в себе не только внешний эффект.

Я в той или иной мере был связан со многими экспедициями. В пустыне, в океане, в горах, в открытом космосе роль поэзии значительно укрупняется в жизни развитого индивидуума и она благотворно влияет на весь коллектив. Начинают действовать внутренние ресурсы, которые надо накапливать в повседневной жизни. Чувство космоса, очевидная близость других миров заставляет острее воспринимать подлинные духовные ценности, выраженные в истинной и разнообразной поэзии землян.

Леонард Лавлинский

ИЗ ПОЭМЫ «РЯЗАНСКИЕ КОЛОКОЛА»

ВОЙСКОВОЙ АТАМАН КОРНИЛА ЯКОВЛЕВ

Смотрит медными жерлами
Стенькин оплот Кагальницкий.
Нешто кровавыми жертвами
Сброд утолится низкий?

Вот и лезу подкопом:
Чего, мол, Стенушка, ради
Поньше оружным скопом
Твои щетинятся рати?

Что, говорю, задумал,
Крестник? Ответь по-хорошему,
Либо стрелецким дулом
Будет за это спрошено.

Ноют по-стариковски,
Чуют грозу неминучую,
Мудрые, стало быть, кости —
Люто Корнилу мучают.

Зачем спесивца грудастого,
Жильца, говорю, Евдокимова
Чернь твоя заграбастала
И в омут кинула?

Даром, что в белокаменной
Важных дворян густо,
Взыщется грех Каина —
Плаха за душегубство.

Царь — он Тишайшим прозван,
Тезка вольному Дону-то.

А забасит Грозным —
Не расхлебашь омота.

Что, говорю, ответим
Боярским пушкам и плахам?
Дон-то без них светел —
Кровью бы не заплакал.

Тут и вонзил крестничек:
Дескать, побойся черни,
Либо премудрых косточек
Скоро дождутся черви.

А кто ж, говорю, помолится
Богу в небесной глыби,
Чтобы степную вольницу
Не растянули на дыбе?

В ад не спеши, Стенька,
Резвым ты был мальчонкой.
Птахой весенней тенькал,
Знай свиристел о чем-то.

Ныне другими песнями
Уважил небось Корнилу.
Или ведьма из Персии
Пряностью окормила?

Ну, прощевай, стало быть.
И притчу мою припомни.
С отчей державой баловать —
Не сласти дарить поповне.

Герман Валиков

ДИВО

(После Куликовского похода)

— Я ждал тебя сильней, чем все они!
Не утруждайся, тятя, отдохни.
Ты на Орду ходил, за рубежи,
О том, что видел, тятя, расскажи!

— Что видел я?.. Ордынского царя,
Мамаю видел — в злате, в серебре,
Весь самоцветным камнем горя,
Он ускользал, а сабля на бедре

Болталась зря — в три города ценой...
Протягнувенно за его спиной,
Глаза дразня, крутилась предо мной,
Будто огонь по ветру, — борода...
Но это, сын мой, право, ерунда...

— Оставь соху — закат на небесах,
Сам приберу постромки и гужи.
О дальних далях, чудных чудесах,
О дивных дивах, тятя, расскажи!

— Я видел, сын, несметные стада —
За оком, как темные леса,
Как туч косматых тяжкая гряда,
Что пред грозой застит небеса,
Теснясь, валили тучные стада,
Шли, выбивая травы до грунта,
Рева на все скотины голоса...
И каждый гурт шел под охраной пса,
Что ведал смысл пастушьего труда
И разумел людские словеса, —
Вот псов каких придумала орда! —
Но это, сын мой, право, ерунда...

— Ах, не горюнься, тятя, во грустях —
Я твой шелом отчищу ото ржи...
О чужедальних странствиях, путях,
О дивных дивах, тятя, расскажи!

— Я видел, сын, сраженье, кровь и смерть...
Я шел навстречу саблям и мечам
Не по земле — по спинам и плечам,
Шла подо мною боя коловерть.

А по моим плечам да по спине
Скакал ордынец на степном коне —
В три яруса мы бились, в три ряда...
Но это, сын мой, право, ерунда...

— Испей кваску, вот блин, а вот кисель...
Сам расколю и плахи и кряжи.
Ты о делах неслыханных досель,
О дивных дивах, тятя, расскажи!

— Я видел Дон — претихая вода
Катилась вдаль неведомо куда...
А по-над ней прясная земля
Лежит, едва травую шевеля, —
Не тронута, не мерена, пуста —
Как шелкова скатерочка чиста,
И нет на ней ни лишнего куста
И ни болот, ни супеси, ни гор,
Распахивай да сей во весь простор —
Как ангелиный пух легка на взем...
Я, сын мой, видел диво — чернозем!

Сергей Викулов

ПАМЯТЬ РОССИИ

Владимиру Чивилихину

Я блуждаю в подвалах минувших веков.
Предо мною
то выступов скользких оскалы,
то безмолвие башен, бойниц, потолков,
то глубокие — в век глубиною — провалы.

Я теряю связующей нити конец,
я стучу головою о стену в бессилье:
«Был иль нет
у тебя
гениальный певец?»
«Был!» — ответила гулко оттуда Россия.

«Почему же его громогласная песнь,
сладкозвучная песнь
оказалась бескрыла
и о том, что он был у тебя, что он есть,
он, в е л и к и й поэт,
ты, Россия, забыла?»

Иль ты память свою утопила в вине?
Иль хлебнула иного какого дурмана?»

«Триста лет, — простионала Россия, — во мне,
в самом сердце моем, кровоточила рана.

Мой шелом изувечив, степная стрела
со стены меня сбросила, память отшибла.
И мечу, и огню предана я была,
и закована в цепи... Но я не погибла!

Я одну только ведала песню тогда:
с т о н...
Со стоном я снова вздымала стропила.
Пусть не все возродила я вновь города,
но свой дух — это ведает враг —
возродила!

И тогда предъявила ордынцам свой счет...
«Это так!.. Но ответь, —
я спросил осторожно, —
может быть, позабыла ты что-то еще?..»

И под своды взлетело:
«Возможно... возможно...»

Яков Козловский

ПРЕДСМЕРТНАЯ МОЛИТВА КНЯЗЯ П. БАГРАТИОНА

«Верни меня, боже, на круги своя,—
Послышался князя молитвенный шепот,—
Четыре сражения выиграл я,
И дорог России мой жизненный опыт.

И там, где на гребнях отхлынувших лет
Еще кавалерии слышится топот,

Ценнее стократ золотых эполет
И ветреной славы мой жизненный опыт.

О боже,
я, грешный, тебе не судья,
Уста осеняет мольба, а не ропот,
Когда не меня, то на круги своя
Верни для державы мой жизненный опыт!»

Анатолий Преловский

СИБИРСКИЙ ДОМ

Порою, сидя в родовом застолье,
гляжу на лица, дорогие мне:
Сибирь в них отразилась,
как раздолье
к смешенью рас,— как будто бы вчерне,
в набросках пробных,
Время нам являет
тот облик человека, что оно
для будущего слепо составляет.

Но разобраться-то немудрено,
откуда — монголоидные скулы
иль смоль волос, откуда — синь очей,
откуда — прахотничья сутулость,
откуда — важность бедер иль плечей
бойцовский разворот, откуда — острый
разрез глазниц, откуда — песий шаг,
откуда — стать, откуда — говор пестрый...
Сложи все вместе, станет: сибиряк.

Когда побило за Чукоткой кочи
дежневские, то бедный предок мой
Федот Попов
навал полярной ночи
не одолел. И помер. А с семьей
осталась жить — ламутка иль корячка?
тунгуска иль якутка? — мать, жена,
родохранительница. Как и все, рыбацка
да и, как все, охотница, она
детей сдружила с тундрой и с оленем —
и те в Сибирь, как в чум, вошли,
чтоб стать, быть может, первым поколеньем
двойной крови,
зато — одной земли.

Ветвился род — вязалась ветка с веткой,
и он судьбой и кровно соединил
и тех — с туземной смуглой меткой,

и этих — белобрысых.

Подзабыл
якутский я, а ведь в моем семействе
он был вторым, подручным — родова
владела им прекрасно. (Здесь уместней,
пристойней было б привести слова
из тех, что помню... А! пожалуй, лишне:
давно в Сибири
русским языком
привыкли сообщаться дальний с ближним.)

Но и со спесью русской я знаком! —
и пусть кто хочет ссорится со мною
за то, что говорил и повторю:
«Россия есть понятие составное». —
Что на Сибирь грядущую смотрю
как на родное пестрое застолье,
где русский и чернявый — все равны,
как меченные и мечтой, и болью
раскосой безымянной той жены
первопроходца.

Не казачью саблю,
не пыл сословный, не надел земли
храню, а —

все мельчающую каплю
азиатской крови. С нею перешли
в меня, в моих детей, в мои заботы
любовь к простору,
кочевая жизнь,
гул памяти,
лень мысли,
зуд работы,
страх смерти не в пути, а запершись, —
все это не дает ни слову и ни думе
нарушить прасибирский обиход
жить в мире,

как в одном огромном чуме,
среди общих дел, досугов и щедрот.

Леонид Терёхин

ВОСПОМИНАНИЯ НА ЦЕЛИНЕ

Когда большую горсть созревших зерен
рассыпал агроном передо мной,
я вспомнил о своем Нечерноземье
послевоенном, ставшем целиной.

Засеяно осколками, прапнелью,
заросшее крапивой, лебедой,
с могилами — как бугорки шинелей,
с березками — как крылья лебедей.

Озера наливались мирной синью,
над редкими стадами пел рожок,
и мощностью всего в три бабьих силы
вгрызался плуг в дернину на вершок.

На теньях изб росли времянки косо
в платках из обгорелых древесин.
Звенели топоры. Жужжали косы.
Качались коромысла, как весы.

Кто цел, кто припадал на деревяшку,
домой тянулись, бодрые на вид.
И, затаив пустой рукав, упряжку
чинил в пустой конюшне инвалид.

И трудодни пустые, как мякина,
сушили нас в неурожайный год.
Нам не хотелось край родной покинуть —
и всё же покидали мы его.

Он превращался в целину глухую,
войной не покоренный, край родной...
А мы пришли на целину другую
со всем народом и со всей страной.

Там, где другие орды солнце пылью
затмив, на Русь рвались издалека,
мы колышки по всей степи забили —
и в Целину вонзили лемеха!

Как в Сорок Первом под огнем и градом,
когда орудья лаяли взахлёб,
так в Пятьдесят Четвертом снова рядом
казах и русский бой вели за хлеб.

Назвали эти степи мы родными,
пред отчим краем искупив вину:
Нечерноземье мы еще поднимем,
когда накормим хлебом всю страну.

А там, в родном краю, где лес и поле,
где в тучах пробивается родник,
там, вдоволь нахлебавшись вдовьей доли,
старели наши матери одни.

Покрытые соломой, избы мокли.
Ступеньки подгнивали на крыльце.
Тускнел узор наличников на окнах.
И множились морщины на лице.

Нас у калиток ожидали мамы...
Но время нас несло,
несло,
несло!..

И пробивали сердце телеграммы
из сельсоветов скорбным залпом слов.

...Пыль на дорогах вьется, как поземка.
Колосьеёв спелых дышит благодать.
Как хочется свое Нечерноземье
таким же возрожденным увидеть!

Тамара Волжина

* * *

В ночи порохового лета
В меня ударила беда.
Высвечивала тьму ракета.
А может, падала звезда?..

Струился мертвый свет неспешно,
Как будто жертву намечал,

Как будто в крошечке крошечном
Искал единственный причал.

Куда же та звезда летела?
И долетела ли куда?..

В меня ударила беда.
А я так сильно жить хотела!..

БУРОВЫЕ

*Нефтянику Тюмени
Альтемирову Альбеку Алиевичу*

Буровые... Буровые...
Чернота легла кругами.
Тундра хлюпает и злится
У ребят под сапогами.

Крошат буры мерзлый камень,
Поднимают грунт наружу...

.

Взрыв!
И враз —
В десять глоток:
— Газ!!!

Бригадир стоит, сутулясь,
Чуть от радости не плачет.
Говорит он:
— Вот какие,
Братцы,
Тундра клады прячет...

Газ горит во мгле вечерней,
Отдает тепло ветрам.
Только лебеди зачем-то
Тянут,
Тянут к холодам.

Олею Шестинский

* * *

Сижу в тепле, в окно гляжу,
товарища перевожу
с казахского на русский,
с болгарского на русский...

А было время: с толмачом
скакал в Орду боярин,
и толмачу все нипочем —
такой уж ухарь-парень.

И речь достойную держал
боярин непреклонно...

Толмач несколько не дрожал,
переводил синхронно.

Махнул озлобившийся хан,
и отвели их за курган,
и пали под одним мечом
боярин с верным толмачом.

Ах, мне бы эти страсть и пыл,
жизнь с круговертью,
чтоб друга я переводил,
как перед смертью!

* * *

На могиле материнской
с ночи кто-то был,
дальний родственник
или близкий
друг цветы полил?

Не признался, не сказался,
не зашел ко мне,
на пути не повстречался,
не приснился в сне.

Если б людям так сокрыто
доброе я нес:
целовал бы не для вида,
плакал бы без слез!

Марк Лисянский

* * *

Склонилась верба над ручьем,
Листва едва колыхнется.
Стихи как будто ни о чем,
Что видится, то пишется.

Уходит солнце в синеву,
Поет скворец на дереве.
На юге я себе живу,
А ты живешь на севере.

Оркестр играет в том саду,
Где мы сходились к вечеру.
Любовь с разлукой не в ладу,
Любовь гордится встречею.

Как пошутил один остряк,
Бьет жизнь ключом, как водится,

И все по тени, да так,
Что аж душа заходится.

Бьет жизнь, как сказано, ключом,
И все труднее дышится.
Стихи как будто ни о чем,
Что слышится, то пишется.

Я жду, судьбу не тороплю,
Уселся на скамеечку.
Любовь найдет свою тропу,
Найдет свою лазеечку.

Ночь вспыхнет солнечным лучом, --
Одно с другим не вяжется.
Стихи как будто ни о чем...
Но это только кажется.

Анатолий Поперечный

ДОМ В ЛЕСУ

Старый бревенчатый дом.
Зрак или черный сучок.
А по ночам под полом
Душу мне сверлит сверчок —
Горечью прошлых обид,
Болью затерянных лет,
Где убивалось навзрыд
Сердце кому-то вослед...

Что это —
Память иль жуть?
Белый струящийся дым
Мне зачерпнуть бы чуть-чуть
Ковшиком берестяным.

Дым тот как тихий туман,
Что от озер, от болот,

Где, полюбив глухомань,
Древнее эхо живет.

Птицы вчерашняя тень,
Шепот березы иль плач,
Или же отзвук от стен
Темных бревенчатых дач?..

Бродит, колдует, поет
В пятом часу и в шестом,
Встав на затопленный плот,
В тьму оттолкнувшись шестом...

Странный изгнанник души,
Боль или песня о ней,
Синий огонь, что в глуши
Мальчик нашел среди пней.

ЗЕЛЕНОЕ ЭХО

Вновь слышу далекое эхо,
Зеленое эхо весны.
Как будто бы кто-то проехал —
Проездом из той стороны,

Где луны над ставом как бубны,
Где ночи в дубравах глухи,

Где ветры ингульские буйны
В степи, а в яругах тихи;

Где лунные блики как лики
Тех, милых, забытых давно,
Которых уже не окликнуть,
Не вызвать, присвистнув в окно...

Они за могильным курганом
Сокрылись, их нету в живых,
Ушедших из жизни так рано,
Так поздно я вспомнил о них.

Друзья моей юности шалой,
Той, послевоенной страды.

Я тоже, подбитый, усталый,
Проездом из той стороны,

Я, меченный веком жестоким,
Утратами, болью разлук,
Вдруг выйду один ненароком
На тот опустевший наш круг.

Припомнив забытые игры,
Напав на затерянный след,

ХУДОЖНИК

По листьям, по травам бьет дождик.
А он все рисует, художник.
Рисует избу, деревушку,
Бегущую, в дождик, девушку.

Она, в платье, насквозь промокшем,
Под темным навесом,
Вся в прошлом,
Живет, не тобою любима,
Как облако, неувидима...

А солнце пригреет —
И паром
Ударит земля за амбаром.
И, с хрустом ломая треножник,
Забудет искусство художник,

Приму на себя, словно иго,
Всю тяжесть непрожитых лет,

Не узанных вами страданий,
Не познанных бед и побед,
Как верный ваш друг стародавний,
Свершающий в юность побег;

Где вновь на кругу не согреться,
Друзья, у бывшего костра,
Активность не солнца, а сердца
Взрывной вас волной унесла,

Оставив звучащее эхо
В просторах и даях страны...

Как будто бы кто-то проехал —
Проездом из той стороны.

В двух метрах от бездны прекрасной,
Дрожащей, пугливой, опасной...

И в жаркий покос,
Не допето,
Покатится легкое лето.
Трава запоет.
Ветер всхлипнет.

И кто-то от счастья погибнет...

Погибнет и снова воскреснет
В своей мастерской, что на Пресне.

И вспомнит девочку и дождик
Уже перед смертью художник.

Рюрик Ивнев

1891—1981

* * *

Пусть все пройдет и высохнут моря,
Материки исчезнут, словно тени,
А ты сверкай, сильнее янтаря,
Любовь моя, сквозь толщу поколений.

И может быть, когда-нибудь другой,
Не человек — воздушный житель мира,
Вот этот пожирающий огонь
Вдохнет в себя из синего эфира.

Пусть прошлый мир весь в язвах и крови,
Сплошным костром пылавший над веками,
Но он поймет, что нет сильней любви,
Чем та любовь, что высылась над нами.

Пусть все пройдет и высохнут моря,
Материки исчезнут, словно тени,
А ты сверкай, всех счастьем озаря,
Любовь моя, сквозь толщу поколений.

* * *

Они как лианы, они как сети,
Какой жестокий улов!
Нет ничего страшнее на свете
Теплых и нежных слов.

Они проникают в мозг и душу,
Они отравляют кровь,

У МЕНЯ ОТНИМАЮТ ТЕБЯ

У меня отнимают тебя
Обстоятельства, люди и время,
Голоса неумных ребят
И далекого прошлого тени.

За горами ликуют леса,
Наслаждаясь своей вышиною.

И, точно воробушка, волю душат,
И тогда говорят: любовь.

Они страшнее всех хищных оскалов,
Страшней всех ножей и клыков,
Вот эти — сердце их яд впитало —
Несколько теплых слов.

Над рекою летят паруса,
И смеются они надо мною.

Только тихое небо молчит,
Равнодушно считая столетья...
А кукушка кричит и кричит,
Будто все понимает на свете.

Публикация Н. П. Леонтьева

Федор Фоломин

1908—1978

* * *

Глаза и сердце приустиали,
В стальной лесистой стороне
Душой не обнятые дали
Дождями плачут обо мне.
В тумане проструится горе,—
Томлюсь, бунтую взаперти!
А память — в яростном просторе;
Смогу за спутницей пойти.

Не спрячу камня под полою;
В душе осколков мелких нет:
Затемнены ли грубой мглою
Невзгоды, грозы громких лет;
Событий живопись густая,
Работа солнца в мастерской.
Куда летишь, родная стая —
Неутомимый род людской...

* * *

Поглядишь — осталось лет немного.
Закружились искорки в золе:
в сумерках алею одиноко,—
пламенем бы вспыхнуть на земле!

Ну и знойно в глубине отчизны!
Ты, зима, теплу не прекословь,—
приголубь декабрь пушистый, чистый,
первый снег, последнюю любовь!

1972

Публикация И. Е. Грушецкой-Фоломиной

Белла Ахмадулина

НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —
все подлежим их ворожке и сглазу.
Иль неодоушевленных нет вещей,
иль мне они не встретились ни разу.

У тех, что мне известны, — норов крут.
Не перечеть их вспылчивых поступков.
То пропадут, то не попад придут,
свой тайный глаз сокрыв, но и потушив.

Сейчас вот потешались надо мной:
вещь щелкала не для, а вместо света,
и заточенный в трубы водяной
не дал воды и задрожал от смеха.

Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
включатель тьмы пощелкивал над слухом,
просил воды назойливый стакан
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.

ВОСЛЕД 27 ДНЮ МАРТА

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шел и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся
мой февральский,
объятаям — с марта днем двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю черным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский,
несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все побрякки,
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.

И все, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной, —

Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
под утро зябнет и скучает шаль,
ей невтерпеж обнять плеча другие.

Я понукаю их свободный бег —
пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,
как этот вольный быстротечный снег,
со всех холмов сзываемый Окою.

Я не умела вещи приручать.
Их своеволие оставляю людям.
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
Мы никакую вещь не обессудим.

Сейчас, сей миг, от сей строки — рука
отпрянула, я ей перекрестилась:
для шумного, из недр души, зевка
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разною луной.

Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту
и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.

Я шла за ним! Но — чем быстрее аллея
петляла в гору,
пятясь от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убежали башмачки.

День уходил, не оставляя знака, —
то, может быть, в слезах и впопыхах
Ладыжина прекрасная хозяйка
свой навещала разоренный парк.

Закат исполнен женственной печали.
День медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.

Опять идет четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За двямя еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправилась обратно
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.
Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам все равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!
Здесь странная компания сидит:
Ладыжина прекрасная хозяйка,
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам еще не вдосталь.
Новь жалуется в странноприимный дом.
И то, во что мне утро обойдется,—
я претерплю. И опишу — потом.

Нина Бялосинская

* * *

Как важно знать свою вину.
Я виновата, виновата
во всем, за что других виню,
за что судьбу кляла когда-то.
Как может быть, чтобы никто
не виноват, хотя б незримо?
Как можно так, чтобы никто?

Как страшно.
Как непоправимо.
Я виновата.
Я одна.
А если в чем не виновата,
то и тогда моя вина —
за мужа, сына или брата.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

И робко, чуть дыша,
глядит душа,
как с ходу замертво летят слова,
как пропадают без вести,
редеют,
как снова, сигарету придавив,
другую сигарету поджигаешь,
творя огонь и дым,
огонь и дым,
и пепел.

В катакомбах мертвых петель
контуженная мечется душа.
Крошится с острия карандаша...

Пустеет сигаретный коробок,
и потухают огневые точки...

Не позаботившись о блудной дочке,
спокойно спит довольная собой
своей души пустая оболочка.

Игорь Шкляревский

НОЧЛЕГ

Лежу в какой-то темной бане.
Один, как будто без судьбы.
И только по оконной раме
стучат сушеные грибы.

Звенит, звенит холодный воздух
от стука легкого грибов.
И снег летит из облаков
в пустые гнезда на березах...

* * *

В канаве замерзла вода.
Не может напиться собака.
Скулит из осеннего мрака.
Идут на меня холода!

И тучи гудят, как заводы.
И светятся угли в золе,
как город далекий во мгле...
Идут на меня мои годы!

* * *

Я руки вытру об траву.
Из лодки вычерпаю воду.
Смолу в решетке подожгу.
И уплыву в свою свободу.
А птица крикнет на болоте,
огонь в решетке пролетит.
И пугало на огороде
веселым блеском прознобит.
Эй, пугало,
кого пугаешь?
Зачем ты мокнешь и скрипишь?

Башкой бессмысленно качаешь
и даль пустую сторожишь?
Давно разрыты огороды.
Давно забыты чудеса.
Все кончено! Светлеют воды.
Чернеют голые леса.
Ты ничего не охраняешь,
ты сторожишь пустую даль,
башкой бессмысленно качаешь,
а упадешь — мне будет жаль...

НЕ СПИ НА ЗАКАТЕ

Поднял и понес меня сон.
А голос хозяйки вдогон:
— Не спи на закате,
Не спи на закате...—
Лечу! Подо мною жнивье.
А тело живое мое
осталось на лавке в той хате.

Туда, где горит небосклон,
лечу! Только холод и звон.
С восторга душа онемела.
И весело мне улетать!
И боязно мне потерять
окно, где оставил я тело...

* * *

Ты бог! Но ты не гений.
Вон несколько твоих
созданий и творений
разлили на троих.

Идут. Глаза навькат.
И пена изо рта.
Потом конвой и выход.
Тоска и чернота.

А сколько поколений
уже ослабли в них.
Ты только бог растений
и листьев золотых.

Ты только бог туманов,
лесов и океанов,
гор, облаков, степей!
Но ты не бог людей...

* * *

Мы через кладбище шли.
Там над забытой могилой
яблоня с бешеной силой
вырвала крест из земли!
Крест не давал ей расти...
Ветки шумели: — Пусти! —
Снизу его подцепила,
ночью в грозу расшатала
и над землей подняла.
Только не много могила
яблоньке той отдала...

Владимир Цыбин

* * *

Может, мир просквозило внезапной весной,
только степи и улицы стали тесны.
Я не знаю, что это случилось со мной,—
первый раз я попал под обвал тишины.

Словно в наледь я вмерз на крутых сквозняках,
тесно пульс перехвачен
и слух пережат,
и безгласно, как памяти всплеск о веках,
под последней поземкой рассветы лежат.

Это миру весна приказала: «Замри»?
Я не слышу, как почки разжали тиски,

и капели — предсмертную дрожь у земли.
Тишина разрывает меня на клочки.

Мир вокруг затаился, забился в углы.
Он без песен, без гула тяжелых громов.
Гладкий, словно забвенью недвижимой мглы,
и вокруг меня люди немые — без ртов.

Мир, где шелест листвы тишиной перетерг,
где от вздоха до вздоха полмира лежит,
я в безмолвье попал,
я попал в перетек
безглагольной земли, где я словно забыт.

* * *

Все тревожней просыпаюсь
я у ранней кромки дня.
Это сон иль зыбкий парус
уплывает от меня?..

Вот он скрылся за волною,
и остался я без крыл.
Где живу я? Что со мною?
Что хотел? О ком забыл?

Испытав всего довольно,
пред собой, как на свету,

вспоминаю дерзко, больно
душу, словно сироту,

жизнь свою у края века,
слов забвенья тихий шум,
имя памяти у ветра
я спрошу для новых дум.

Все, что сердце испытало,—
все ушло само собой.
Боль сквозного листопада
отдается в мою боль.

* * *

Хоть многое прошло,
забылось, но поныне
душа хранит тепло
среди застойной стыни.

Одна она, одна
в неведомой разведке
дрожит, напряжена,
как капелька на ветке.

Что слов ей бедный гуд,
что все твои ошибки?
А помнит лишь — вдоль губ
бег радостной улыбки.

Длинит года печаль:
по этому устою
уже другая даль
сбывается с душою...

* * *

Есть все же неприступная граница,
какая-то жестокая черта;
преступишь — и в себе увидишь лица,
дух содрогнется и уйдет мечта.

И слышу я, как без теней, без боли
из смутного, как эхо, волокна
рождаются во мне, как снега в поле,
неведомые лики, имена.

И тускло, словно в копоти лучины,
во мне среди неопознанных пустот
колышутся и маски, и личины —
для них на свете время не течет.

Откуда и по чьей державной воле
они во мне; иль это все обман?
Из страшного какого безглаголья
вошли в меня и учатся словам?..

★ ★ ☆

В больнице умер инвалид,
и три солдатские медали
за то, что не был он убит,
теперь в ногах его лежали.

Чист пиджачишко и чиста
на нем рубашка: галстук — криво,
так обрядила медсестра
его для смерти суетливо.

Под плач привычных двух старух
прощался этот мир с солдатом,
и тополинный, влажный пух

накрыл его,
как маскхалатом.

Один. Давно в земле жена.
А дети? Кто их знает — дети.
Она еще жива, война,
с тех пор так и идет на свете.

И так не смог никто из нас
припомнить, воскресить слезою,
что он в прощальный строгий час
любил забытою душою...

Владимир Павлинов

КРАСНЫЙ СВЕТ

Друзья, я даром ем свой хлеб.
Я слеп. Как серый крот, я слеп!

Пуста осенняя стерня.
А ночь согнула месяц в лыжу.
Я ничегошеньки не вижу!
Ведите под руки меня!

Я начисто утратил слух.
Я — глух. Как тетерев, я глух!

Вот свещет красный лист в лесу.
Вот трется синий дым о крышу.
Ладони к уху поднесу:
— Шуршите громче! Я не слышу!

Вот узкий нож пластает хлеб.
Вот сильный слабого обидел.
Не вижу этого. Я слеп!

СОВЕТ ДРУГУ

Поэт, постов не занимай
и вдохновению противной
обузы административной
век на плечи не принимай.

Ты непосредственность и страсть
сумеешь сохранить едва ли:
в одной душе стихи и власть
всегда друг друга убивали.

Но раньше-то я видел! Видел!
Вот крикнул коротко петух.
Сосед с ведром из двери вышел.
Не слышу этого. Я глух!
Но раньше-то я слышал! Слышал!

Я канул в розовый уют.
В душе — ни гордости, ни злости.
Я жду, когда меня убьют
фужеры, туфли, гости, кости...
Пуста осенняя стерня.
И я напрасно хмурю брови.
Жизнь вытекает из меня,
и небо — цвета алой крови!
Тут никакой ошибки нет.
Увы, исход закономерен.

Но в небе вспыхнул алый свет —
и, значит, мир не весь потерян!

В борьбе за лучшие посты
притворство возведя в искусство,
свой первый дар утратишь ты —
святую первозданность чувства.

Юля по личным, а порой
по лжеобщественным мотивам,
ты сам убьешь свой дар второй —
уменьше быть всегда правдивым.

И, переняв фальшивый жар
дельцов, с чьей совестью не спору,
ты потеряешь третий дар —
отзывчивость к чужому горю.

Живую душу загубя,
ты не создашь великих строчек,
хотя и выйдет из тебя,
быть может, средний переводчик.

Ты утратишь с прошлым связь.
Иссушишь сам свои истоки.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Сорок лет — смешная дата,
приближенье к старине...
Ах, как мне везло когда-то!
Все завидовали мне.

Знаю, жил не слишком строго,
не берег ни дней, ни лет:
думал, времени-то много!
Ан его уже и нет.

Мчатся вторники и среды,
жизнь бежит за часом час:

К другим жестоким становясь,
к себе не сможешь стать жестоким.

Но вдруг в блистательной судьбе
глухая мысль тебя встревожит:
солгавший самому себе
уже поэтом быть не может.

И ты, озлобясь на людей,
не веруя ни в зло, ни в бога,
обычный циник и злодей,
умрешь. Тому примеров много.

равно беды и победы
приближают к смерти нас.

Ежедневно, ежечасно
в волнах времени плывем,
повторяем: жизнь ужасна!
А глядишь, еще живем.

Невеликие мы птицы,
неглубок наш слабый след...
Крикнем: вени, види. вици! —
А уж нас на свете нет.

ЗОЛОТО

Твой блеск и жадный и усталый,
металл проклятый, символ зла...
О, благородные металлы,
неблагородные дела!
Порой в ночи, лишь искрой брызни,
становится младенцем муж.
О, сколько погубил ты жизней
и сколько изувечил душ!
Ты плата и за обелиски,
и за ночное ремесло:
недаром по звучанью близки
два слова — золото и зло.
Ты столько бед таишь подспудно
и дел, которых нет черней!

Жить без тебя на свете трудно,
с тобою же еще трудней.
Я не люблю жестоких судей,
но вывод страшен и велик:
гляди, зажавшиеся люди
теряют человеческий лик!
Сам на себя я виновато
гляжу как бы со стороны:
поэт не смеет жить богато,
поэты бедно жить должны!
Иначе целый мир твой — дым,
иначе правды не увидишь,
а с чем тогда ты к людям выйдешь,
о чем тогда ты скажешь им?

СИНЯЯ ОСЕНЬ

Поля синеют в полумгле
и светятся последним светом...
Зачем живем мы в мире этом?
И что оставим па земле?
Листок березы на ветру
дрожит — пожухлый призрак лета!

Когда-нибудь и я умру.
Хотя еще не верю в это...
А может быть, и нет? Как знать?
У каждого — своя забота
в юдоли. Этому охота
от жизни все, что можно, взять.

Тому — в чем смысл ее, понять.
А третьему — отдать ей что-то.

Мне жизнью данные года,
поскольку преходяща слава,
хочу отдать тоске труда.
Имею ли на это право?
Ну разве слава — бог земной?
И те — бессмертными зовутся,
что, руша свой язык родной,
пренебрегая стариной,
ценою пошлости, ценой
дешевой склоки к славе рвутся?

Вы, классики России, львы,
владыки мысли и молвы,
поправшие свои мытарства!
Высокий ум, высокий слог,
любой — философ, каждый — бог,
душа и слава государства.

Без жалости — и без прикрас,
по-бунински, не в бровь, а в глаз,
что вы сказали бы о нас,
поэтах нынешнего круга?
А мы, умы тщетой смутив,
сойдя на низкий примитив
и слог и форму развратив,
о вечных ценностях забыв,
перегитарили друг друга!

Жестоки наши времена.
Раздуты наши имена.

Поэт — не память на века?
Не вечной истины глашатай?
Ты, профанатор языка,
мой враг — извечный и заклятый!
Увы, и ваш-то путь не нов,
дельцы, рабы своих амбиций —
ниспровергатели основ
и сокрушители традиций!

Владимир Костров

АПРЕЛЬ

— Вы смотрите смутно,
У Вас несомненно бессонница?
— А что тут поделаешь?
Год беспокойного солнца!
— Работа окончена,
Надо домой собираться.
— А там, на светиле,
То пятна, то протуберанцы! —
...Итак, мой герой,
Я его нарекаю Анисим.
Он очень зависим
От косо висящих карнизин,
От лысин,
От шавки
Почти что всегда безнадзорной,
От тещи родимой,
Старушки лукавой и вздорной,
Жиров и белков,
От избытка вина или соли.
Но больше всего
Мой Анисим
Зависит от солнца.
Он вычислил точно,
Что солнце важнее получки,
Хотя, как и все,
Он стремится одеться получше.
Да, да
Со светилом он связан
И прочно и прямо,
Как с мужем — писателем

Очень порочная дама.
Недаром весной
Зеленеющим кленам и вязам
Он чем-то неясным,
Но очень сердечным обязан.
Недаром, недаром
В простом учрежденческом лифте
Так дышит тревожно
Его сослуживицы лифчик.
Запомните это,
Мы к этому скоро вернемся.
— Быть может, пройдемся?
— Ну что же, давайте пройдемся. —
У личности черной,
В весеннем колеблеме свете,
Он купит прозябший,
Такой боязливый букетик.
Потом улыбнется,
Вздохнет и опять улыбнется.
— Что с вами, Анисим?
— А год беспокойного солнца. —
И примет под ручку.
Его осудить мы не вправе,
Не прав тот товарищ,
Чья жизнь ущемляется в раме,
Действительной жизни
Противны все рамки и мерки,
И свежее чувство
Нуждается в срочной проверке.
Давайте героя, читатель,

На время оставим
И что происходит
В природе давайте представим.
Да пар же клубится
В глухом костромском бездорожье,
Там сок подымается,
Бродят извечные дрожжи.
Там свет и тревога,
Там солнце и снова опаска.
Какая шальная,
Какая хмельная закваска!
Так чем же Анисим мой
Хуже травы или вяза?
Он их современник,
Он с солнцем сияющим связан.
Он тоже проснулся,

Как почки сумели проснуться.
Он тоже коснулся того,
Что нельзя не коснуться.
Быть может, он хочет,
Как в детстве лихим оборванцем,
Лететь сквозь пространство
Сверкающим протуберанцем.
В минуту,
Когда он целуется с женщиной милой,
Хочу пожелать я ему
Пониманья и мира.
И судьбы решающим,
Может быть, тоже икнется...
— Что с вами, приятель?
— А, год беспокойного солнца!

Петр Кошель

ВЗГЛЯД В СОРОК ПЕРВЫЙ

Не закалило ни свое,
ни чье-нибудь чужое горе.

Над Беларусью воронье
вопит истошно в диком хоре.

Бредет голодная семья.
Дымится Минск, в руинах Орша.
Больная Родина моя,
беды не выпадало горше.

Из пепла встанут города,
толпа нарядно заструится.
Но никогда, но никогда
не повторяются судьбы, лица.

Глядят из дымной пелены
незабываемого года.
Они навек отделены
от нас чертою горизонта.

* * *

...оглянусь, а дорога исчезла,
только темень и дождик сырой
да огромная черная бездна
опрокинулась над головой.
Ни звезды, ни столба верстового,
ни огня за полночным окном,
ни зовущего дальнего слова
не пробьется во мраке глухом.
Но родная земля под ногами
ощутима, тверда и прочна,
и забилась вдруг меж сапогами

путь-дороженька, еле видна.
Путь-дороженька, стань же опорой,
не порвись тонкой ниткой вдаль,
просквози по холодным просторам
светлой жилкой славянской земли.
И когда заблудившийся путник
закричит в равнодушную тьму,
ненароком,
случайно как будто,
ты возникни, откройся ему.

НОЧНЫЕ СТИХИ

1

Как я боюсь огромной темноты,
глядящей в нас упорными зрачками!
Мне снятся солнц полночные черты
и неумолчный гул над облаками.

Кто заслонит меня от этих лиц?
Какой ладонью от себя закрыться?
До петухов, до легковерных птиц
в какую даль от времени зарыться?

Ну, подскажи, куда теперь бежать?
Где заросло, утихло, отболело?
Как это сердце намертво зажать,
чтоб никого так больно не жалело?

Я не по росту веку моему.
Но как порвать с ночными небесами,
не видеть снов и не глядеть во тьму,
зовущую родными голосами?

2

Опять в ночи на горной высоте
проходят гуси и метеориты.
Там кличут нас любимые и те,
что отлюбили и уже забыты.

На зов огня летит ночная гнусь.
Горчит зола, и губы жжет сиротство.
Я уйду и больше не вернусь
искать родство в полунамеках сходства.

Пускай глядят с небесной вышины
родные тени, души-разнолетки
большой, последней, и другой войны
по материнской и отцовской ветке.

Останьтесь там. На небе мягче спать.
Мне никогда до вас не дотянуться.
Но все равно мы встретимся опять:
на высоте-то нам не разминуться.

Игорь Ляпин

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Была, овеянная славой,
Страна темна и голодна,
Когда на смену той, кровавой,
Пришла холодная война.

Не станет областью преданий:
С каким стеклянным блеском глаз
Смотрел союзник наш недавний
На страшно бедствующих нас.

Не каждый стан в стране работал.
И, чтоб продлить разрухи срок,
Никто нам винтика не продал,
Заклепкой лишней не помог.

Нас, где могли, за горло брали
Прямые, кровные враги.
А мы их мягко называли —
«Определенные круги».

Они всегда на гнусность скоры,
Забыв и Ялту и Потсдам,
Все разрывали договоры,
Сулившие поставки нам.

Мир на земле стоял непрочный,
И, бед немислимых полна,
С надеждою на класс рабочий
Смотрела мирная страна.

А в нем, простреленном навывлет,
Решалось главное тогда:
Осилит или не осилит.
И он осилил, как всегда.

Я помню те, незатяжные,
Без многословности пустой,
Собранья общецеховые
С их митинговой прямотой.

Там без красоты парадной
И без лирической канвы
Была простой и крайне краткой
Речь представителя Москвы.

И мир кривился буржуазный,
И было радостно до слез,
Что оборонные заказы
В работу с ходу шли, с колес.

Тогда, срывая планы НАТО
И придавая силы нам,
Магическое слово «надо»
Ходило эхом по цехам.

И в этом кратком русском слове
Так ясно слышалось опять,
Что нашей Родине не вновь
Задачи трудные решать.

Виктор Гончаров

* * *

Не знаю, чего же мне надо
При взгляде на эти поля.
Не надо мне райского сада,
Не надо в руках журавля.
От самой дороги до бора
И дальше, покуда видна
Мне даль эта, —
Только озера,
Озера цветущего льна.
Не полем, а бережно, с краю,
Как берегом, лен объезжай.
Цветенье такое, я знаю,
Огромный сулит урожай.
Весной это очи России,
А к осени — косы ее.
И вот уже стаяли сини,
С полей поубралось жнивье.

А лен, что весною сияет,
Что в мае счастливо цветет,
В копейках продрогших страдает
Иль просто лежит и гниет.
Сентябрь что ни день угрожает
Дождями забытому льну.
Не дайте пропасть урожаю,
Дождям объявляйте войну!
Пусть наши мечты и надежды
Среди синтетических стран
Наденут льняные одежды,
Льняное белье россиян!
Острее чем вражеский ножик
У жизни на самом краю
Увидеть мне хочется все же
Счастливой Отчизну мою!

МОЛИТВА ЭРЗЯ

Предобрый и праведный боже,
Услыши молитву мою!
Последние годы птожа,
Тебя об одном я молю,
Не знаю, какую судьба мне
И где уготовила смерть,
Дай, боже, ворочая камни,
Мне в поте лица умереть.
Мне б только не быть бесполезным
И здравую мысль сохранить,
По стали ударом железным
Дай, боже, мне камень рубить.
Оставь мне глаза, чтобы видеть,
И чувства оставь до конца,
Чтоб душу труда не обидеть
И не исковеркать лица.

У вечности нет измерения,
Как нету безгрешных людей.
Оставь мне любовь и смиренья
Для этой работы моей.
Забвение пусть не остудит
Дыханья оживших камней,
И все, что я сделал, пусть будет
На радость России моей.
Тебя так не молят, но все же,—
Я мыслям отчет отдаю,—
Мне нужно все это, мой боже,
Чтоб выполнить волю твою.
Уму подчини сухожилия
И в узел уменья свяжи.
Чтоб в камень последний вложил я
Последний кусочек души.

Рисунки поэтов

Этот выпуск «Дня поэзии» оформлен рисунками самих поэтов.

Ища точный образ, обдумывая строку или строфу, поэт часто рисует на полях своих рукописей. Конечно, всем нам прежде всего приходят на память автографы Пушкина. Избыток его гениальности как бы бил через край, воплощаясь и в слове и в рисунке: серьезном, ироническом, лирическом, в шарже, автошарже, пейзаже. Непрестанный поиск ощутил в этих стремительных рисунках, росчерках, в самом летящем почерке поэта. Движение гениальной души таинственно живет во всем этом.

В сборнике воспроизводятся рисунки русских поэтов разных эпох. Известно, что среди них были и есть люди не только способные рисовать и верно схватывать черты портрета или пейзажа, но и собственно художники. Лермонтов в полной мере обладал таким даром. Жуковский был первоклассным рисовальщиком. А в нашем веке прекрасны тонкие, выразительные пейзажи Волошина, яростные, резкие, словно начертанные раскаленным углем рисунки Маяковского. Привлекут внимание читателя работы Городецкого, Брюсова, Хлебникова, П. Антокольского и многих других вплоть до рисунков ныне здравствующих поэтов, наших товарищей по цеху.

Некоторые из представленных в сборнике рисунков публиковались, многие же никогда не воспроизводились в печати.

В. Л.

Владимир Леонович

СТРАХ

Железными гвоздями
в меня вбивали страх.
С разбитыми костями
я уползал впотьмах.
Но призрак чести вырос
как статуя во мгле.
Вернулся я и выгрыз
позорный след в земле.

И стал я набираться
железных — этих — сил.
И стал меня бояться
тот, кто меня гвоздил.
А мне теперь, ей-богу,
немного чести в том —
и радости немного
в бесстрашии моем.

* * *

Кривое дерево реликтовых
и ревматических пород
из карликовых эвкалиптовых
застряло посреди болот.
Чуть дышит травяное череве
перегорающей земли.
Терпения кривое дерево,
расти-расти, боли-боли.
Пошли, творенье, силу сильную
ему достойно дорасти —
листами, корнем, древесиной
молочной вяжущей кости...
Ошиблюсь не столетьем — эрою.
При мне — живом — стоит и мрет.
Сломи! Сдери мне шкуру серую! —
не вытерпело и орет.
Терпи. Куда терпенье денется
и кто усвоит подвиг твой —
укоренится и оденется
кривою серою корой?

ГНЕВ

Прогулочная плоскодонка.
Помахивают два весла.
Родившемуся лебеденку
здесь отрубают полкрыла.

Живут под зноем и под снегом,
утратив чудо естества,
столь радикально человеком
воспитанные существа.

Одни не могут — не летают.
Другие могут — не хотят.
Так высидят, так воспитают
себе подобных лебедят.

Податлива природа птичья,
испорченная под шумок.
Бесчеловечности постичь я,
как бесконечности, — не мог.

Стоят хрустальные погоды,
пруд подмерзает в октябре,
а это — гнев самой природы:
и за полночь и о заре —

озерный, скорбный и прекрасный,
вошь одинокий и родной
летает в каменном пространстве,
перекликается со мной.

Слава тем,
кто разбрасывается
прижизненно!
Да хранит благодарная память планеты,
как посмертно
разбрасываются
поэты!

УНЦУКУЛЬСКАЯ ЯМА

Ты травой заросла,
унцукульская яма,
но для Грузии всей —
ты подобье подземного храма.
В эту яму
пленного Гурамишвили,
как звезду,
что украдена с неба,
вдавили.
Вот что делают люди,
веками копая упрямо,
для зерна —
только ямку,
поэту великому —
яму.
Остаются от ножек бесчисленных тронов
ямы в шаре земном,
словно кладбища стонов.
А когда засыпают землей эти ямы,
чьи-то стоны
слышны под землей постоянно...
Но бессильны вы,
ямокопатели слова,
ибо яма забвенья
давно вам готова!
Если пленников гроздя вы давите в яме,
то из ямы
выплескивается «Давитиани».
Яма может быть мерзлая,
смертью пропахшая,
но в той бездне
рождается Дата Туташиа!
Лучше сгнить в яме смерти,
зато непритворной,
чем прожить
в позолоченной яме придворной!
Все несчастья поэта —
лишь к счастью поэта.
Если в яму столкнут,
не вершина ли это?
Лик героя велик,
даже вставленный в яму,
как в раму.
Ближе к сердцу земли,
если брошен ты в яму.

А. Ф. Лосев

доктор философских наук

О ПОЭТИЧЕСКОМ ОБРАЗЕ

Избыточность плоских слов в «текущей поэзии», да вообще поток словес, не несущий порой никакой сколько-нибудь ценной информации, не заряженный сильным жизненным началом, не освещенный традицией глубокой культуры, лишь притворяется поэзией, маскируется под поэзию. Часто недостает нынешней поэзии — даже в ее талантливых образцах — благородства мысли и чувства, воспитанных на непреходящих духовных ценностях. Освоение этих высот для нынешних авторов, как мне кажется, еще впереди. Ощущается и недостаточность подлинной символической образности, без которой немислима жизнь истинно большой поэзии, ее всемирной продолжительной жизни. Итак — полноценный поэтический образ. Он прежде всего — живой организм.

В механизме любую часть можно заменить, не только не нанеся этим вреда механизму, но, наоборот, с целью его исправления. В организме тоже есть такие части (руки, ноги, глаза, уши), которые можно удалить из организма, не приводя последний к гибели. Однако мозг, сердце, легкие — это такие органы, которые нельзя удалить, не приведя организм к гибели. Это значит, что в такого рода органах содержится сам организм целиком, в своей субстанции. Таков же и поэтический образ, в котором хотя и можно кое-что подправить, но далеко не всякое исправление допустимо, ибо может привести к гибели образа в целом.

Поэтический образ есть с и м в о л. Но не просто знак предмета, отделенный от самого предмета, а такой его знак, который в себе самом содержит свою предметность. Плюшкин и Собакевич — не просто знаки мертвых душ, но каждый из них и есть сама мертвая душа, так что при этих условиях возникает особого рода художественная действительность.

Без идеального момента поэтический образ был бы безыдеен, а без материального момента он вообще не мог бы осуществиться фактически.

Поэтический образ есть б е с к о н е ч н о с т ь. Это видно уже на бытовом отношении людей к художественному произведению. Многие люди, подходя к тому или иному художественному образу, получают от него все новое и новое — и так до бесконечности. Но и независимо от этой бытовой сценки художественного образа последний всегда содержит в себе некоторого рода бесконечную даль, которая влечет и манит к себе знатоков и любителей поэзии и без которой поэтический образ оставался бы только на стадии фотомеханического снимка.

Истинно поэтический образ всегда м и ф о л о г и ч е н. Под мифологией обычно понимается наделение одних предметов совсем другими качествами, и уже качествами других предметов, не имеющих отношения к данным. Так, у Гомера кони Ахилла обращаются к нему с человеческой речью. Однако подобного же рода совмещение разноприродных свойств характерно и для каждой вещи, свойство которой вовсе не есть она сама, но является лишь тем, чего эта вещь есть посетитель. Таким же, в сущности тоже мифологическим, способом объединяются между собой и с самой вещью свойства вещи. Таким же образом объединяются и признаки логического

понятия между собою (хотя между ними часто нет ничего общего) и с самим данным понятием. В поэтическом образе отдельные его моменты тоже объединяются не в порядке их естественного происхождения или логического соотношения, но в порядке их жизненно-человеческого общения, то есть объединяются мифологически. Если бы поэтический образ не был мифологией, он был бы только чертежом какого-нибудь технического сооружения у специалиста-чертежника. Кирпичи, из которых создан дом, не есть дом; доски и балки тоже не есть сам дом; железо, стекло и камень тоже не есть дом. А где же сам-то дом? Сам дом есть органически созданное живое существо. И почему «живое», почему «существо»? Потому что все материалы, из которых создан дом, да и сам дом, есть только сгусток общественных отношений. Но понимать природу как особого рода общество, а отдельные ее моменты — как особого рода индивидуумы, входящие в это общество, это и значит понимать природу мифологически.

Поэтический образ есть результат активных усилий т в о р я щ е г о и н д и в и д у м а и в т о ж е самое время результат действия с у д ь б ы. Уже по одному тому, что поэтический образ есть живой организм, видно, насколько он зависит от судьбы. В зародыше живого организма заложен уже весь организм целиком. Однако когда организм начинает развиваться реально, то он встречает множество непредвиденных обстоятельств, предвидеть которые ему ни в какой мере не дано. Организм не знает, что с ним случится через мгновение. Вот это и есть жизнь. Развивая понятие жизни, мы кроме ее запланированного и целесообразного устройства натываемся еще на бесчисленное множество так называемых случайностей, без которых немислимо и само понятие жизни. В жизни, поскольку в ней запланирован данный организм, все понятно и целесообразно. Но ее реальное осуществление обладает специфическим характером слепоты, без которой не было бы и самой жизни. Следовательно, судьба есть необходимейший логический интредидент самой категории жизни.

Поэтический образ есть волшебство. Тот поэтический образ, который оставляет нас на путях естественного природного развития или на путях только логического развития, не есть поэтический образ. Поэтический образ — это такой образ, который вырывает нас из бытовой обстановки и который делает нас равнодушными к логической последовательности мысли. Литературоведы и искусствоведы много потрудились и трудятся над выяснением природы поэтического образа. Но за всеми этими природными и естественными фактами и логически четко установленными структурами поэтического образа кроется нечто такое, что никак нельзя свести к обстоятельному изучению фактов и к логической системе мысли, которые наука находит в поэтическом образе. В поэтическом образе обязательно есть нечто донаучное, сверхнаучное, венаучное, то, что не поддается никакому анализу, но что с великой силой хватает людей за душу, как иского рода волшебное видение. Не будем анализировать это волшебство. Оно ведь для того нами и введено, чтобы не сводить весь поэтический образ только к научно проанализированной структуре.

Поэтический образ есть не только предмет самодовлеющего любования, но тем самым еще и р у к о в о д с т в о к д е й с т в и ю. Часто говорили, что самодовлеющее любование красотой размагничивает людей, ослабляет их волю к жизни. Это совершенно неправильно. Когда человек много и самодовлеюще любовался поэзией, это значит, что он стал здоровее, чище и

сильнее. Его уже не будут так угнетать несовершенства жизни; и, получивши художественную зарядку, он с еще большей энергией примется за строительство жизни. Само собой разумеется, что далеко не всякий поэтический образ способен пробуждать в нас жизненные силы и быть руководством к действию. Но тогда это очень плохая поэзия; и хорошо, если ее не будет.

Евгений Осетров

* * *

Еще не подведены итоги крупнейших поэтических судеб столетия,— в преддверии нового века надо бы заняться этим полезным и насущно необходимым делом. Нужно не восхваление и не поношение, а спокойный вдумчивый подход. До сих пор остаются в тени поэты первых двух десятилетий двадцатого века,— их не надо подгонять под какую-либо единую схему, а следует увидеть в особенностях и сопоставлениях. 30—40-е годы были куда богаче, чем принято об этом думать. Не осмыслена эпичность Твардовского как новаторское свойство,— она точна и глубока.

Каждый раз, когда я думаю об индустриальном гиганте, возведенном страной, ее героической волей в 30-х годах у горы Магнитной, то вслед за образом города на Урале-реке в памяти возникает имя Бориса Ручьева.

Судьбы многих художников двадцатого столетия изобилуют необычайными поворотами и неожиданностями. Но даже на этом многоцветном фоне судьба Николая Заболоцкого выделяется. Начав литературный путь еще в 20-х, он вошел в литературу 50-х, а в 60—70-х годах стал одним из самых читаемых авторов. Известность Николая Заболоцкого прочна и устойчива и не имеет ничего общего с эстрадным успехом представителей «шумного стихотворчества» или с «калифами на час», коих мы за последние десятилетия повидали достаточно.

В чем тайна читательской любви к Заболоцкому? Не впадая в рассудочность, убивающую поэзию, Заболоцкий создавал поэтические и философские шедевры, в которых мысль и чувство сверкают с равной силой. Читая Заболоцкого, поражаешься разнообразию и богатству философских идей, заключенных в его стихах. Его рационалистическая глубина художественна. Его стих так гибок, точен, афористичен и музыкален, так естествен, что с трудом угадываешь, какими титаническими усилиями достигнуты эти легкость и изящество формы.

Еще одна особенность Заболоцкого-лирика. Его поэзия показывает нам не только беспредельные возможности, заложенные в классическом стихе, но и пути

дальнейшего развития этого стиха. Оставаясь — вслед за Буниным и Есениным — в рамках традиционной поэтической формы, он, вне сомнения, был новатором, принесшим в поэзию новое гражданственное содержание. Он не просто поэтизировал глубину мыслей, но и обратил внимание читателя на эстетическую красоту раздумий человека о себе и своем месте в природе и обществе.

Александр Довженко написал однажды: «Нам так хочется прекрасной, светлой жизни, что страстно желаемое и ожидаемое мы мыслим порой как бы осуществленным, забывая при этом, что страдание пребудет с нами всегда, пока будет жив человек на Земле, пока будет он любить, радовать, творить... Я верю в победу братства народов, верю в коммунизм, но если при первом полете на Марс любимый мой брат или сын погибнет где-то в мировом пространстве, я никому не скажу, что преодолеваю трудности его потери. Я скажу, что я страдаю».

Поэзия составляет существенную часть нашей духовной жизни, пользуется всенародной любовью, окружена у нас в стране всеобщим и, я бы сказал, пристальным вниманием. Все, что происходит в сфере поэзии, привлекает взоры огромного числа читателей и слушателей. То, что мешает развитию стихотворной речи, вызывает справедливое негодование и читателей и писателей. Творческая природа художника мстит за насилье над ней. Основное для поэта — выразить себя, а следовательно, и свою эпоху в стихах. Чем глубже и своеобразнее личность художника, тем художественно совершеннее его творения. Когда мы читаем произведения великих писателей, то видим, как на ладони времени оттискивается неповторимый самостоятельно-личный мир.

Движение поэзии неотделимо от движения жизни. Вот почему говорить о гражданственных мотивах в стихах, о их образности это значит размышлять о сердцевине поэзии, о том, что составляет ее живую душу. Художественное произведение всегда насыщено силой, оно зовет и убеждает нас, заражает «деятельной гражданственностью».

Владимир Соколов

БАРЕЛЬЕФ

(Баллада)

Владимиру Луговскому

То было над Ялтой в чуть призрачном доме,
Где плыл из окна полумрак-полусвет.
Меня в полузренье и в полудреме
Там резкий тогда посетил силуэт.

Получше хотелось к нему приглядеться.
Он звал за Москву, за Кубань, за Дарьял.
Он маялся тем, что потеряно сердце.
И тем, что давно он его потерял.

— Пойдем, — говорил он, — ты должен помочь
мне,

Ты знаешь, где сердце, я слышал о том.
Тогда я воскресну во всем полномочье
Под этим полночь, под этим дождем.

И ты силуэт, — он сказал, — коль взглядеться. —
Хотел я ответить, чуть-чуть не сказал:
И я потерял свое легкое сердце
Еще до того, как его потерял.

— Ты сердце, — сказал я, клонясь к силуэту, —
Ты просто не можешь себя потерять. —
И он начал таять навстречу рассвету,
На чистом листе трепетала тетрадь.

И он начал таять, и он испарился,
Сказав: — Ничего, мы еще подождем. —
И только мотался султан кипариса
Под мелким, осенним, приморским дождем.

К ФОТОГРАФИИ А. БЛОКА 1916 ГОДА

Ты жил на поле Куликовом,
И в Петрограде, и в Твери.
Ты был российским
тайным словом,
Великий сын родной земли.

Ты дружен был с могилой братской —
Синявинской и Петроградской.
Не в золотом,
не в камергерском,
В том грустно-памятном году
Сидел ты в позе офицерской
У дам и смерти на виду.

И посреди великой драмы
Прекрасный след
Прекрасной Дамы
Шел за тобой —
Не ты за ним...

Предвидя трудность высшей цели,
Под шум сдвигающихся льдин
Вслед за Двенадцатью в метели
Шел Петроградом. Шел один.

Среди отеческих разминок,
Среди отеческих дорог
И мне дороже всех снежинок
Снег на носках твоих сапог.

* * *

«Слушай, муза, — сказал я в больнице, —
Я писать разучился, ты знаешь...
Там, на улице, — улицы, птицы,
А в палате — режим. Понимаешь?»

Хорошо, что меня навестила,
Не чужие ведь все-таки...»
Муза
Отвечала: «Не майся уныло.
Говорю не как члену союза.

Друг, тебе подлечиться полезней,
Чем метаться во сне. Обнимаю.
Не пиши. Отдохни. Из болезней
Лишь Высокую я понимаю.

Муза мне принесла передачу:
Шерлок-Холмса... и яства, и фрукты...
Книгу я полистал наудачу,
А потом принялся за продукты.

Но какая-то странная сила
Наставления перемогала.
Словно тяжесть с души уносила
И на плечи стихов возлагала.

Забывая о мудрых советах,
Замирая в стыдливой отваге,
Я писал их на новых газетах,
На оберточной старой бумаге.

Ты вошла. Не вошла, а возникла.
Я к щеке твоей льстиво прижался:
«Вот. Стихи. Из больничного цикла.
Написал-таки. Не удержался».

Я читал, избавляясь от груза,
Понимая, чем это чревато.
Но сказала мне щедрая муза:
«Ничего. Это я виновата».

ДЕРЕВЬЯ СВЕРХУ

— Ну что ты у окна торчишь
И сутки целые молчишь?
— Хочу нарисовать, малыш,
Деревья сверху.

Внизу мы видим их стволы,
Как видим стены и углы.
Хочу увидеть, чем милы
Деревья — сверху.

* * *

Четыре стены снаружи.
Четыре стены внутри.
Мечта — отразиться в луже.
Построже за ней смотри.

А то ведь еще захочешь
Тень бросить на тротуар!
Во сне на подножку вскочишь,
Поедешь гасить пожар.

А это — зари в окошке
Совсем небольшой объем.
Очнись. Уподобься кошке,
Следящей за воробьем.

Воспользуйся этой тишью,
Поймай его и запри

* * *

О сколько самообладанья
У замечательных берез,
Что оставляют без вниманья
Разряды движущихся гроз!..

— И что увидел за день ты?
— Черты зеленой красоты,
Расплывчатые, но черты
Деревьев сверху.

Малыш, за хлебом я схожу.
Но все же прежде догляжу,
Чем мне милы, как погляжу,
Деревья — сверху.

В пределах четверостишья,
В стенах четырех. Внутри.

Он будет тебе чирикать
В несвойственной тишине.
А ты ему стих пиликать
На грустной одной струне.

Он будет о стены биться
Как стиснутая душа...
Нельзя, чтоб страдала птица —
И падала чуть дыша.

...Гуляй, отражайся в луже
Со всем своим чик-чири!..
Четыре стены снаружи.
Четыре стены внутри.

В любые синие морозы
Снега не будут так белы,
Как эти яркие стволы
Любой сияющей березы.

ПОКИНУТАЯ ДЕРЕВНЯ

Пусть твои дома давно забиты
И почти рассыпался плетень.
Все равно шумят твои ракиты —
Украшение русских деревень.

Тишина. Лишь в поле крик вороний.
Да рокочет трактор за бугром.
На лугу — стреноженные кони.
И мерцает речка серебром.

Ничего. Ты все равно прекрасна.
Пусть шуршит под ветром лебеда.

* * *

Белый аист на кресте
На побеленной церквушке
В той молдавской деревушке,
В той осенней чистоте.

Не забуду тех дорог
С неосеннею теплыню,
Сходный с древнею латынью
Молдаванский говорок.

Потому что нам дана
Для стихов простых и грустных —

* * *

В. Л.

Ветер свистит в сухом камыше
Близким посвистом зимних вьюг.
Больше того, что есть в душе,
Мы — увь! — не напишем, мой друг.

Больше того, что жизнью дано,
Мы не сможем вложить в стихи...
Ветер стучит и стучит в окно.
Уже на дворе не видно ни зги...

МЕТЕЛЬ

О господи! Царь наш небесный!
Какая густая метель!
У этой речушки безвестной
Кому она стелет постель?

И нету следа человека,
И волка поблизости нет.
Как будто из прошлого века
Струится серебряный свет.

Никакому тленью не подвластна
Этих далей тусклая слюда.

Потерпи, родимая, немного.
Слышишь этот трактор вдалеке?
Скоро будет новая дорога,
Новый мостик на твоей реке...

А ракитам лет уже по двести.
Есть о чем тужить и вспоминать...
Ничего, на этом грустном месте
Кто-нибудь поселится опять.

Для молдавских и для русских —
Боль — одна, любовь — одна.

Буду помнить навсегда
Дамиана и Виеру.
Не приму другую веру
Ни за что и никогда.

И в осенней высоте
Пусть нам светит в жизни ясной
Символ грустный и прекрасный:
Белый аист на кресте.

А я вспоминаю седые дни.
Вижу солнца кровавый круг.
Только послушай, только взгляни —
Сколько пришлось пережить, мой друг!

Видно, такая у нас тропа.
Время нас и должно терзать.
Больше того, что скажет судьба,
Разве мы сумеем сказать?

А что это там за дорогой?
Погост? Или, может, село?...
Какой необъятной тревогой
Угрюмую душу свело.

Совсем незнакомая местность.
И снежные призраки дней
Летят и летят в неизвестность
Из тающей жизни моей.



О жизнь моя! Не уходи,
Как ветер в поле.
Еще достаточно в груди
Любви и боли.

Еще дубрава у бугра
Листвой колышет
И дальний голос топора
Почти не слышит.

И под ногой еще шуршат
Сухие прутья.
И липы тонкие дрожат
У перепутья.

Еще стучит по жилам кровь
В надежде вечной.

И вечной кажется любовь
И бесконечной.

Но с каждым годом уже круг
И строже время
Моих друзей, моих подруг,
Моих деревьев.

О хрупкий мир моей души
И даль лесная!
Живи, блаженствуй и дыши,
Беды не зная...

Прозрачен лес, закат багров,
И месяц вышел.
И дальний голос топоров
Почти не слышен.

* * *

Марта, Марта! Весеннее имя!
Золотые сережки берез.
Сопки стали совсем голубыми.
Сушит землю последний мороз.

И гудит вдалеке лесосека,
Стонет пихта, и стонет сосна...
Середина двадцатого века.
Середина Сибири. Весна.

По сухим, по березовым шпалам
Мы идем у стальной колени.
Синим дымом, подснежником талым
Светят тихие очи твои.

Истекает тревожное время
Наших кратких свиданий в лесу.
Эти очи и эти мгновенья
Я в холодный барак унесу...

Улетели, ушли, отзвучали
Дни надежды и годы потерь.
Было много тоски и печали,
Было мало счастливых путей.

Только я не жалею об этом.
Все по правилам было тогда —
Как положено русским поэтам —
И любовь, и мечта, и беда.

Федор Сухов

ТЕБЕ, МАРИЯ

1

Хочу забыть и не могу забыть,
Хочу забыться — не могу забыться.
Течет река неудержимо-быстро,
Хочу напиться — не могу напиться,
Большой реки губами не испить.

Ты как река, Мария, ты как Волга,
Вся видная до самой глубины,
Ты каждодневная моя тревога,
Ты как река, Мария, ты как Волга,
Как песня набегающей волны.

А я и поклоняюсь только песне,
Ее одну всю жизнь боготворю,
Ее отлитые из солнца перстни
Звенят и на земле, и в поднебесье,
Глядят, Мария, в душеньку твою.

И иволги неторопливый посвист
Разбуженная слушает земля.
Привстали, поднялись — не по моей ли
просьбе? —
Росой умылись, а немного после
Лучисто рассыпались зеленыя.

Придвинулись к черемухе поющей,
Светло и вольно льющейся реке,
И в изумленье встали перед кручей,
Припав к твоей, Мария, неминучей,
Ромашкой лепестящейся руке.

И я неутоленными губами
Неутоленные ловлю я лепестки,
Тянусь я и к ромашке и к купаве,
Чтоб на душу мою не пали
От жажды побелевшие пески.

2

Жажду глаз твоих, уст твоих, рук твоих жажду, Мария,
Утоли мою жажду, пустыню мою поскорей утоли,
Чтоб пустыня моя, чтоб она каждодневно молилась,
Вспоминала, как реки, певучие руки твои.

Ты откроешь глаза и глазами своими окатишь,
Освежишь меня, зрячей живою водой исцелишь.
Встрепенется, не знаю я, кстати, а может, некстати —
Ах, какой он! — души моей сразу воспрянувший лист.

И тогда-то я крикну: — Осанна, Мария, осанна! —
И увижу, какая сошла на меня благодать.
Бог ты мой! Лепестками роскошно цветущего сада
Я скажу, я смогу незабвенное слово сказать...

Восходящего дня слышу звонко ликующий голос,
Он нежней, величавей спасащих в полет лебедей,
Не с того ль обуяла меня окаянная гордость
За безгрешные души греховно живущих людей.

3

Нет, не в силе влекущая сила,
Жар огня — не в горящем костре...
Ты затем меня и воскресила,
Чтобы снова распять на кресте.

На свою восхожу я Голгофу,
Ночь — как ада кромешного чад.
Под ногами, подобно гороху,
Камни мелкие слезно кричат.

Тяжела она, крестная поша,
Поднимусь и опять упаду.
Хлещет кровь изо рта и из носа,
Весь я вымок в кровавом поту.

Исхожу, умираю от жажды,
Предрассветную жду благодать!
Пот кровавый глаза мои застит,
Ничего не слышать, не видеть.

Пребываю в каком-то тумане,
Не пробиться живому лучу.
«Или, лама, — кричу, — савахвани!»
Я, наверное, всуе кричу.

Ведь давно проглаголено свыше,
Протрубило само божество,

Что никто-то тебя не услышит.
Коль не слышишь ты сам никого.

И никто-то тебя не утешит,
Утешений ничьих не ищу, —
Грешен мир, да и я не безгрешен,
Коль на крестные муки ропщу...

4

Позволь припасть к рукам твоим, Мария,
Позволь, как яблоку, к ногам твоим упасть,
Чтоб вновь моя смородина-малина
Зарей животворящей налилась.

Заря заката и заря рассвета
Друг другу голос подали. И вот
Взутрел, поднялся с яблоневого веток
К сырой земле прилипший небосвод.

Раздвинулся от края и до края,
Очнулся от ночного забытья.
Позволь сказать, Мария, как, играя,
Забилась родниковая струя.

Светло открылась золотая жила
Широко развернувшегося дня.

Я не пойму — роса ли освежила,
Иль ты, Мария, тронула меня.

Своей зарей рассветной прикоснулась
К моей закату рдеющей заре.
Да здравствует ликующая юность —
Единственное чудо на земле!

Да здравствует от века и до века
Неудержимо бьющийся родник!
И яблони свисающая ветка,
К которой я, как яблоко, приник.

Так разреши припасть благоговейно,
К рукам твоим безропотно припасть,
Чтоб вечно длилось чудное мгновенье,
Его всеобещающая власть!

5

В день рожденья — думаю о смерти,
Знаю, что она придет в свой час...
Так уж повелось на белом свете:
Белый свет, уходит он из глаз.

Потому, наверное, и щурю
Соловьиные свои глаза.
И кукушку — мудрую вещунью —
Слышу сквозь дремучие леса.

Слышу грусть волхвующего зова,
Будто меди погребальной грусть.

Даже мудро вышептанным словом
Я себя утешить не берусь.

Что слова! Теряют голос реки,
Умирают реки и моря.
В каждом уходящем человеке
Тихо стынет кровушка моя.

Не мои ли холодеют руки,
Недвижимо на груди лежат.
Пасмурно склоненные старухи
Крепкий сон их скорбно сторожат.

А потом их отдадут родимой,
Эти руки предадут земле,
Чтобы ты ко мне не приходила,
Чтобы ты забыла обо мне.

Только ты придешь ко мне, ни реки,
Не удержат реки и моря, —
В каждом приходящем человеке
Оживает кровушка моя.

Я свои приподнимаю руки,
Раннюю приветствую зарю,
Говорю уже не о разлуке,
Я опять о встрече говорю.

И стараюсь думать не о смерти
Под зеленой кущею берез.
Так уж повелось на белом свете,
Так на белом свете повелось...

ИЗ НАСЛЕДИЯ М. М. БАХТИНА

Основные труды Михаила Бахтина (1895—1975) пзданы; в архиве остались наброски, заметки, конспекты лекций. Но подчас черновая запись мысли обладает ценностью, которой лишен законченный труд: смелостью и размахом первоначального замысла. Два таких наброска мы публикуем.

[1]

«Слово о полку Игореве» в истории эпопей. Процесс разложения эпопей и создания новых эпических жанров. Роль в этом процессе «Теогонии» и «Трудов и дней» Гесиода, «Песни о Роланде» и «Слова о полку Игореве». Элементы специально-литературной и идеологической полемики (религиозной, политической).

«Слово о полку Игореве» это не песнь о победе, а песнь о поражении (как и «Песнь о Роланде»). Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и посрамления (дело идет о поражении не врагов, а своих). Этим опреде-

ляется сложный состав этого произведения. Основой жанра остается форма героической эпопей (прославление героического прошлого дедов и отцов). Но предметом здесь служит «выпадение из дедовской славы». Отсюда фольклорные элементы «плача», с одной стороны, и «посрамления», с другой...

Образные системы «плача» и «посрамления» пересекаются и частично покрывают друг друга. В точке пересечения обеих систем лежит образ мрака, временно победившего свет, то есть прохождение через фазу мрака и смерти (оскудения) и возрождение. С этими образами связана система образов ущерба в природе. С процессом борьбы мрака со светом, жизни со

смертью связан и круг образов битвы и смертей, как посева, жатвы, молотбы, пира и брачного пира...

На почве этих жанровых форм возможно изображение современности с ее противоречиями, возможна литературная и политическая полемика, возможны обличения, призывы и пропаганда, возможна свобода осуждения. Амбивалентность ведущих образов «посрамления» и «плача». Смелость поэта, от своего имени корящего князей. Эта смелость должна была опираться на какие-либо жанровые формы.

Для «Слова» характерно не только то, что это эпопея о поражении, но особенно и то, что герой не погибает (радикальное отличие от Ролаанда). Беовульф, сделав свое дело, погибает. Игорь, претерпев временную смерть (плен, «рабство»), возрождается снова (бегство и возвращение). Он ничего не сделал и не погиб.

[2]

* * *

Модель последнего целого, модель мира, лежащая в основе каждого художественного образа. Эта модель мира перестраивается на протяжении столетий (а радикально — тысячелетий). Пространственные и временные представления, лежащие в основе этой модели, ее смысловые и ценностные измерения и градации.

Интеллектуальный уют обжитого тысячелетнюю мыслью мира.

Система тысячелетиями слагавшихся фольклорных символов, изображавших модель последнего целого. В них — большой опыт человечества.

В символах официальной культуры лишь малый опыт специфической части человечества (при том данного момента, заинтересованной в стабильности его). Для этих малых моделей, созданных на основе малого и частичного опыта, характерна специфическая прагматичность, утилитарность. Они служат схемой для практически заинтересованного действия человека, в них действительно практика определяет познание. Поэтому в них нарочито утаивание, ложь, спасительные иллюзии всякого рода, простота и механичность схемы, односмысленность и односторонность оценки, однопланность и логичность (прямолинейная логичность). Она менее всего заинтересована в истине всеобъемлющего целого (эта истина целого непрактична и бескорыстна, она безразлична к временным сдвигам частного).

Большой опыт заинтересован в смене больших эпох (большом становлении) и в неподвиж-

ности вечности, малый же опыт — в изменении в пределах эпохи (в малом становлении) и во временной, относительной стабильности. Малый опыт построен на нарочитом забвении и на нарочитой неполноте.

В большом опыте мир не совпадает с самим собою (не есть то, что он есть), не закрыт и не завершен. В нем — память, не имеющая границ, память, опускающаяся и уходящая в дочеловеческие глубины материи и неорганической жизни, опыт жизни миров и атомов. И история отдельного человека начинается для этой памяти задолго до пробуждения его сознания (его сознательного «я»).

В каких формах и сферах культуры воплощен этот большой опыт, большая, не ограниченная практикой память. Трагедии, Шекспир — в плане официальной культуры — корнями своими уходят во внеофициальные символы большого народного опыта. Язык, непубликуемые схемы речевой жизни, символы смеховой культуры. Непереработанная и не рационализованная официально сознанием основа мира.

Надо уметь уловить подлинный голос бытия, целого бытия, бытия больше, чем человеческого, а не частной части; голос целого, а не одного из участников его. Память на индивидуальное тело. Эта память противоречивого бытия не может быть выражена односмысленными понятиями и однотонными классическими образами. Развернутая критика того, как изучают этот опыт фольклористы (перевод логики целого на язык логики частного и т. п.).

Эта большая память не есть память о прошлом (в отвлеченно временном смысле); время относительно в ней. То, что возвращается вечно и в то же время невозвратно. Время здесь не линия, а сложная форма тела вращения. Момент возвращения уловлен Ницше, но абстрактно и механистически интерпретирован им.

В то же время открытость и незавершенность, память о том, что не совпадает с самим собой. Малый опыт, практически осмысленный и потребляющий, стремится все омертвить и овеществить, большой опыт — все оживить (во всем увидеть незавершенность и свободу, чудо и откровение). В малом опыте — один познающий (все остальное — объект познания), один свободный субъект (все остальное — мертвые вещи), один живой и незакрытый (все остальное — мертво и закрыто), один говорит (все остальное безответно молчит).

В большом опыте все живо, все говорит, этот опыт глубоко и существенно диалогичен. Мысль мира обо мне, мыслящем, скорее я объектен в субъектном мире.

В философии, в особенностях в натурфилосо-

фии начала века, все это все же рационализировано и оторвано от тысячелетних систем народных символов, все это дано как собственный опыт, а не как проникновенное истолкование многотысячелетнего опыта человечества, воплощенного во внеофициальных системах символов.

Греческая мысль (философская и научная) не знала терминов (с чужими корнями и не участвующих в том же значении в общем языке), слов с чужим и неосознанным этимологом. Выводы из этого факта имеют громадную важность.

В термине, даже и неинноязычном, происходит стабилизация значений, ослабление метафорической силы, утрачивается многосмыслен-

ность и игра значениями. Предельная однотонность термина.

Роль нарочитого забвения в организации образа. Борьба с памятью. Большая память по-особому понимает и оценивает смерть. Эта память позволяет обойти меня самого (и мою эпоху) во времени. Самоожжение и универсализация своего «я». Все неповторимо оригинальное, открывающее, бесстрашное в образе рождается именно за счет этой памяти. Память не бедняет образа: он живет новой жизнью во времени, происходит непрерывное обогащение и обновление его смысла в развивающемся далее контексте мира, ослабляются моменты корыстной практичности, узкой заинтересованности.

Публикация В. Кожина

ПЕВЕЦ САМОЦВЕТНОГО СЛОВА

Со времен Кольцова в русской поэзии тянется одна золотая нить, связанная с народным ладом. Она прошла через Некрасова и Никитина, на краткое время посеребрившая Клюевым, дошла до Есенина, а от него через А. Прокофьева дотянулась до Николая Тряпкина, который в ряду этих имен самостоятелен и ни на кого не похож. А что касается нашего времени, то в единой планетарной системе поэтических величин он уникален и довлеет самому себе, как крупная звезда.

Николай Иванович Тряпкин родился на заре советской власти в глухой тверской деревушке. Атмосфера народного говора, былин, сказов, бывальщин, поэзия земледельческого труда питала детскую душу.

Ах вы чуды мои, причуды —
Эти гусельки-самогуды,
Да касатка моя — трехрядка,
Да поддужные соловьи!
Эй вы «купчики» удалые,
Дедовья вы мои честные!
Ой, спасибо вам за раздолье
Этой песенной колеи.
Хорошо там у вас, в замостье,
Постоять на глухом погосте
И с кустом бузины дремучей
Погрузиться в покой времен!
И услышу я голос крови,
И пройдет он, как ветер, в слове;
И проснется в моей дремоте
Тот забытый вечерний звон...

Детские впечатления сформировали из него неповторимую личность, и он навсегда остался верен первым святыням. «И гляжу я на землю глазами ребенка», — скажет он уже седым. Не каждому дано глядеть на мир глазами ребенка, но таков дар судьбы, ниспосланный поэту.

Николай Тряпкин близок к фольклорному началу и этнографической среде, но близок как летящая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его стихах всегда возникает ощущение ликующего полета, удерживаемого земным притяжением, ибо талант поэта удивительно чуток к равновесию. Он никогда не опускается до стилизации — он творит. Достаточно образа, строчки, словицы, случайно услышанного напева, чтобы это тут же навяло ему целое стихотворение, оригинальное

и совершенное по форме. Бытовые подробности в его стихах отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. Читая его стихи, не можешь не воскликнуть: «Тут русский дух! Тут Русью пахнет!»

Влияние поэта стремительно растет, однако все его самобытное творчество еще ждет настоящей оценки. Критика отмечала его чистый и напевный голос, светлое узорочье словаря, особливую лебединую статью, но подозревала в нем некую закругленность диапазона. Так ли это?

Как сегодня над степью донецкой
Снова свист-пересвист молодецкий.
Голосят трубачи по изюгам,
Завивается пыль по дорогам.
А по ним, да во мгле полуденной,—
То ли старый Богун, то ль Буденный,
То ли вижу — с холма простого
Замаячил дозор Годунова...
Только стяги, да ветер, да слава.
Красногривая стелется лава...
Это просто над степью донецкой
Свистнул ветер в кулак молодецкий —
И в степи через все перегоны
Поскакали его эскадроны...
То не всадники древней разведки,
То взбираются вверх вагонетки...
Эй-го-гей! Перекатное поле!
Гулевая осенняя воля!
И чрез все рубежи и заставы
Маханули гривастые травы.
И дымятся холмы насыпные,
Копяные, крутые — степные!
И стоят, как былинные племя,
У истоков грядущей Поэмы.

Вот она, «гулевая осенняя воля»!

От Годунова до Буденного, от старой былины до грядущей поэмы — есть где разгуляться. Мир распахан в оба конца. Конечно, такой свободы не купишь ценой быта. Тут плата дороже.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Николай Тряпкин

ЗАВЕТ

Бухта Золотой Рог во Владивостоке

У тех причалов Золотого Рога,
Встряхнувшись рано,
Ты погляди с последнего порога
В чужие страны.

Ты загляни в другое полушарье
Да с той сосницы,
Пускай моря плюются смертной гарью
В твои зеницы.

Земля кругла, и вся она из дыма
И с горькой солью.
И пусть торчит огарок Хиросимы
В твоём же горле.

Пускай истлеем в тех же котлованах,
В костях безмерных,
И так же рвутся дьяволы вулканов
Из кашниц серных.

А ты, как прежде, знай свою работу
(Эгей, матросы!),
И принимай широты и долготы —
Земные тросы,—

И скручивай железными узлами
Костяк бесценный,
Чтобы звенела палуба под нами
В любой вселенной,

И чтоб земные пели полушарья
На той же спице,
И чтобы цвел цветок иван-да-марья
В твоей петлице!..

У тех причалов Золотого Рога,
У тех рассветов
Не позабудь для песенного слога
Моих заветов.

* * *

Это было в ночи, под венцом из колючего света,
Среди мертвых снегов, на одном из распутий моих...
Ты прости меня, матушка из того ль городка Назарета,
За скитанья мои среди скорбных селений земных.

Грохотала земля. И в ночах горизонты горели.
Грохотали моря. И сновали огни батарей...
Ты прости меня, матушка, что играла на тихой свирели
И дитя уносила — подальше от страшных людей.

И грохочет земля. И клокочат подземные своды.
Это все еще — тут, на одном из распутий моих...

Ты прости меня, матушка, обрыдавшая веси и воды,
Что рыдаешь опять среди мертвых становий людских.

Проклинаю себя. И все страсти свои не приемлю.
Это я колочусь в заповедные двери твои:
Ты прости меня, матушка, освятившая грешную землю,
За неверность мою, за великие кривды мои.

* * *

И снова — предзимняя мгла.
И снова — скрипенье ствола.
И вот — уже вечер залег.
И снова — гудит камелек.

А в сердце — извечный мой труд.
А с воли — пустующий пруд.
Гусиная скрылась орда.
И чую, как стынет вода.

И вот — за поленницей дров
В солому зарылся мой кров

И в звездную сыпь, как в ботву,
И в древние сны наяву.

И снова — скрипенье ствола.
У двери собака легла.
И вот — уже Млечным Путем
Плыву я в ковчеге своем.

И вот — уже в печке божок
В залиvistый дует рожок,
И снова пред грозною тьмой
Звенит уголек золотой.

* * *

То ли это в космосе,
То ли это здесь...
Говорят, особые
Городишки есть:

Все кругом бетонное —
Солнце и вода,
И в котлах реакторных
Варится еда.

И горит за городом
Атомный закат,
И стоит над городом
Атомный солдат...

То ли это в космосе,
То ли это здесь,
Только знаю, чувствую —
Непременно есть!

И что в этом городе
С мэром заводным
Даже делать нечего
Песенкам моим.

ГОРОД В ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Певец «звезды полей», «русского огонька», затерянного в сибирской пустыне, «зеленых цветов», Рубцов в сознании многих читателей воспринимается только в этом привычном контексте, но большие и малые города в своем образном звучании, с их людьми, пейзажами и внутренней особой жизнью, так же неотделимы от его лирики, как и деревни, луга и темные леса. Путешествия, поезда, пароходы, автостреды — это темы дороги; «морзяцкие» стихи — тоже в стороне от темы, хотя пристани и пути к ним в пределах городской черты.

«Городские» стихи разделяются на «ленинградские» и «вологодские». «Ленинградские» охватывают пятнадцатилетний период — с 1957 по 1962 год, а «вологодские», судя по уже установленным датам, писались со второй половины 60-х годов, когда поэт уже вернулся из Москвы на родную землю, и — до конца.

Все «ленинградские» стихи, за исключением разве стихотворения «В гостях», относятся к ранней лирике поэта, когда его поэтический голос только устанавливался, причем стихи эти для печати им не готовились, писались для друзей, для чтения на людях.

Рубцов стремился к общению с пишущими людьми, бывал на занятиях лито «Нарвская застава»; запомнились мне его публичные чтения стихов в ДК им. Горького, на Металлическом заводе, в Доме писателя им. Маяковского.

И хотя «ленинградские» стихи в большинстве своем при жизни поэта не печатались, они звучали, обсуждались, по ним судили о творческом росте Рубцова.

Стихотворение «Грани» — программное. В нем поэт впервые поведает в стихах о своей раздвоенности:

Я зрею
Под рывканье МАЗов
На твердой
Рабочей земле.
Но хочется
Как-то сразу
Жить в городе и селе!

Поначалу покажется, что ритмика стиха маршевая, но по общей тональности стихотворение озорное, самоироничное, созданное как бы для пения под гитару: «Я вырос в хорошей деревне! Красивым — под скрип телеги!»

Обращает на себя внимание обилие восклицательных знаков, в пяти строфах их восемь, — строки не читаются, не поются даже, а выкрикиваются, и в крике этом прорывается злое признание:

Мужал я
Под звуки джаза,
Под голос
Притонных дам, —
Я выстрадал,
Как заразу,
Любовь к большим городам!

Стихотворение контрастно, в нем упоминание и о «деревенской царевне», и о «голосе притонных дам», «скрип телег» и — «рывканье МАЗов», так что концовка вполне естественна:

Меня же терзают
Грани
Меж городом и селом...

«Терзают» — это тоже из романа, а «грани» — деталь геометрическая и архитектурная, едва ли не ставшая здесь орудием пытки...

«Не пришла». В этом небольшом стихотворении Николай Рубцов намечает блоковскую атмосферу не только созданием определенной поэтической ситуации, введением «матросского сурового отряда», «болотного» света из окна ресторана, но и перебоем взятого уже широкого свободного ритма на звучание блоковской строфы:

Ты и раньше ко мне
приходила не скоро,
А вот не пришла и совсем...

И в то же время стихотворение это — рубцовское. Мотив Блока здесь интуитивно использован им для воссоздания петроградского силуэта, этот мотив соседствует с графически точным пейзажем:

От асфальта до звезд
заштрихована ночь
снегопадом...

Фигура героя стихотворения не обозначена графически, дается в чисто эмоциональном плане:

Сумасшедший, ночной, вдоль железных заборов,
Удивляя людей, что брожу я?..

Нет, это не фигура из блоковского стиха, это чисто рубцовское видение, которое так хорошо мы запомним потом в метельной пыли скитаний, бредущее к «русскому огоньку»...

В конце стиха Рубцов вновь обращается к образу снега и, повторяя строку

Снег глухой,
беспристрастный, бесстрастный, холодный, —
неожиданно завершает интонационную линию:
Мертвый снег,
ты зачем не даешь мне покоя?

Это сильное и психологически, и по мастерству стихотворение открывает драматическую тему неразделенной любви в лирике Рубцова.

В стихах «Эх, коня да удаль азпата» и «Дышу натруженно, как помпа» есть легкость, ирония, юмор, бытовая разговорность, даже альбомность:

Ах, если б в гости пригласили,
Хотя б на миг, случайно пусть,
В чудесный дом, где кот Василий
Стихи читает наизусть!

Это — другая сторона природы и лирического темперамента Рубцова.

Но вот поэт приходит в гости не к любимой девушке, а к своему собрату по перу. Я имею в виду одно из лучших «городских» стихотворений Рубцова «В гостях».

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гравитным громом грянуло с небес!..

Стихи о пережитом сегодняшнем дне, а встает образ Петербурга.

Нагнетание мрачного тона идет с первой строки, постепенно нарастая, прорываясь вдруг громом с небес — и гром-то «гравитный»!

Быстро меняется лексический ряд, вместо «грома о небес» появляются «притонное жилище», коридор коммуналки, табурет, образ отяжелевшего от вина поэта-«волка».

Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.

Упреки «волку», поэту, чья лира гаснет, возникают в думах автора, но «случайный крик», раздавшись над богемой, нарушил беседу, и все живое опять превратилось в действо, в страшную гротесковую картину торчащих обрубков «соседа», «теток», «бутылок водки», «слов», «рассвета»...

В конце опять возникает дума автора, не связанная будто с нарисованной картиной:

Николай Рубцов 1936—1971

* * *

П. И.

Ты хорошая очень — знаю.
Я тебе никогда не лгу.
Почему-то только скрываю,
Что любить тебя не могу.
Слишком сильно любил другую,
Слишком верил ей много дней.
И когда я тебя целую,
Вспоминаю всегда о ней...

1957

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Т. С.

Идет дождь? — Можно узнать по луже.
Любишь меня? — Определю не хуже
По ласкам твоим и взглядам.
Мне клятвенных слов не надо!
Забыла ли ты о друге?

Взгляни же скорей!
Все ясно...
Три года тебе, подлюге,
Письма писал напрасно!

1957

СКАЗКА-СКАЗОЧКА

Влетел ко мне какой-то бес.
Он был не в духе или пьян.
И в драку сразу же полез:
Повел себя, как хулиган.

И я сказал: — А кто ты есть?
Я не люблю таких гостей.
Ты лучше с лапами не лезь:
Не соберешь потом костей!

Но бес от злости стал глупей
И стал бутылки бить в углу.

Я говорю ему: — Не бей!
Не бей бутылки на полу!

Он вдруг схватил мою гармонию.
Я вижу все. Я весь горю!
Я говорю ему: — Не тронь,
Не тронь гармошку! — говорю.

Хотел я было напрямик
На шпагах драку предложить,
Но он взлетел на полку книг.
Ему еще хотелось жить!

Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто-то скажет: «Он сгорел в труде».

С этим «городским» стихотворением Н. М. Рубцов выходил на поле настоящей, большой русской литературы.

Ленинградский период был важен для Рубцова и обновлением, и пополнением культурного базиса: на занятиях лито, которые он посещал, о чем свидетельствует и автор этих строк, обсуждалась работа не только молодых авторов, но и изучалась поэзия Серебряного века, поэтов 20-х годов от Пастернака до Заболоцкого. На литературной арене тех лет шумно выступили Евтушенко, Вознесенский, Рождественский...

Так что поиски своего голоса у Рубцова проходили в обстановке живой, в обстановке борьбы мнений и стилей...

МИХАИЛ КОНОСОВ

Уткнулся бес в какой-то бред
И вдруг завыл: — О, божья мать!
Я вижу лишь лицо газет,
А лиц поэтов не видать...

И начал книги из дверей
Швырять в сугробы декабря.
...Он облагел, он озверел!
Я... ничего не говорю.

1960

ПАРОДИЯ

Куда меня, беднягу, завезло!
Таких местов вы сроду не видали!
Я нажимаю тяжко на педали,
Въезжая в это дикое село!
А водки нет
в его ларьке убогом,

В его ларьке единственном, косом...
О чем скрипишь
передним колесом,
Мой ржавый друг?
О, ты скрипишь о многом!..

НЕНАСТЬЕ

Погода какая!
С ума сойдешь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы, струится дождь
по скулам железного Гааза¹.

Как резко звенел
в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом
и вдруг онемела с раскрытым ртом...
Конечно, не провод лопнул!
Я дверь автомата открыл пинком

и снова
пинком
захлопнул...

И вот я сажу
и зубрю дарвинизм,
и вот, в результате зубрежки,
внимательно ем
молодой организм
какой-то копченой рыбешки...
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.

На памятник Гааза в окно гляжу:
железный!
А все-таки... плачет.

1960

¹ Имеется в виду памятник известному врачу-гигиенисту Ф. П. Гаазу в Ленинграде.

* * *

Среди обыденного
Окруженья,
Среди обыденных гостей
Мои ленивые движенья
Сопровождает
Скрип костей.
Среди такого окруженья
Живется легче
Во хмелю,
И, как предмет воображенья,
Я очень призраки люблю...

НА ЗЛОБУ ДНЯ¹

(Экспромт)

Космонавты советской земли,
люди самой возвышенной цели,
снова сели в свои корабли,
полетели, куда захотели!

Сколько ж дней, не летая ничуть,
мне на улице жить многостенной?
Ах! Я тоже на небо хочу!
Я хочу на просторы вселенной!

Люди! Славьте во все голоса
новый подвиг советских героев!

¹ Стихи написаны в день начала совместного космического полета Андрияна Николаева и Павла Поповича.

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

Кто-то из наших критиков сказал о Василии Казанцеве: «Скрытый лирик». Парадоксальность суждения — очевидна. Однако в суждении этом подчеркнута резкая, яркая индивидуальность Казанцева, его «непохожесть», «непривычность». Критика часто упрекает Василия Казанцева в том, что он слишком «прячет» свои переживания, созерцателен, что поэзия его «безлюдна» и в ней «слишком много природы». Однако нельзя сказать, что Казанцева критика не замечает. В последнее время нет статьи или обзора, где не упоминалось бы его имя, где не говорилось бы о мастерстве, высокой культуре его традиционного стиха. Все верно, все так. Вот только — «скрытый». Что же он скрывает?

Основания для этого упрека поэт как будто бы и сам дает: «терзаясь скрытным правом», «своей души тенелюбивой не выставлял я напоказ», «и я бы волю чувству дать сумел со щедростью завидной... да только почему-то стыдно», «откройся ж смелее!.. Но — сжмается слово...» Таких автопризнаний много в стихах.

Другое дело, что нас ведь мало интересует, каков характер поэта на житейском, так сказать, уровне, скрытен он или «душа нараспашку», — на характере поэтического обычно это не сказывается. У Казанцева — сказывается. И дело не только в его индивидуальности. «Скрытность», замкнутость — черта родовая. Василий Казанцев — коренной сибиряк. Немногословие, сдержанность, нелюбовь к выкладыванию всего, что есть на душе, всегда были свойственны сибирякам. И в поэтическом характере Казанцева воплощено мироощущение сибиряка. Душа не должна быть общедоступна, святые слова не произносят всуе. И не о скрытности поэта надо бы говорить, а о силе и целомудренной сдержанности души. Есть у него прекрасные стихи об упавшем дереве, которое еще живо, еще трепещет: «...высокая душа у самых ног моих лежала, *доступностью* своей *страшна*».

Сдержанность — это и мотив, и элемент поэтики. Сквозь классическую уравновешенность прорывается страстное, хотя и *неназванное* чувство: «Нет, нет, не мыслил никогда родным, не называл желанною отрадой отлогий холм над полем травяным, безмолвьем обнесенный, как оградой... Не умилаясь, не благо-

Скоро все улетим в небеса
и увидим, что это такое...

Только знаю: потянет на Русь!
Так потянет, что я поневоле
разрыдаюсь, когда опущусь
на свое вологодское поле...

Все стихи про земную красу
соберу и возьму их под мышку
и в издательство их отнесу —
пусть они напечатают книжку!

12 августа 1962 г.

вел. Не слал привет берез его сиянью. Невидяще в ту сторону глядел. Неслышаще внимал его молчанью».

На рубеже сдержанности и порыва раскрывается отношение поэта к природе. Казанцев и здесь — сибиряк. В конце концов, до сих пор в Сибири природы «больше», чем где бы то ни было, не потому ли так много ее в его стихах?.. Однако дело не в самом ее количестве.

Всякий настоящий поэт хоть чуть-чуть, а опережает время. Так случилось и с Казанцевым. Прекрасна строка: «счастливая ладонь смеется, касаясь колоса...» И — привычна, здесь хорошо высказано уже *знакомое* чувство. А вот иные стихи: «Это не наскучит никогда — плавная неправильность сугроба, ровная законченность плода. По земле идущая дорога. По песку бегущая вода». Не сразу заметно, что в эту природную, нерукотворную картину включен и человек, его деяние: «по земле идущая дорога». Природа и человек здесь явлены в неразделимом единстве, в естественной гармонии: без дороги картина природы была бы для Казанцева неполной.

Вот эта органическая вписанность человека в природу для нашей поэзии — непривычна. А Казанцев с первых шагов своего творчества рассматривает природу и человека в нераздельном единстве. Не созерцающего человека — деятельного, активного, работника. Это — плоть его поэзии, стержень мироощущения.

Мы сейчас много говорим об экологии, хвалим стихи о «борьбе за природу», ищем экологическое сознание в поэзии публицистической. И не замечаем, что в стихах Казанцева воплощено гуманистическое экологическое сознание. Гармоничность его стихов напрасно связывают только с поэтикой, а не с поэзией.

Для суждения о поэзии Казанцева привычная точка отсчета: «лирическое переживание одухотворяет пейзаж» — не годится. В его поэзии природа одухотворена как бы изначально, в тютчевской традиции: в ней есть и душа, и язык, и любовь... Задача поэта — раскрыть высокую духовность, воплотить тот *миг*, в который природа ее являет. Миг, совпадающий (отсюда и гармоничность, и напряженность, и драматизм) с чувством, мыслью самого поэта.

Однако раскрыть душу природы, за немотой услышать ее речь вовсе не то же самое, что наделить ее *своим* языком, *своим* настроением, поставив себя в центр мира и расположив природу «вокруг», внося в ее хаос свою, стихотворную, гармонию. Все эти настроения и построения чужды Казанцеву. Он находит совсем иные соответствия: «В том, как стелется по ветру рожь, как течет, белизной отливая, ты примолкший, ищи — и найдешь, чем душа твоя грезит живая»... «В том, как птица над полем кружит, как кричит, — ты уловишь, немая, црощь, которою сердце дрожит, слов святых своих выдать не смея». Это — «мир души в образах природы», явление и для нашей богатейшей русской литературы не столь уж частое и распространенное. Не случайно я определяю мир лирики Казанцева словами, которые М. Пришвин сказал о себе.

Мир души человека, по Казанцеву, запечатлевается, как бы отпечатывается в природе. У него есть стихи о влюбленном, который, не смея признаться девушке, нес свои страдания кустам, деревьям, травам: «безмолвно я бродил, но был прекрасно понят». А когда сам влюбленный забыл о пережитом, оказалось, что

травы-то все запомнили, и уже они рассказывают ему о его же страданиях...

Основы такого взгляда на природу складываются с детства, это традиционное крестьянское мироощущение. Ведь крестьянин не боролся с природой — он с ней взаимодействовал, уважая ее законы, веками создавая приемы такого взаимодействия.

Из глубин народного мироощущения и удивительно естественное отношение Казанцева к проблеме смерти и бессмертия. Человек — звено непрерываемой цепи. «Стал тихой песней ветровой, звездой в лучах заката, косым дождем, тропой, травой — всем тем, чем был когда-то». Это из стихов о человеке, который «был просто из народа». Вот эта кровная связь с Россией, с народом живет в стихах Казанцева, и в последних своих стихах он ощущает ее глубже, чем когда-либо. Именно она дает веру в свои силы: «Я сплю. А времени река нацеленно течет. И за меня — высокий бор. И ясный холод дня. И за меня лугов простор. И горы — за меня!»

ИЗАБЕЛЛА СОЛОВЬЕВА

Василий Казанцев

* * *

Рассказ суровый о войне.
О чести. Верности. Коварстве.
В другом краю. В другой стране.
В чужом каком-то государстве.

Но что творится в фильме том,
Понять почти что невозможно.
Ужель и вправду все кругом
Так в мире этом стало сложно?

Иль это автор накрутил,
Чураясь ясности заветной,
И четко грань не прочертил
Меж силой темною и светлой?

Спят — бегут... Лицом — к лицу!
Сейчас... сойдутся в рукопашной!
И жарко льнет малыш к отцу:
— А наши... Наши где? Где — наши!

* * *

И тот, кто крутится и лжет,
И сколько прячет взгляд лукавый,
И подло, мерзостно живет, —
Желает тоже доброй славы.

И — в жажде ревностной своей —
Пути все круче пролагает.
И, что ни день, все ближе к ней.
И — все верней. И — достигает!

Она поет, звенит. Гремит.
Но... тайным холодом сжимая,
Бесстрастный голос говорит:
Она — подложная. Чужая.

И он мечтал — не о такой...
Душа подспудная стремится
К глубинной. Истинной. Родной!
Своей? Так он ее страшится...

ВОСЕМЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

* * *

По безбрежному миру шатаешься.
Невзначай остановишься:
— Друг!
Повторяешься ты, повторяешься... —
Миру древнему кинешь ты вдруг.

Улыбнется — спокоен, уверен.
Будто солнце блеснет с высоты.
— Я безбрежен, мой друг, и безмерен.
И един. Повторяешься — ты.

В ДЕТСТВЕ

Казалось, не так все было.
Не так светилося окно.
И в речке не так рябило
Песчано-волнистое дно.

И рыба не так плескалась.
И брезжил не так сосняк...
А почему — казалось?
Ведь все и было — не так.

* * *

Он встал считай что из могилы.
Из-за безвыходной черты.
И говорят ему:
— Мой милый,
Какой-то слишком светлый ты.

Тебе бы хмуриться, томиться —
Искать, утешиться бы чем.
И убиваться бы, и тмиться...
— А поднимался я — зачем?

* * *

Торопились. Стремилась. Летели.
Сквозь превратности трудных годин.
— Кто ж добился загаданной цели?
— Кто — добился? Лишь этот один.

Не терзался душевным разладом.
Не растрчивал попусту слов.
— Посмотри продолжительным взглядом.
Как он хмур. И угрюм. И суров.

* * *

— А есть ли где на свете белом —
Не уклоняйся, дай ответ —
Душа, какой бы ты всецело
Доверился?
— Пожалуй... нет!

Сказал — и сладко опахнуло
Высокомерною тоской.
И в сердце — холодом дохнуло.
Как будто предал род людской.

* * *

Великое — непостижимо.
И равносильно пустоте.
Бесцветно-редкой тенью дыма
В земной таится пестроте.

Не насыщает. И не греет.
И содержанья своего
И очертанья не имеет.
...В глаза глядит из ничего.

* * *

Дни просторны. И помыслы строги.
И живу я в согласье с людьми.
А взгляну на калеку в дороге —
И смешаются мысли мои.

И сожмется душа воровато.
Задохнется от жаркой волны.
И очнется в душе виноватой
Что-то горше стыда и вины.

* * *

Как листьев шум над головой,
Сквозяще-влажный, долгий, легкий, —
Ко мне летящий голос твой.
Навечно близкий. И далекий.

Часы и годы — напролет —
Он сердце мне и жжет и студит.
И все поет. Зовет. И ждет
Того, чего уже не будет.

ПРОЛОГ

В чистом поле девица спала
На траве соловьиного звона.
Грозна молния с неба сошла
И ударила в темное лоно.
Налилась безответная плоть,
И набухли прекрасные груди.
Тяжела твоя милость, господь!
Что подумают добрые люди?
Каждый шорох она стерегла,
Хоронясь за родные овины.
На закате она родила
Потаенного сына равнины.
Остудила вечерней росой,
Отряхая с куста понемногу.
Спеленала тяжелой косой
И пошла на большую дорогу.
Не срывался с болота кулик,
Не спускалось на родину небо,
Повстречался ей певчий старик.
— Что поешь? — и дала ему хлеба.
Он сказал: — Это посох поет,
Полый посох, от буйного ветра.
Инь гудит по горам хоровод
За четыре окраины света!
А поет он печальный глагол,
Роковую славянскую тайность,
Как посек наше войско монгол,
Только малая горстка осталась.
Сквозь пустые тростинки дыша,
Притаились в реке наши деды.

Хан велел наломать камыша
На неровное ложе победы.
И осталась тростинка одна.
Сквозь одну по цепочке дышали.
Не до всех доходила она
По неполному кругу печали.
С той поры распелась эта весть
В чужеликие земли и дали.
Этот посох, родная, и есть
Та тростинка души и печали.
Схорони в бесконечном холме
Ты свое непосильное чадо.
И сокрой его имя в молве
От чужого рыскающего взгляда.
А не то из любого конца
Растрясут его имя, как грушу.
И драконы земного кольца
Соберутся по милую душу.
То не стая гнездилась сорок,
То безумная мать причитала.
Частым гребнем копала песок,
Волосами следы заметала.
Отняла от груди и креста
Дорогую свою золотинку.
На прощанье в родные уста
Ветровую вложила тростинку.
Пусть тростинка ему запоет
Про дыхание спящего тура,
Про печали Мазурских болот
И воздушных твердынь Порт-Артура...

ВИНА

Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли в этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попроситься,
Мы пришли в этот храм зарыдать.

Потускнели скорбящие лики
И уже ни о ком не скорбят.
Отсырели разящие пики
И уже никого не рязят.

Полон воздух забытой отравы,
Не известной ни миру, ни нам.
Через купол ползучие травы,
Словно слезы, бегут по стенам.

Наплывают бугристым потоком,
Обвиваются выше колен.
Мы забыли о самом высоком
После стольких утрат и измен.

Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир как заброшенный храм.
И текут наши чистые слезы,
И взбегает трава по ногам.

Да! Текут наши детские слезы.
Глухо вторит заброшенный храм.
И взбегают колючие лозы,
Словно пламя, по нашим ногам.

ТАЙНА СЛАВЯН

Буйную голову клонит ко сну.
Что там шумит, нагоняя волну?
Во поле выйду — глубокий покой,
Густо колосья стоят под горой.
Мир не шелохнется. Пусто — и что ж!
Поле задумалось. Клонится рожь.
Тихо прохлада волной обдала.
Без дуновения рожь полегла.

Это она мчится по ржи! Это она!
Всюду шумит. Ничего не слышать.
Над головою небесная рать
Клонит земные хоругви свои,
Клонит во имя добра и любви.
А под ногами темней и темней
Клонится, клонится царство теней.
Клонятся грешные предки мои,
Клонится иго добра и любви.

Это она мчится по ржи! Это она!
Клонится, падает с неба звезда,
Клонит бродягу туда и сюда,
Клонит над книгой невинных детей,
Клонит убийцу над жертвой своей,
Клонит влюбленных на ложе любви,

Клонятся, клонятся годы мои.
Что-то случилось. Привычка прошла.
Без дуновения даль полегла.

Это она мчится по ржи! Это она!
Что там шумит? Это клонится хмель,
Клонится цуля, летящая в цель,
Клонится мать над дитятей родным,
Клонится слава, и время, и дым,
Клонится, клонится свод голубой
Над непокрытой моей головой.
Клонится древо познания в раю.
Яблоко падает в руку мою.

Это она мчится по ржи! Это она!
Пир на весь мир! Наш обычай таков.
Славно мы прожили сорок веков.
Что там шумит за небесной горой?
Это проснулся великий покой.
Что же нам делать?.. Великий покой
Я разгоняю, как тучу, рукой.
Буйную голову клонит ко сну.
Снова шумит, нагоняя волну...
Это она мчится по ржи! Это она!

Алексей Прасолов

1930—1972

«МНЕ ТАК МАЛО НАДО ВНЕШНЕГО...»

(Из переписки с критиком И. Ростовцевой)

«Мир, мир... столько видишь, слышишь, ждешь — затронет что-то в глубине, заставит дрогнуть. И только в отдельные минуты, закрыв глаза, удастся вызвать из внутренней глубины этот же мир, но в его ином смягченном, осмысленном освещении — и тогда душа чувствует свое, и ей тепло в этом мире, и боишься за это тепло».

3/V—1965 г.

«Быть может, я покажусь «жестоким», но я рад, что условия заставляют тебя все время выходить на люди, идти то к детям, то к студентам, то к рабочим женщинам, у которых такие грустные, озабоченные своим житейским глаза. Впитывай все, все до деталей и не забывай: перед людьми в тебе идет скорей процесс формирования, определения самой себя, и может быть, — самоутверждения. Ведь у нас не воздушные корни, и кроме солнца и благодатного дождя с неба нам нужна черная, держащая нас земля.

Будешь жить только ею — станешь кротом, будешь глядеть только в небо — останешься существом, ждущим полета и неспособным взлететь.

Впрочем, я говорю это, не прикладывая сию формулу лично к тебе, как мерку. Это во многом — от собственного, испытанного».

7/IV—1963 г.

«Как много надо знать для того, чтобы каждая деталь была реальной! Знать из жизни — в первую очередь. Недавно осаждал Вас. Ив. вопросами о Германии — о провинции Тюрингия! Что она из себя представляет, каков характер хов-ства, какие сорта пшеницы там культивируются и т. д. А все это было нужно, чтобы найти две-три строки ¹.

¹ Замечание высказано в связи с небольшой поэмой «Колос», впоследствии названной «Россия», над которой Прасолов рабтал в это время. Поэма осталась неопубликованной.

Что ни говори, но надо всегда иметь возле себя бывалых людей».

27/X—1962 г.

* * *

«Вчера была встреча с Героем Советского Союза П. М. Гавриловым. Защитник Бреста. В фильме «Бессмертный гарнизон» он — Батурич. Накануне ночью я написал стихи. Три, объединенные одним. Посвящены, прочитаны на вечере и вручены ему, приведу их...»

16/XII—1963 г.

1

Стучат часы.

Здесь полоса сквозная
Неверной пограничной тишины.
Солдаты спят.

Никто еще не знает,
Что пять минут осталось до войны...

Бинокль немецкий озирает крепость.
Душа чужая из чужой страны,
Тебе ль понять, что современный эпос
Уже гудит в зубцах ее стены.

И этот флаг, струящийся над нею,
Предчувствуя трагический рассвет,
Простреленный насквозь —
не побледнеет:
Как кровь бойца, он не меняет цвет.

2

Уж прозелень пошла по гильзе медной.
В глухом подвале пусто и черно.
Давно испит глоток воды последний,
И хлебный вкус забыт уже давно.

Последний выстрел дан.

Теперь он безоружен.
И кожу обтянутый скелет
И русскую загадочную душу
Чужие руки вынесли на свет.

Глядят враги, сомкнувшись полукругом:
В бинтах засохших, в комоти, в пыли,
Он поднялся

глубинным грозным духом
Самой земли, куда они пришли.

И всею силой стойкости и веры
Вернул он что-то человечье им,
Когда солдаты вслед за офицером
В молчанье каски сняли перед ним.

3

Гнездятся птицы в опаленных башнях.
Остановись, прислушайся на миг:
Взывает ветер голосами павших
И в переключке — голоса живых.

Они идут и поднимают камень,
Сметают сор и въедливую пыль —
И шелк знаменный вспыхнул под руками —
Живая окровавленная быть...

С нее слепую ржавчину сдирали
И обнажали истину свою, —
И этот подвиг был едва ль не равен
Тому, который совершен в бою.

15/XII—1963 г.

«Мне страшно хочется — и давно — увидеть нечто вроде литературного обозрения, широкого обозрения нашей поэзии, как это делал Белинский. И еще — крепкого, живого русского слова с искренним чувством. Помнишь, у Белинского о «Думе» Лермонтова: и кто же не услышит в ней своего стога, своего крика...»

Теперь зачастую и о живом стихе стараются говорить по-профессорски, без обнажения чувства. А ведь его никто никогда не запрещал. Все это говорю после прочтения некоторых статей Ермилова и других и не прими в свой адрес».

7/IV—1963 г.

«На той неделе получил письмо и Тютчева(!)... Ношусь с Тютчевым. Встреча со знакомыми, близкими книгами все равно что встреча с людьми после долгой разлуки: каждый раз они чем-то не те. Это, конечно, зависит не от них, а от тебя самого — живешь, меняешься.»

Неожиданное, своеобразное, странное явление в нашей поэзии — Тютчев. В пору, когда Пушкин еще дышал юношеской наивностью, человек, родившийся на 4 года позже Пушкина, писал стихи, которые можно отнести не к 30-м годам, а к концу XIX столетия — к эпохе Блока. Иные стихи кажутся анахронизмом. В самом деле: «О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, о как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!»

Да, без квасного патриотизма скажу: ни у кого из других поэтов Земли нет такой близости к самому глубинному в человеке, как у русских. И порой надо слить воедино нескольких поэтов, чтобы получился органически цельный наш. Мне это не кажется, а — мной чувствуется».

29/1—1963 г.

«О сверхзвездах читал подробно. Думал. Нужно схватывать не сами эти явления, а то — что они рождают в нас. А втиснуть их для эффекта проще всего. В нас же они рождают нужное не с той быстротой, с какой являются перед нами, мы рождаемся под старыми звездами, ты права...»

18/XII—1964 г.

«О своем определении в поэзии. Одно время (и время долгое) у меня было больше аналитических подходов к своему становлению, чем стихов. Вывод один — становление в самой работе. Теоретически не определишься. Основное чувствую давно: легкие стихи с улыбкой, с обилием света — не мои. Мне уж если луч — так оттененный тьмой, если улыбка — так после какой-то суровой борьбы, после боли. Тогда она дороже. Это не от «теоретического» становления. Это моя натура. Другое дело — форма выражения этого. Ох и трудное дело.

В последнее время сверлит мысль: берешь классиков, они говорят о своем, не в общегражданском духе. Они имели право говорить о личном. У нас — обязательно сразу же «общественная» окраска, давай то, что есть во всесоюзном масштабе. Отсюда — фальшь и убийство живого чувства. Если туча идет, так в ней что-то социальное должно сквозить или пусть она будет только как пейзаж. Отсюда тяжеловесные гражданские и легонькие натурки загородного типа.

Нет, надо высказывать свое большое и меньше оглядываться на гримасы тех, кто к «иному звуку не привык».

18/XII—1962 г.

«Мне так мало надо внешнего. Я ненавижу, когда его много и за ним — ничего. Это уводило меня отовсюду, уводило со всеми последствиями.

И день и мир как он есть — это не то, что я должен брать и вносить в стихи. Нужно обострение внутреннего видения».

18/II—1965 г.

«Писать пока не пишу, но думать об очередном думаю. И твои слова о недостатках сделанного для меня сегодня не какая-либо неожиданность, а закономерность.

Всякий успех идет с издержками, часто с такими, которых я бы легко избежал, если бы писал прежде, по-прежнему. Я тебе (письма четыре назад) говорил: пересмотрел последние стихи и увидел, что их нужно подогнать один к другому. Имел в виду то, что повторяемость понятий и слов, один и тот же подход — не делают их едиными, а вносят однообразие, похожесть. Словарь слишком сужен, при написании новых стихов я чувствовал его обручи резко.

Потребовалась остановка. Я цветным не буду... Я сознательно ухожу от внешне ярких образов. Они не та форма для моего внутреннего. Мой — строгий, суровый, без излишеств. Моя задача теперь: на найденном пути не допускать излишества цвета, света и тени, но — бедным не быть. Над этим я и думаю. А думать — уже делать...

Чувствую тягу к чему-то не отрешенному от людей (а эта «отрешенность мыслителя» заметна во многих написанных стихах)...

Многое уже пожелтело в моих глазах. Хочется — живого, раскованного. Потому нужно жить так же».

5/IV—1965 г.

«Ты помнишь слова Гоголя: и стало видно вдруг далеко во все концы света. Было то же самое. Я сидел один.

Передо мной была Русь — та, которая тебе не видна и которую я тебе не раз покажу еще.

Представь немного. Широко раздвинут окоем, и беспокойно, туманно вдали и ярко вблизи подступает — даль, беспокойная оттого, что всю ее всхолмило, и ровная оттого, что слишком пластично умеет русская даль сводить все свои холмы в ровную линию горизонта. А там... а там за горизонтом — такой же горизонт...»

3/V—1966 г.

РАБОТА МЫСЛИ

Углубляя наши представления о подлинных художниках слова серьезным, вдумчивым, основательным знакомством не только с их творениями, но и с документами — с эпистолярным, критическим, эссеистским наследием, мы все более и более убеждаемся в той простой истине, что настоящий поэт никогда не бывает «птичкой божей» — он может объяснить, как он создает свою поэзию и что он думает о ней...

Мысль Поля Валери о том, что в конце концов каждый поэт будет оцениваться по тому, какой сидел в нем собственный критик, не кажется сегодня столь уж парадоксальной, а находит себе подтверждение в самых различных, непохожих, далеко отстоящих друг от друга творческих судьбах.

Алексей Прасолов не представляет в этом смысле исключения. Он, быть может, даже более других здесь показателен, ибо в силу сложившихся жизненных обстоятельств — в жесткие сроки — должен был и определиться как поэт (это случилось на 33-м году жизни, когда Прасолов, по собственному признанию, «стал писать по-новому, то есть по-старому, как писали до меня... стал писать о том, что думаю и чувствую...»), и выработать собственное отношение к классической и современной поэзии, писать и учиться одновременно, становиться в деле и осмыслять содеянное...

«Мыслить — значит уже делать», — настойчиво утверждал он. Именно в качестве поэта мысли он получает признание и у современного читателя.

...Многие отобраны те фрагменты из писем Прасолова ко мне, которые — в какой-то мере — приобщат читателя к процессу рождения мысли, или, как более

скромно называл это сам автор, — работе мысли, покажут различные грани этой работы: краткий комментарий к посылаемому стихотворению и «зерном падучим» (Е. Боратынский) оброненная догадка о зарождающемся замысле, замечание «на полях» о только что прочитанной книге или журнале и раздумье о состоянии современной поэзии и критики.

Письма Прасолова — редчайшая возможность войти в его творческий мир, увидеть, как органично в нем уживался поэт с критиком.

...Сто с лишним лет тому назад земляк Алексея Прасолова, воронежец Иван Никитин в письме к Аполлону Майкову между прочим признался, какое огромное впечатление произвел на него совет старшего и глубокоуважаемого собрата по перу: старайтесь выработать в себе внутреннего человека. Никитин писал: «Никогда никакое слово так меня не поражало! До сих пор, когда я готов поскользнуться, перед моими глазами, где бы я ни был, невидимая рука пишет эти огненные буквы: постарайтесь выработать в себе *внутреннего человека*».

Прасолов уже не только «знает» этот совет, но и — в полной мере — живет по нему. Не случайно «внутренний», «внутреннее» — столь частое и любимое слово в его письмах, он говорит о внутреннем и внешнем образе, о внутреннем и внешнем мире, о внутреннем в жизни и в любви... А сами письма — еще одно неопровержимое доказательство того, как неразрывно связано рождение мысли с рождением внутреннего человека.

Публикация и послесловие Инны Ростовцевой

ИЗ ПИСЬМА ВИКТОРА АСТАФЬЕВА КРИТИКУ АНАТОЛИЮ АБРАМОВУ

Алексей Прасолов. Его стихи поразили меня с первого раза своей глубиной. Но о «глубине» я к той поре уже слышался в досталь, только что окончил Высшие лит. курсы, пошатался по комнатам литинститута, да и в книгах, как тех лет, так и нынешних, почти как пропуск в предисловии слово «глубина», но никогда не пишут слова — «неотгаданная».

Я думаю, и Лермонтов, но прежде всего «всем доступный» Есенин как раз и притягивают, до стона и слез волнуют тем, что дотрагиваются в нас до того, что ныло, болело, светилось внутри нас и что ноет, болит и светится внутри нас, и дано им было каким-то наитием, каким-то неведомым чувством коснуться того, что именуется высоко и справедливо — «волшебством поэзии», и только ей да еще музыке и дано растреможить в нас самим нам непонятное и никем еще не понятное и необъясненное (слава богу) чувство, в котором тоска по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, мечты о всепрощении, желание любви и братства, и еще, и еще что-то как бы приближаются к тебе, делаются осязаемыми — недаром от музыки и поэзии плачут, это плачут люди о себе, о лучшем себе, о том, который задуман природой и в чем-то осуществлен даже, но самим собою подавлен, самим собою побужден ко злу и малодоступен добру.

Василий Белов

Все знают Василия Белова как одного из талантливейших наших прозаиков. Но мало кому известно, что он начинал как поэт. Двадцать лет назад Василий Белов работал над поэмой «Белая кровь»; публикуемый здесь фрагмент позднее лег в основу известного рассказа «Холмы». Но поэтическое воплощение одного из наиболее дорогих писателю творческих мотивов представляет, без сомнения, самостоятельный интерес.

Редколлегия

НА РОДИНЕ

(Отрывок из поэмы «Белая кровь»)

Обогнула зеленый холм
Голубая подкова озера,
Под разлапистым лопухом
Чечевица помета козьего.
Нет, я этого не забыл,
Что в какой-то детской обиде
Всю округу я так любил,
Только этот холм ненавидел.
Гнутся ивовые кусты,
И в черемуховой метели
Эти реденькие кресты
Хмелем времени захмелели.
Но ограда — крестам не в масть,
Целят столбики в небо метко,
Сельсоветская, значит, власть
Раскошелилась и для предков.
Знать, весной, не без лишних слов,
За сговоренную награду
Флегматический рыболов
Вечерами тесал ограду.
И достойным венцом труда
(Сверх бюджета была работа)
На зеленом холме тогда
Встали крашенные ворота.
Вымах арочный прям и крут,
Гладко выстроган, сложен крепко.
Ах, какие теперь растут
Лопухи прямиком из предков!
Всюду тлеет тишина,
Ветер стелется, зной струится.
А небесная вышина
Как изменчивая девица.

То придвинется — вся ясна,
То опять отстранится в небыль.
Мне такую бы зыбкость сна,
Беспорядочность эту мне бы!
Не звенела б моя душа
Ни единой больною стрункой,
Я, забылины б вороша,
Тем погостом прошел как улкой
И не вспомнил б наверняка,
Что в моей родословной исстари
Ни единого мужика
Не пристало вот к этой пристани;
Что мой прадед, отец и дед,
Словно этим холмом гнушась,
Появлялись на белый свет —
В землю эту не возвращались.
Незадачливые мужья,
Удалые, в солдатском рвении,
От граблевища до ружья
Не считали они мгновений.
Шли кого-то там выручать,
Отбояривались, не ждали,
Успевали сынов зачать,
Остальное не успевали.
И, отдавшись на божий суд
Иль на суд человеческий краткий,
Одинокие даже тут,
Затихали мои прабабки.
...Виснет облако надо мной,
На окраинах — позолота.
Холм над озером. Горечь. Зной.
И окрашенные ворота...

Станислав Куняев

* * *

Фотографий внимательный ряд
я повесил на стенку в квартире,—
пусть они иногда говорят
мне о чем-то неведомом в мире.

— Что любовь? Это страх пустоты! —
оглушительно или безмолвно
вдруг услышу, взглядевшись в черты
всех любимых душевно и кровно.

* * *

Соседа история не обошла.
Оң ею на славу испытан.
Сперва вознесла, а потом обожгла.
Воспитан и перевоспитан.
Он делал карьеру, преследовал зло.
Он падал,
 страдал,
 оступался.

Сейчас удивляется: как повезло!
Случайно в живых оказался.
Порой в разговоре я искренне рад
довериться ранним седидам...
Да только нет-нет в нем и выглянет раб,
который не стал господином.

1962

* * *

Ворона в пустоту небес
взлетела с почерневшей слезы,
а значит, и река и лес
задумались о первом снеге.

Последних пара лебедей
над тусклым шлесом, над обрывом
на юг — от затяжных дождей —
уходит с гоготом счастливым.

В такие дни понять пора,
что рассветает слишком поздно,
недаром совесть до утра
всю жизнь перелистала грозно.

А что я ей скажу в ответ?
Она — моя, так пусть смирится!
Она моя... А если нет,
то — чья?.. Скорее бы рассвет
настал, чтоб жизнью оградиться.

* * *

То ли ненцы, то ли вепсы,
то ль какой другой народ,
то ли северные ветры
взяли всех в круговорот.
— Я по крови и по духу
ваш — глядите, до сих пор
и приклад ложится в руку,
и лопата, и топор! —
Но они в ответ бесстрастно
щурят щелочки-глаза:
— Не выпытывай напрасно,
лучше слушай голоса.
Слышишь, как поземка свищет,
как трещит в протоках лед,
как собаки зверя ищут,
как метель в трубе поет!
Как поскрипывают сани,
как похрустывает наст...
Кто мы и откуда сами —
ты не спрашивай у нас!

Владимир Лакшин

ТВАРДОВСКИЙ И МАРШАК

(Из воспоминаний)

В дружбе Твардовский был надежен. И его отношения с Маршаком, как и с Исаковским, Аркадием Кулешовым или Соколовым-Микитовым, составляли нечто трогательно постоянное. Но, в отличие от многих людей, которые не любят делиться своими друзьями, Твардовский охотно соединял, связывал, сближал людей ему не посторонних. Узнав, что я пришелся Маршаку ко двору, он не раз уговаривал меня побывать в доме у Земляного вала вдвоем.

Тому несколько было причин: в компании веселее, да к тому же, «если пойду один, он замучит чтением стихов и поужинать забудет дать, а так мы вроде гости...», с обычным своим юмором объяснял Твардовский.

Любопытно было наблюдать их рядом — такими разными они были, с разными привычками, традициями, опытом жизни. Сдержанный, неторопливый, редко открывавшийся на людях Твардовский, и весь кипевший нетерпением, жаждавший немедленного самовыявления Маршак. Но они оказывались неизменно близки, едва дело касалось понятий, каких оба держались в литературе.

Твардовский рассказывал, что вскоре после опубликования «Страны Муравии» где-то у вешалки в Доме Союзов его окликнул незнакомый человек в шубе и меховой шапке: «Неужели вы Твардовский?» А когда молодой, смущающийся поэт это подтвердил, Маршак, едва представившись, заключил его в свои объятия. Это была поистине счастливая встреча.

Маршак с его невероятными познаниями и живой памятью в разных областях культуры оказался для молодого поэта целым университетом на дому, соперничавшим по влиятельности с ИФЛИ, где Твардовский заканчивал свое литературное образование. В отношении советов, касавшихся литературы, Твардовский прислушивался к Маршаку более чем к кому-либо. Маршак в пух и прах разнес те стихи для детей, которые Твардовский писал еще в Смоленске: он имел неосторожность предложить их вниманию старшего мастера как бы по чеховой принадлежности в одну из первых же встреч. Александр Трифонович долго вспоминал беспощадно честный отзыв Маршака и его слова, что писать для детей снисходительно, как бы между делом, это все равно что посещать церковь и не молиться.

Даже в стихах Твардовского слышны отголоски литературных разговоров с Маршаком:

...Как говорит старик Маршак:
«Голубчик, мало тяги».

Разница в возрасте между ними, казавшаяся огромной в молодые годы Твардовского, постепенно стиралась, и на моей памяти они были как бы на равных. Сохраняя уважительную дистанцию, Твардовский звал Маршака на «ты», но «Самуил Яковлевич», а тот его — «Саша», при посторонних чаще «Александр Трифонович».

В последние десятилетия Твардовский был неизменным участником всех юбилейных комиссий, заседаний и чествований Маршака. В своих выступлениях на писательских собраниях и съездах он ставил Маршака в образец как мастера и труженика стиха, написал о нем блистательную статью. И по праву дружбы, в которой уже невозможно усомниться, разрешал себе подтрунивать над его чудачествами.

Александр Трифонович комически возмущался, когда Маршак вел себя по отношению к нему слишком деспотически, требовал, скажем, неукоснительного посещения себя.

«Знаешь, Саша, я ведь в Ялту еду, а там знакомых людей нет... пустыня... поговорить не с кем будет. Приезжай. Вот ведь к Чехову в Ялту весь Художественный театр ездил, — жалобно сетовал Маршак. «Да ведь я не Художественный театр», — отбивался Александр Трифонович.

Ложась в больницу или санаторий, Маршак тут же звонил Твардовскому, вызывал его к себе. «И сказал бы по-человечески, — ворчал незлобиво Александр Трифонович, — мне в больнице скучно, приходи», я бы и поехал. А то: «Приходи, у меня много мыслей, надо поделиться». Да мыслей-то у меня у самого до черта, не знаю, как их к делу приложить», — усмеялся Твардовский.

Заметно было, что в упрямстве Маршака было что-то, что и раздражало его, и импонировало ему, как «характерность» незаурядного человека.

«Уговорите его дать в «Новый мир» статью о молодых поэтах, — говорил мне Твардовский. — Натерпите с ним, но лучше-то вам никто не напишет. По поводу каждой запятой

будет, правда, по шесть раз на дню звонить — и все же по-своему заставит сделать. Скажет: «А почему каждая главка не с новой страницы? Вам что, для меня бумаги жалко? Для сочинений Б. и Г. экономите? И потом — почему у вас в редакции так некультурно распоряжаются шрифтами? — постепенно «входил в образ» Твардовский. — Что это? Шекспир набрано крупно, а внизу петитом, даже и не прочесть: «В переводах Маршака». Передайте вашему малограмотному техреду, что испокон веку печатается сверху страницы крупно: МАРШАК, а внизу помельче: «Переводы из Шекспира».

Начав в веселую минуту показывать Маршака, Твардовский не мог остановиться — Самуил Яковлевич был любимый герой его добродушных пародий.

— Он решил, что в «Новом мире» мы должны печатать его как в Детиздате... А ведь там что ни строчка, то целая страница с картинкой. Печатают, например, под рисунком: «Дуйте, дуйте» (и уже надо листать страницу), «Ветры в поле» (еще страница), «Чтобы мельницы» (опять страница), «Мололи...» (снова страница). А он еще недоволен: «Отчего так тесно? Дайте больше воздуха под рисунком: «Дуй-» (страница), «-те» (страница), «Дуй-» (страница), «-те» (страница)...»

Но, переходя с дружеской шутки на серьезный лад, Твардовский восхищался теми же строчками, как образцом содержательной звукописи: вслушайтесь, будто четыре взмаха крыльев ветряной мельницы!

Маршак в свою очередь отвечал Твардовскому нежнейшей привязанностью, но когда, случалось, нарывался на его резкое, раздраженное слово, по-детски обижался и начинал жаловаться: «Черствеет наш Трифонович... А ведь это опасно для поэта. Он же по природе такой нежной души человек — это у него от матери. А вчера... он был больше похож на отца». Я пытался заступиться и за отца и за сына, говорил, что это пустое недоразумение, вызванное задержанностью, усталостью Александра Трифоновича, Маршак меня не слышал. А на другой день Твардовский сетовал: «Замучил меня наш Маршачок: иди да иди к нему, стихи, мол, почитаем. Будто мне есть когда. Целый день вчера шли ко мне на прием по депутатским делам, и, как нарочно, все по квартирному вопросу, словно это я здесь квартиры раздаю. Да и шли какие-то всё несчастные — калечные, хромые, косоглазые... До стихов ли тут?» Но быстро менял гнев на милость и набирал номер телефона: «Ты меня слышишь, Самуил Яковлевич? Прости, если ненароком вчера тебя обидел... Худой мир лучше доброй ссоры... Ну, конечно, приеду...»

«Да, Саша, да... Я не держу на сердце, — вздыхал в трубку Маршак. — Только уж ты не откладывай, приезжай непременно сегодня».

Твардовский, бывало, вспоминал по разным поводам пушкинские строчки:

Схватив соседа за полу,
Душу трагедией в углу.

«Маршак любит душить стихами поодиночке, — предупреждал Твардовский. — Он вам звонил? На когда назначил? На завтра? Ну вот! А меня сегодня просил прийти. А мы его перехитрим и явимся вместе».

Я отказывался, опасаясь быть лишним в их беседе с глазу на глаз, но Твардовский настаивал, и случалось, мы являлись в дом на улице Чкалова вдвоем. Маршак встречал нас разочарованно и только из вежливости не говорил — зачем не порознь? А Твардовский хитро прищуривался и, разминая в руках сигарету, бросал в сторону мгновенный лукавый взгляд. «Мы только что из редакции... Владимир Яковлевич даже перекусить не успел». Маршак кивал сочувственно и как будто не слышал. «Садитесь, отдохайте, я тут кое-что новое написал...» — говорил он, пока мы рассаживались в старых кожаных креслах или на диване сбоку от его рабочего стола. После первых расспросов о здоровье, о том о сем, Маршак доставал свои листочки и располагался читать.

«Нет, нет, Самуил Яковлевич, — опережал его Твардовский. — Я прочел у античного лирика: прежде чем приглашать меня слушать твои стихи, умасти нас благовониями и напои фалернским вином».

«Да, да, — соглашался Маршак... — А ты уверен, Александр Трифонович, что... нужно вино?»

«Мне нет, но вот Владимир Яковлевич, — замечал к моему смущению Твардовский, — предпочитает придерживаться античного образца. То, что у тебя не найдется благовоний, он как-нибудь тебе простит, а вот что касается «горечи фалерна»...»

Я пытался возразить, но Маршак уже нажимал кнопку звонка, вызывая свою домоправительницу — Розалию Ивановну. И в кабинет вскоре въезжал столик на колесах, на котором были искусно сервированы помидоры, яйца, зелень, колбаса и все прочее, что не могло помешать оживленной дружеской беседе.

Наступал наконец момент, когда Маршак считал возможным приступить к чтению. Заметно волнуясь, он перебирал листочки, подносил их к самым глазам и одно за другим читал свои новые четверостишия и восьмистишия, названные им потом «лирическими эпиграммами».

Твардовский слушал молча, внимательно.

Когда Маршак делал паузу перед следующим стихотворением, неторопливо затягивался сигаретой, говорил: «Так. Еще». Иногда делал короткие, быстрые замечания.

Вот Маршак читает:

Без музыки не может жить Парнас.
Но музыка в твоём стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар в разложившемся варенье.

«Разложившемся» — пехорошо, — замечает Твардовский. — Варенье засахаривается, твердеет, а не разлагается.

«Да, да, Саша, — соглашается Маршак, — пожалуй, ты прав. К тому же словечко скользкое: «разложившиеся элементы», уводит ассоциацию... А что, если так: «Как сахар прошлогоднего варенья?»»

Твардовский кивает, и Маршак берет в руки следующий листок.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден.
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, созная жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность
И целый мир принадлежит ему.

«Хорошо, — говорит после паузы Твардовский. — Я бы только одно словечко заменил». — «Какое?» — «Целый...» «И целый мир принадлежит ему». Лучше: «И этот мир принадлежит ему».

Маршак читает следующую «эпиграмму»:

Как вежлив ты в покое и тепле,
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в хвосте у модной лавки.

Твардовский морщится: «Самуил Яковлевич, помилуй бог, какие сейчас модные лавки? Это что-то из Грибоедова или Крылова». Маршак сопротивляется: «Нет, Саша, нет... Значит, до тебя не дошло...» — «Как знаешь... — кротко вздыхает Твардовский. — А что, если последнюю строчку так: «Или в толпе у керосинной лавки?»»

И Маршак безропотно: «Да, да, пожалуй,

так лучше... Прочти теперь ты, как получилось», и он передает листок с выправленным четверостишием Твардовскому...

Похвалы Твардовского после конца чтения немногословны, скромны, но весомы. Похоже, что Самуилу Яковлевичу их не хватило, но все же он доволен.

От Маршака не раз мы возвращались вместе. Я провожал Твардовского Яузским бульваром до Котельников, где он жил, и по дороге Александр Трифонович говорил:

«А все же он — единственный в своем роде! Сколько людей притворяются, что им нужна литература, поэзия. А Маршак литературой живет, ничего другого ему на свете не надо... Много раз я уговаривал его купить дачу, и сам он стонет, что задыхается, особенно летом — за стеклами-то Садовое кольцо... Но дачи нет и не будет. Он жалуется, что не знает, где ее купить, как это делается и тому подобное, а на деле боится загородной жизни и с места не стронется. Предпочтет задыхаться от бензиновой вони, глхнуть от шума в центре Москвы. Но здесь телефон, его тормозят, звонят, приходят, мешают, и, поверьте, это ему сладко. На дачу труднее кого-то зазвать, стихи прочесть, мыслями поделиться... Мне на него шофер жаловался: заставляет «Капитанскую дочку» читать... Тот чуть что не плачет...»

Этот рассказ о шофере Маршака я слышу от Александра Трифоновича уже не в первый раз. Наблюдая его муки, Твардовский из гуманности решил даже поощрить криводушие. «А ты скажи, что прочел...» — присоветовал он. «Как же, скажешь ему, — возразил шофер, — а он спросит: «А понравилось ли?» — «А ты скажи, что понравилось». — «А он скажет: «А что именно понравилось?»...» В своей жажде сеять просвещение Маршак никогда не останавливался на полдороге.

Твардовский любил подтрунивать над слабостями Маршака, но никогда не делал это обидно: в его комическом отражении Маршак предстал как бы еще симпатичнее, человечнее, живее.

«Нет, когда его не станет, не раз еще мы его вспомним», — неизменно говорил о Маршаке Твардовский.

Г. Ф. Байдуков

Герой Советского Союза,
генерал-полковник авиации

Как человеку военному, мне, конечно, близка военно-патриотическая тема. Но не особенно доверяю я не нюхавшим пороху молодым поэтам, которые вроде как бы по обязанности отдают дань теме войны, не почувствовав глубоко внутренне эту тему, не подготовившись достаточно душой и сердцем, чтобы со всей поэтической силой выразить свое понимание и отношение к выпавшему нашему народу героическому испытанию. И мне хочется сказать им: пишете лишь о том, что хорошо знаете, что выросло в вас... Знаете сердцем, умом, всем существом своим...

Поэзия — мощное духовное оружие человечества, и это прекрасно подтвердил Твардовский, «Василий Теркин» которого в лице русского солдата, можно сказать, выиграл войну. Поэт нашел этого солдата и сформировал духовно своим — ставшим крылатым — образом близкого и понятного всем и одновременно непобедимого, как античный герой, воина — человека из народа. Широкое, могучее полотно народной жизни с высоким государственным подходом поэта и гражданина дал Александр Трифонович и в своей послевоенной поэме «За далью — даль». Сейчас же я вижу преимущественно небольшие сборники, и все они — как бы одиночные винтовочные выстрелы или короткие очереди, а тяжелые дальнобойные орудия молчат. С точки зрения военного стратега, одной лирикой битву за нового человека, новое общество не выиграть, необходимы крупные эпические произведения, глубокие, социально острые.

Давать же оценку современным поэтам с точки зрения литературного мастерства я не берусь, тем более что даже критике не всегда хватает дальновидности. Как-то в 20-х годах Михаил Васильевич Фрунзе выступал в Большом театре перед собранием культработников. Что вы, говорит, прицелили к Леониду Леонову ярлык «попучик», ведь это же прежде всего большой, настоящий, интересный художник, а Маяковский — так он-то ведь уж совсем наш! Вот только пишет больно мудро, по несколько раз пересчитываешь, пока разберешь, что

М. В. Аллатов

действительный член
Академии художеств СССР

Вся моя критическая деятельность в области изобразительного искусства в основе своей сводится к тому, что в живописи я ищу поэзию и нахожу ее в некоторых произведениях. За это мне достается от товарищей. Но я продолжаю искать ее как в Древней Руси, так и в живописи Возрождения и последующих эпох.

Я очень ценю поэзию Николая Заболоцкого. Его стихотворение «Я воспитан природой суровой» кажется мне путем постиженья нашей северной строгой природы. «Когда огромный мир противоречий насытится бесплодной игрой, как бы прообраз боли человеческой» кажется мне попыткой выйти за грани постоянного искания современной гармонии. Я люблю его стихотворение «Некрасивая девочка», в котором мерцает «младенческая грация души».

Поэзия в меняющемся мире

к чему. Маяковский, который оказался в зале, бросил резкую реплику, на что Михаил Васильевич мягко ответил, что, мол, если в архитектуре нельзя отделить форму от содержания, назначения, то в поэзии тем более. Выдающийся полководец не до конца понимал новаторство поэта, но, выступив в защиту главного в нем, поднялся выше своих субъективных оценок и этим показал пример подлинно бережного, государственного отношения к таланту. И я тогда, признаться, не совсем понимал Маяковского, а сейчас слушаешь в исполнении какого-нибудь артиста — куда уж понятнее...

Были времена, когда вот такой ленинский принцип отношения к творцам культуры, и к поэзии в частности, нарушался. Мы с Валерой Чкаловым, о котором я написал книгу и с которым навсегда сроднила судьба знаменитым полетом через Северный полюс в Америку, до безумия любили Есенина (мы были «рабоче-крестьянского» происхождения, в отличие от Белякова, из интеллигентной семьи, его интересы простирались шире — до Блока, Бунина, Брюсова, Цветаевой...). Так вот, началась несправедливая, с нашей точки зрения, кампания против Есенина. Заходит как-то ко мне домой один неумный человек, увя, занимавший ответственный пост, видит в моей библиотеке томик Есенина и говорит: мол, с ума сошел, что его хранишь? Я ответил, что это лучший поэт России и его стихи переживут любых хулителей. Так оно и вышло, и я особенно почувствовал его силу и силу поэзии вообще, когда война с ее жестокими законами, казалось, совсем могла огрубить и очерствить душу человека. Но стоило мне вспомнить или услышать то же есенинское «ты жива еще, моя старушка», как сходила с души вся короста, и ведешь людей в смертельный бой ради людей... С тех пор я остаюсь при твердом убеждении, что народная любовь, признание читателя — высший критерий оценки творчества художника. Этот показатель так же верен и при оценке достижений современной поэзии.

Спасибо Заболоцкому и за то, что, помня почти столетней давности стихотворение Полонского о портрете Лопухиной Боровиковского, Заболоцкий увидел и оценил в наше время портрет Струйской Рокотова. Он обратил внимание на этого проникновенного художника и увековечил его работу.

«Полуулыбка, полуплач», «полувоеторг, полуиспуг». Он заметил в нем то состояние, которое делает человеческое лицо прошлых лет таким близким и понятным современному человеку. Замечательно, что все сказано им простыми словами.

Рокотов создавал также портреты более сильные: Новосельцевой, Санги, Ланской и Суровцевой. В этих портретах надменность и высокомерие лица даются в сочетании с приветливостью и лаской. Глаза чуть

прищурены, как будто присматриваются к зрителю. Но не забудем право каждого поэта выбирать себе для наблюдений свой предмет.

Искусствовед будет замечать в портрете отдельные выражения лица. Но поэт увидит и скажет кратко одним метким словом.

Я начинаю перебирать в памяти другие описания памятников живописи и скульптуры и картинных сцен в нашей литературе. Тем более что старая классическая поэзия не должна выходить из поля зрения читателя.

Припоминаю Пушкина, его «Царскосельскую статую». В стихотворении этом поразительно самое сжатое изложение темы. «Дева над вечной струей вечно печальна сидит». Разве мы не чувствуем, что описывается сама статуя, что бронза составляет ее вечную принадлежность, что «сидит» и «вечно» повторяются в стихотворении два раза.

У Тютчева стихотворение «На возвратном пути» строится так, что мы как бы чувствуем, что происходит в эту минуту там и здесь, возвращение мыслей и образов здесь и там.

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь горюит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
Путь далек — не унывай...
Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой
Дышит в зеркале Лемана...
Чудный вид и чудный край...
Путь далек — не вспоминай.

Мы чьем и угадываем, что каждая половина сти-

хотворения подобна другой и в то же время зеркальна к ней.

Но признаюсь, что из всех русских классических поэтов прошлого века я предпочитаю Боратынского. Может быть, мои пристрастия покажутся произвольными и субъективными. Возможно, что это так, но я не могу говорить о поэте равнодушно, мои влечения, мои тяготения к нему непреодолимы.

Возьмем хоть для примера:

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!..

Стихотворение не сводится к частным проявлениям искусства. Оно касается самых основ художественного творчества. Рождение тропов так волшебю, что проследить его нет возможности.

Следующая строка: «художник» возведен в ранг «жреца»:

Есть хмель ему на празднике мирском.

«Хмель» вместо «опьянения». «Праздник мирской» вместо слова «земной».

Изумительны завершающие строки:

Но пред тобой, как пред нами мечом,

Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

«Мысль» здесь в единственном числе. «Нагой меч» и «острый луч» — это почти тождественные понятия. «Бледнеет» — то есть обескровлена. «Есть хмель на празднике мирском», но тут же от мысли «бледнеет жизнь земная».

Выход из стихотворения не дается. Нет и поучения. Зато дается закон, порядок, правило, которые подчиняют себе весь мир.

Все стихотворение Боратынского относится к роду стихотворений — как бы сгустков мудрости. Древние называли их «гномы» (гнома — краткое изречение, чаще всего в стихотворной форме). Они, подобно каменной надписи, украшали стены зданий.

Эдуард Балашов

ГЛАГОЛ МОЛЧАНИЯ

I

Все живет для жизни. Где ты,
Жизнь живая, жизнь благая?
Где твои, святая, светы —
Страны без конца и края?

Вот же, сразу за порогом,
По тропинке садом, логом,
Лесом, полем, полем, лесом,
А потом уж небом, небом...

II

Покой таит в себе движенье.
Молчание лелеет звук.
Свет истины, тьма заблужденья
Единый образуют круг.

И путь готов: открыта книга.
Повсюду радость разлита.

Мгновеньем дышит Красота,
И в Красоте — дыханье мига.

III

К вершинам духом поднимись.
Твой первый шаг — живая мысль.

Войди в молчание немого.
Твой шаг второй — живое слово.

Посей — пожнешь и кровь, и тело.
Твой третий шаг — живое дело.

Четвертый шаг на свете этом —
Твой первый там, где станешь светом.

IV

«Кто говорит — не знает». Вот печаль!
Тщета людская пропасть как болтлива.

Еще стоит на времени печать:
Печально знание — незнание счастливо.

Кто знает — неспроста не говорит.
Все-все вобрал в себя глагол молчанья.
И счастлив тот, кто держит знания щит:
Сиянье солнца — тень его сиянья.

V

Ушедший в обе стороны
Оставил в небе гром:
Кто предпочел былого сны —
Построил дом в былом.

Грядущий с четырех сторон
Как молния сверкнет:
Кто в будущее устремлен,
Тот в нем уже живет.

VI

Все умерло во мне и все воскресло.
Я есть, хотя меня в подлунной нет.
Неслыханный раздался в сердце свет,
Как будто я на солнце засмотрелся.

И в ночь вошел. И обнаружил то,
Что прежде солнце видеть мне мешало,
И понял: что есть что и кто есть кто,
Что нет предела там, где есть начало.

Начало — это дом, откуда мы,
Отечество, отчизна, храм отцовства.
Не бойся тьмы, мой сын, смотри на солнце!
И ты найдешь во тьме: нас тьмы и тьмы.

VII

На свете счастья нет. . .

А. С. Пушкин

Счастье живет за стенами юдоли
В неисчерпаемом Слове-Числе.
Лики покоя и образы воли —
Крайние тени его на земле.

Но обрати повседневное око
К сердцу: в нем тысяча солнц зажжено.
Счастье! В тебе обитает оно.
Но далеко до него, так далеко!

Моисей Цетлин

СТАРИКИ

Я каждый день гляжу на стариков.
Их лица как кора больных деревьев,
Как контуры разломанных хребтов,
Как ключья туч в глухих ночах кочевий.

Я вижу в них и тусклый свет и мрак,
Руины душ, растоптанных годами.
Землистая мне говорит кора
Немногими, но жгучими словами.

Как Откровенье скуп ее язык
И полон нераскрытого значенья, —
Роденовский, зачатый в камне лик
Таит в себе зерно преображенья.

Из пепла чрез померкшие глаза
Прорвется память огненной лавой,
Когда вверху безумствует гроза
И бог листает тихо жизней главы.

МОРОЗОВА (1672)

Она лежит с сестрой вблизи монастыря
Пафнутия, раскольница Федосья.
Их уморили голодом в тюрьме
Подземной в Боровске.

Забит к могиле путь.
Ее бессмертье ныне,
Бессмертье инокини — на холсте:
С двуперстным знаменем,
На розвальнях, в цепях,
В одном из залов Третьяковки.

ЖЕЛТЫЙ МЕСЯЦ

Где за копною важно ходит аист —
Стреноженные кони на лугу.

За лесом краски мягкие заката
На завтра обещают тихий день.

Когда они погаснут, над Десной
Блестать начнет безумный желтый месяц.

Ведь завтра — полнолуние. С высоты
Разбойный свет Селены проникает
И входит в кровь, и бездною грозит.

А побледнеет диск, — вновь росы и
прохлада,
Туман, как привиденье, над Десной
И вечных дум земное притяжение.

ВЗАИМНОЕ ТЯГОТЕНИЕ

Публикуемые на этих страницах стихотворения принадлежат выдающемуся советскому ученому — одному из пионеров современного космического естествознания — Александру Леонидовичу Чижевскому.

Имя этого многостороннего естествоиспытателя хорошо известно как у нас в стране, так и за рубежом — его открытия в области солнечно-земных связей знаменовали рождение новой науки — гелиобиологии; его фундаментальные исследования электрических свойств процессов жизнедеятельности и биологического действия электрических зарядов воздуха привели к установлению целого ряда принципиальных фактов, без учета которых ныне невозможно себе представить эффективность терапевтических и гигиенических мероприятий по широкому кругу проблем здравоохранения, охраны труда, жизнеобеспечения космонавтов, повышения продуктивности животноводства и так далее; его опыты с электроаэрозолями вылились, по существу, в рождение электронной технологии; наконец, открытие им системной организованности структуры движущейся крови и разработка основ электрогемодинамики по своему значению приравняются к открытию самого кровообращения, новой эры в гематологии.

Сказанного, по-видимому, достаточно, чтобы с интересом отнестись к поэтическим «досугам» великого труженика науки — хотя бы с целью глубже проникнуть в его духовный мир, в его творческую лабораторию.

Однако близкое знакомство со стихотворными произведениями Чижевского невольно побуждает оставить в стороне его научные заслуги и обратиться к его литературному наследию, как имеющему самостоятельное значение. И может быть, тут уместнее говорить не о том, какую роль играет поэтическое творчество в духовном мире ученого, а, напротив, — как на художественно-образном отражении мира сказались особенности главных интеллектуальных устремлений автора: постичь закономерные — необходимые, общие, устой-

чивые — связи и отношения в природе и человеке. И если Чижевский упрекал (не без основания) своих коллег-естественников в недостатке у них философской культуры (см. его монографию «Земное эхо солнечных бурь». М., 1976, стр. 33), то в поэзии наряду с решением классических тем и мотивов интимной и пейзажной лирики он обращается к решению волнующих его философских вопросов, продолжая тем самым характерную традицию в русской литературе, берущую свое начало в лирике М. Ломоносова и продолжающуюся, в частности, в творчестве Г. Державина, Д. Веневитинова, Е. Боратынского, Ф. Тютчева, Вл. Соловьева. . . Проникнуть мыслью в сущность бытия и познания, осмыслить «созвучье полное в природе», а главное — приблизиться к пониманию законов гармонии человека с окружающей его средой, включая в последнюю и Космос, овладеть этими законами — вот лейтмотив поэтических исканий Чижевского.

Здесь уместно вспомнить афористическое высказывание Михаила Пришвина: «Наука и искусство (поэзия) вытекают из одного родника и только потом уже расходятся по разным берегам или поступают на разную службу: наука кормит людей, поэзия сватает».

В наследии Чижевского мы видим, как обе ипостаси творчества, имея общим источником изначальную неуемность человеческого сознания, невольно расходятся — как по своим целям, так и способом действия, — но вместе с тем и . . . сходятся, возвращаясь друг к другу и тем самым к самим себе в их изначальном единстве: наука «сватает» — ищет и находит средство разнородных явлений, тождество противоположного; поэзия «кормит» — давая не просто пищу уму, но новые импульсы «хлебному делу» познания и практики.

ЛЕОНИД ГОЛОВАНОВ,
кандидат философских наук

Александр Чижевский 1897—1964

РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ

Твои поля, овраги, степи, горы,
Небес твоих синеющий шатер,
И звезд твоих мерцающие взоры,
И в звездных искрах твой пыливый взор,

Как это с детства душу волновало
Пленительной тревожной красотой, —
И вдруг опять так больно-близко стало
При ярком звуке Родины святой.

И я, беглец, проклявший эту Землю
Во времена стихийных непогод,—
Опять люблю, опять тебя приемлю,
Несчастный мой, родимый мой народ.

И, ниц припав ко глыбе черной,
Я постигаю снова правду в ней:
О, нет нигде для сердца обороны,
Как на пределах Родины своей.

1916, Калуга

ВЕЧЕРНЕЕ НЕБО

В часы, когда Солнце вечернее — Агум —
Варит себе пищу в кипящих котлах,
И пламенно-медные стрелы заката
Летят и сверкают в пылающих мглах,—

Драконы и чудища, птицы и змеи,
Залитые кровью, стремятся в котлы,
И реют и тают, огнем пламенея,
Среди огнедышащей пурпурной мглы;

И только коснутся к краям раскаленным —
Сольются в один ослепительный дым

И гибнут в порыве своем исступленном,
Венчая светило венцом золотым.

А сверху, над грозным пожаром захода,
Сквозь розовый хаос, врываются к нам
Прозрачно-зеленые бездны, как воды,
Текущие вдоль по иным небесам.

И в бледно-зеленой бездонной пустыне,
Где как бы начало вселенной иной,
Являются чуждые нам, как святыни,
Холодные звезды вселепной ночной.

1943, Челябинск

О ГОСУДАРСТВЕ

Нет, государство — не машина!
В нем должен бодрствовать и дух:
Что с хладным трупом домовина,
Когда мертвец и нем и глух!

Его источат черви злые,
А время довершит их труд,
В архивы мира вековые
О нем следа не донесут.

Нет, государство духом живо
И единением сильно,
Под общий стяг миролюбиво
Века собирается оно.

Растут единство, сила, слава,
Мужает гордый дух страны!

Единый клич — стечется лава
На подвиг мира иль войны.

Духовной силы труп не знает,
Печален стук гнилых костей:
Мертвец лишь мертвых поднимает
В глухой обители своей.

Но там, где есть душа живая,
Душа страны,— и без речей
Готова сила огневая
Являться миру горячей.

Нет — государство не машина!
В нем должен бодрствовать и дух!
Что с хладным трупом домовина,
Когда мертвец в нем нем и глух!

1923, Москва

ИСКАНИЯ

Наследьем горестным и скорбью родовой
Ты, древняя душа, насыщена веками:
Познанием отцов, стоящих перед нами
На лестнице времен, минувшей, но живой.

Весь поднебесный мир — по первородству —
Приветствуй же его любовными словами,
Но молча ты стоишь над бездной роковой.

Слиянья с миром нет. Опущены забрала.
Миллионы горьких лет изрублены в боях.
О, земнородная,— ты вечно побеждала
Всемирного Отца — Животворящий прах;

И, не приняв его, о сирота творенья,
В иллюзиях любви алкаешь ты забвенья.

1921, Калуга

БЕСКОНЕЧНОСТИ

Даны нам бесконечности на небе:
Пространство взвезненное бесконечно,
И звезд число вовек не перечесть,
И на земном пределе беспредельны:

ВЕЩЕСТВО

В земную грудь, где тихо и темно,
А не в эфирные просторы
Поникнешь ты — последнее звено,—
Судеб свершая приговоры.

О, присмотришься внимательней к Земле
И грудью к ней прильни всецело,
Чтоб снова в зеленеющем стебле
Исторгнуть к Солнцу дух и тело.

Пучиной вод — моря и океаны,
Песком зыбучим — жгучие пустыни
И жгучей скорбью — сердце человека.
1943, Челябинск

В тревожных человеческих сердцах
И в нежной немоте растений
Восходит к жизни придорожный прах,
Сверкая в бездне воплощений.

Благословим же дальнюю звезду
И горсть своей земли печальной!
Друзья мои, я вечно к вам иду,
Как к истине первоначальной.

1921, Калуга

О М. А. КУЗМИНЕ

Эта статья ставит своей единственной целью еще раз напомнить читателям о творчестве большого и интересного русского поэта, очень влиятельного когда-то, возбуждавшего споры, восторги и негодования — Михаила Кузмина. «Сознательно или бессознательно на его стихах воспиталась современная поэтическая молодежь, даже такие значительные имена, как Анна Ахматова и О. Мандельштам», — писал в 1916 году В. Жирмунский.

Отрадно, что это имя, на многие годы почти забытое, все чаще стало появляться в последнее время на страницах печати: то новые публикации стихов, то заметки о творчестве, то замеченное — наконец-то — подспудное влияние Кузмина и на современных поэтов.

Мы за последние годы вспомнили многих считавшихся забытыми поэтов, таких разных, что на них никак не могли бы сойтись все мнения. Но разве не главное свойство настоящего читателя — суметь рассмотреть в любых поэтических «направлениях», под любыми масками, иногда даже вопреки собственным вкусам, лицо истинного поэта, если, конечно, это действительно лицо, а не личины «удачливого шарлатанства».

Кузмин известен читателю преимущественно как автор поэтического цикла «Александрийские песни» и статьи «О прекрасной ясности». Это не только очень мало, но дает искаженное представление о Кузмине, если мы на этом восприятии остановимся. Кузмин — автор многих поэтических сборников (последний вышел в 1929 году); как прозаик он был не менее известен, хотя проза его вредит, быть может, ее чрезмерная, изысканная простота, угловатая небрежность речи. Кузмин — композитор и знаток музыки; свои стихи (в особенности наиболее популярные «Александрийские песни») он преимущественно пел, а не читал; первое представление блоковского «Балаганчика» шло под музыку Кузмина. Статьи Кузмина о поэзии, театре и живописи, и собран-

ные в сборнике «Условности», и разбросанные по журналам и альманахам, еще ждут своего читателя. В них почти нет тех черт, которые порой смущают нас в его лирике, — нет и следа «манерности» и «легкости»; тон неизменно серьезный и ответственный, суждения всегда направлены к защите искусства органического, «честного» и жизненного против формальных «исканий для исканий», против «каприза и произвола», подменяющих поэтическое воображение. Своеобразен и стиль его статей — при видимой «непреднамеренности» и «случайности» построения, фраза вмещает в себя перечислительный ряд взаимопротиворечащих характеристик, данных без нажима и подчеркивания контраста, а в итоге рассматриваемое художественное явление предстает многогранным, выпуклым и живым.

Кузмин, кажется, наименее ясный для нас сейчас поэт из всех крупных поэтов XX века. Есть определенные противоречия в самом поэтическом облике Кузмина, затрудняющие его восприятие. Как будто — он очень прост; он сам писал о «прекрасной ясности», даже термин создал специальный — кларизм. Но ведь он же — и один из самых «темных», «герметических» поэтов (особенно в позднем творчестве). По многочисленности культурных реминисценций и сложности отразившихся в его поэзии философских систем он уступает разве что Вяч. Иванову. Однако сложность его своеобразна: читатель XX века ребусную ассоциативность схватывает легко, но здесь как будто все понятно, лица и события поставлены перед нами ясно и прямо, но в какой-то момент чувствуешь, что что-то здесь «не так»: то ли имя названо, то ли еще какой-то «метафизический намек», но только видишь, что за «прекрасной ясностью» — далекий неясный фон. Можно разгадывать и прочитывать, можно исписать тома комментариев, но вот надо ли? Невольно вспоминаются его собственные слова:

Чем рассудку темней и гуще,
Тем легче легкой душе.

(Душа-странница, Психея — постоянная «героиня» его стихов). Нет, Кузмин не любит обременять и смущать читателя высокомерной сложностью. И в самом деле, в конце концов остается ощущение — точно от светлого пунктира полета на темном фоне. «Темнота» оттеняет и делает многомерной и объемной прозрачность первого плана.

Какое справедливое негодование вызывала давно уже представляющая за Кузмина в нашем сознании его пресловутая «поджаренная булка», всегда бывшая примером и образцом его гедонистически легкомысленного упоения «вещами» внешнего мира, эстетского пренебрежения к глубинным проблемам бытия

(Найду ли слог, чтоб описать прогулку,

Шабли во льду, поджаренную булку...).

Но ведь дело все же не в этой вызывающе демонстрационной «булке» из его ранних стихов. Поэзия Кузмина в самом деле пронизана влюбленностью в «милые хрупкие вещи», которые воплощают для Кузмина и ценность и недолговечность человеческого земного существования:

Пирог на именины,
Дети, солнце, — мирно жить,
Чтобы в доски домовины
Тело милое сложить...

Вот в этом смысле: «в капле малой — божество» — дороги ему «вещи». Он сбивается то на иронию, то на сентиментальность, но редко — на смакование «предметности» как таковой. Умиление, благодарность и грусть — вот, пожалуй, составные его «упоения» вещами и явлениями внешнего мира:

Все трепетней, все благодарнее
Встречает сердце мир простой,
И дай собак за сыроварней,
И мост, и луг, и водопой.

.....
Понинет птица клетку узкую,
Растает тело... все забудь:
И милую природу русскую,
И милый, тягостный твой путь.
Что мне приснится, что вспомнится
В последнем блеске бытия?
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?
На что-нибудь совсем домашнее,
Что и не вспомнишь вот теперь:
Прогулку по саду вчерашнюю,
Открытую на солнце дверь.

Обычная «дверь» почти приравнена к порогу, перед которым замешкалась оглянувшаяся в последний раз душа.

А его бутафорская «галломания», щедрые «космополитические краски» (Блок), жеманный театральный мирок, гроты и тюрбаны — разве не противоречат глу-

боким и прочным корням его жизни (а во многом — творчества):

За то, что вырос в Ярославле,
Свою судьбу благословлю!

Это «верхней Волги города», снова и снова: «Волга! Подумайте, Волга!», влюбленное перечисление родных имен:

Костромская, Ярославская,
Нижегородская, Казанская...

Конечно, многое в Кузмине для нас сейчас или непонятно, или неприемлемо. На его творчестве лежит, бесспорно, печать декадентства и эстетизма. Нерасторжимо она сплетена, к сожалению, с главным достоинством его поэзии: удивительной поэтической свободой. Кузмин, конечно, мастер стиха; какие бы резкие отталкивания ни вызывала его поэзия, на этом не могут не сойтись все мнения. Можно было бы на многих примерах продемонстрировать очевидное и полное владение материалом: непринужденность в выборе слов — из очень разных жизненных и стилевых пластов, от бытовых прозаизмов до самых высоких поэтических клише (при всей своей отдаленности они, однако, не настаивают на контрасте и не порождают «острающих» столкновений); гибкость и естественность интонаций, в частности передающих поток спонтанной разговорной речи (это заметней всего в поэмах — «Форель разбивает лед» и «Лазарь»); совершенную свободу владения ритмом — это в особенности, тут с Кузминым сравнивать некого. Задача соблазнительная и нетрудная для исследователя, поэтому лучше просто пригласить читателя внимательно вслушаться в интонационно-ритмическое богатство кузминского стиха.

Вот эта-то поэтическая свобода и подвергается искусству декадентства: его влияние выражается в самой чрезмерности свободы — в чересчур вольном обращении со словом, в какой-то даже порой бесконечной эластичности и уступчивости слова, в разрешенности выражения любых состояний личности, в недостаточной скрепе «внутреннего канона».

Все это очевидно. Но прислушаемся к словам Блока: «Когда поэт манерничает, прикидывается шутником, скрывает свою печаль за печальными признаниями, фокусничает, даже наивничает или щеголяет выходками «дурного тона»... и когда при этом мы не только не оскорбляемся и не испытываем надменного желания извинить его, но еще чувствуем к нему благодарность и готовы слушать и освежать его песнями свою душу, — тогда перед нами поэт непреложный, родной нам и очевидно нужный...» Говоря о «маске», которую надевает Кузмин и которая «портит его слишком печальное для всяких масок лицо», Блок прямо обращается к нам: «Что бы самому читателю потрудиться немного и снять эту маску?»

Елена Ермилова

Михаил Кузмин

* * *

Какая-то лень недели кроет.
Замедляют заботы легкий миг,—
Но сердце молится, сердце строит,
Оно у нас плотник, не гробовщик.

Веселый плотник скототит терем —
Светлый тес не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим,—
Оно за нас верит и нас хранит.

Оно все торопится, бьется под спудом,
А мы будто мертвые: без мыслей, без снов.
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.

Но что это, боже! не бьется ль тише?
Со страхом к сердцу прижалась рука.
Плотник, ведь ты не достроил крыши,
Не посадил на нее конька!

* * *

Стеклянно сердце и стеклянна грудь —
Звенят от каждого прикосновенья,
Но, строгий сторож, осторожен будь,
Подземная да не проступит муть
За это блестящее ограждение.

Прилив, отлив, таинственный обмен,—
Весь жалостный состав — благословен:
В нем наша суть искала и любила.

Сплетенье жил, теченье тайных вен,
Движение частиц, любовь и сила,

О звездах, облаке, траве, о вас
Гадаю из поющего колодца,
Но в сладостно непоправимый час
К стеклу прихлынет сердце,— и алмаз
Пронзительным сияньем разольется.

* * *

Я не мажусь снадобьем колдуний,
Я не жду урочных полнолуний,
Я сижу на берегу,
Тихий домик стерегу
Посреди настурций да петуний.

Громы, брызги, облака несутся...
Тише! Тише! Господи Иисусе!
Коням — бег, героям — медь.
Я — садовник: мне бы петь!
Отпусти! Зовущие спасутся.

В этот день спустился ранним-рано
К заводям зеленым океана,
Вдруг соленая гроза
Ослепила мне глаза —
Вышлеснула зев Левиафана.

Хвост. Удар. Еще! Не переспорим!
О чудовище! Нажрися горем!
Выше! Выше! Умер? Нет?..
Что за теплый, тихий свет?
Прямо к солнцу выблеван я морем.

* * *

По веселому морю летит пароход,
Облака расступились что мартовский лед,
И зеленая влага поката.
Кирпичом поначищены ручки кают,
И матросы все в белом сидят и поют,
И будить мне не хочется брата.
Ничего не осталось от прожитых дней...
Видю: к морю купаться ведут лошадей,
Но не знаю заливу названья.
У конюших бока золотые, как рай,
И, играя, кричат пароходу: «Прощай!»
Да и я не скажу «до свиданья».
Не у чайки ли спросишь: «Летишь ты зачем?»
Скоро люди двухлетками станут совсем,
Заводною заскачет лошадка.
Ветер, ветер, летящий, плавучий простор,
Раздувает у брата упрямый вихор,—
И в душе моей пусто и сладко.

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте ангелу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо уронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над небесной пропастью вам пройти
нашептывает...

Когда черти с хохотом
вас подвешат за ноги,
— Что еще вам хочется? —
спросят вас под занавес.

— Дайте света белого,
дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

ПЕРВЫЙ АВТОБУС

К шестичасовому сподобясь,
спиной ощущая страну,
я в загородном автобусе
заутреню отстою.

Автобус дыханьем натопится,
и буду я в угол забит,
когда вся округа в автобусе,
как лошади, стоя спит.

О чем ты забылся, биндюжник,
как кариатид в уголке?

Но сон твой каплейю жемчужной
остался на потолке.

На утренних лицах помятых,
как выпуклы книги слепых,
такое я понимаю,
как будто я сам их слепил.

Спи, рыжая, ахнув на рыввинах.
Чей муж тебе снится в пути?
Старуха с глазами открытыми,
еще полчаса тебе, спи.

Спи, жизнь молодого солдата,
спи, жизнь в кожухе; как шипы,
нескладно меж вами зажатый,
себе повторяю я: спи.

Что снится торгашке спрессованной,
вдохнувшей как кодекс почти:
«Имейте, товарищи, совесть!»
Спи...

Навеки уже не расстаться
с объявшею жизнью земной,
когда не осталось пространства
меж жизнью чужою и мной.

В тумане буханкою хлеба
автобус ползет, как слепец.
Ломтями пшеничного света
свет окон ложится на лес.

Не видел я спящих царевен,
висящих в хрустальном лесу,
но видел, как спит современница
в автобусе на весу.

Подняв кулачок, как девчонка
с картины Делакруа,

сжав поручень над проходом,
спокойно и гневно спала.

Виденья вчерашних загулов
твои утомляли черты.
О чем ты над нами вздохнула?
И большее что-то, чем ты...

Как поднятый лебедь за шею,
на белой ручонке висешь.
И я объяснить не сумею,
какая великая тишь,

какое волнение настало,
похожее на обряд,
когда, чтобы ты не упала,
прижав тебя, жизни стоят.

Не видел я, как ты вышла.
Наверно, проспала, летя.
И вытащил кто-то сквозь крышу
за белую руку тебя.

А тот, кто не встал пред тобою
и места не уступил,
лишился не только свободы —
спасенье души упустил.

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейными —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение,
в патлах, по стенке.

Ну полетала бы, что ли, на венике,
вытращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

ТРУБАДУРЫ И БЮРГЕРЫ

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остродой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то мы трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

1.

Когда я слышу визг ваш шкурный,
я понимаю, как я прав.
Несуществующие в литературе
нас учат жить на свой устав.

Меж молотом и наковальней
опять сутулюсь на весу.

МОНОЛОГ XX ВЕКА

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит как кирпич в веках.

Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.

Помню, вышел сквозь лет утиный
инженера русского сын

мы лишь успели стяхнуть слюну...
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дурь».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все курватыры.¹
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубках,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

Прованс, 1981

¹ Термин старинной архитектуры.

Опять подковой окаянной
кому-то счастье принесу.

2. КРИТИКУ

Не верю я в твое
чувство к родному дому.
Нельзя любить свое
из ненависти к чужому.

из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили бога.
Специален бог для битья.

Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.

В схватке века с активной теменью
каков век, таков и поэт.
Любимые современники,
У вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю — мой.

Герман Флоров

В ЭТОМ ГОРОДЕ

В этом городе помнят меня
Только сосны закатные, может.
В этом городе, встретив меня,
Улыбался и медлил прохожий.
Был я молод. Заботы не знал.
Был и болен. И все-таки — весел.
Я большие портреты писал
И плакатами выси завесил.
В этом граде, глядевшем с высот
На мои муравьиные плечи,
Из-под гнета вседневных забот
Я спешил на народное вече.
И не слишком терзали меня

СЫН

Сын мой, мальчик светлолобый,
Будь правдив и смел.
Ты родился не для злобы.
А для добрых дел.

О тебе, в речной купели
Утопив печаль,
Под Москвой березы пели.
Под Рязанью — даль.

Ты заходишь прямо в песню.
Сын — душа моя,
Ведь тебя растила Пресня,
Пресня Красная.

В злую непогодь и ведро,
Чтобы ты окреп,
В закрома Отчизны щедро
Шел целинный хлеб.

На разлет светились прядки,
На разрыд — оркестр.
Пели детские площадки
Мне про твой отъезд.

Я в пучине строчек шаткой,
В карусели дел
Различал твою лошадку —
Поезд вдаль летел.

Он запрыгивал, как в сказке,
Через десять рек,

Шум базара, гул фабрики-кухни, —
Кто-то видел рожденье огня,
Кто-то верил — огонь не потухнет.
Кто-то вешних салютов пальбу
Сеял в душу и тут же

под лемех --

И мою небольшую судьбу,
И большое державное время.
Зрела даль. Золотели огни, —
Город был молодой и рабочий, —
И шагали не в прошлые дни
Тепи сосен и сказочных водчих.

Освещал плотину в Братске,
Озарял Пурек.

Сын, тебя встречала школа,
Чтоб смотрел умней.
В зримом шаге комсомола —
Сила новых дней.

Край таежный. Вьюга шарит
В кладах золотых.
Мы с тобою отдышали
Краешек мечты.

Вот и Лена голубая,
Сотни синих рек.
Сын, твоя судьба любая —
В цвет весны сквозь снег.

В молодой рабочей кладке,
Шумной, как моря,
Различу твой шаг не шаткий,
Сын, душа моя.

В этом жадном океане
Жизней и планет
Никого тебя желанней
В целом свете нет.

Вестник счастья, правды вестник
В дальние края,
Ты заходишь прямо в песню,
Сын — душа моя.

Сергей Поделков

ХЛЕБОЗОР

Ночного неба карусель,
созвездий вечные станицы,
нет-нет да скрипнет коростель
в типи беременной пшеницы;
почти как в круглый зев кошницы,
ссыпаются в земной простор
пульсирующие зарницы, —
играет в поле хлебозор!

Ночь высится, как цитадель,
она — дремоты мастерица,
ручей напевен, как свирель,
в ложине сквозь туман струится.
Летают совы. Чья десница
к нам, на поветь, в любой зазор
сует ножи огня и спицы?
Играет в поле хлебозор!

ЗОВ

Все мысли о тебе,
тобой живу,
хожу и о тебе
ловлю молву,
в горячих сновидениях
зову
и ожидаю встречи
наяву.

Звереет время!
В прорве бытия
мой голос
наподобье острия;
дыханье песен —
это жизнь моя,
я в этой жизни
сам себе судья.

Я говорю:
в ней нет твоих забот,
и рук,
и губ,
и глаз недостает.
Рябит мечта...
О, если б от невзгод,
из сна,
из грезы
к яви поворот...

А ложь гуляет,
ложь —
сатанаил!

Мы спим — не спим. Шумит постель.
От сена тянет медуницей,
от поцелуев — в теле хмель,
грядущего зачатье длится.
Беспамятство как небылица...
Кругом — безмолвия напор,
зернисто небо и пшеница.
Играет в поле хлебозор!

Хлебам отяжелевшим снится
рука и серп, и жней убор,
и чрево нивы шевелится...
Играет в поле хлебозор!

1934

Нет оброти,
нет для нее удил. . .

Все ж брезжуются мне
перемен броски,
благословение
твоей руки.
Сдается —
снова
лиху вопреки
жизнь
с красной
начинается строки!

Взломай же льды
навязанной нужды,
тебя я жду,
как ждут тепла — сады,
как зерна злаков
жаждут борозды,
как иссякающий родник —
воды.

Моей строки
серебряную грань,
моей души чекан
прими, как дань;
приди ко мне,
приди — и в сердце глянть,
приди и обними —
и песней стань!

Называю. А тьма говорит:
— Опоздал. Вон воронка дымится. Пойди попрощайся. Убит.

Но тогда — кто ж звонит мне?
Не сам же себе я звоню!
Сальск... Ростов... Сталинград...—
Всю судьбу пролистаю по дню,
Всю войну проживу.
И опять телефон как-то раз.
— Это ты? Приходи. Тут письмо нам с тобой, Богораз.
— От кого?
— От нее.
— А кому?
— Нам с тобой.
— Значит... оба мы там?
— Значит, оба.

...Отбой.

* * *

Веселые села, приснитесь,
Девчат на пригорок плесните...
Цветут две черешни за клубом.
За плугом иду я, за плугом.
И добрые кони — как звери,
И долгие скрипнули двери,
И кто-то несет молока мне,
И белая тряпка на камне,
Такое золотом и прогретом!..
За летом иду я, за летом.

Веселые села, привстаньте,—
Не видно мне вас за горой,
За грустными грудями станций,
За осенью этой сыркой.
Привстаньте, рукою махните,

Пробейте окно в тишине...
Как север при сильном магните,
Так мечется сердце во мне.

Веселые села, вас нету.
Я к городу в дети стучусь
И только пишу вас в анкете,
Как место рождения чувств.
Веселые села!..
Как глухо
Рыдает октябрь в камышах.
Как горько,
Как дико,
Как глупо,
Что землю теряет душа.

Майя Луговская

* * *

Перепелочки, перепела!
Я песни перепела,
Отмеренное допила,
Все отстирала добела,
Все набело перестрадать успела.

Перепелочки, перепела!
На утренней заре
И на вечерней зорьке.

Охотники ушли вверх по горе,
Оставили свой след
Полынно-горький.

Перепелочки, перепела!
Хлопочут в позднем поле.
Какие там их ждут дела?!..
Дробиночка, не боле.

ЖЕНА ЛОТА

(Старинная фреска)

Не жалею минувшего — годов и дней,
Радостей и выплаканых слез.
Прошлое нас делает умней,
Если ноги от него унес.
Поскорей укройся
будущего пеленой.

Пусть сгорят они — Гоморра и Содом.
Чтоб не превратиться
в столб соляной,
Убегай, не оборачиваясь
на свой дом.

* * *

Грузия музыкой лечит,
Так повелось издревле.

О, распрями мои плечи,
Многоголосая песня.

Исцели меня от усталости
Силой животворящей.

Молитвенно шепчут уста мои:
Свет свой во мне не туши.

Грузия лишь бы осталась
На карте моей души...

Виктор Гаврилин

* * *

Непогрешимость отчего гнезда...
Приходит срок, и все встает на место.
Тускнеет эта первая звезда,
а что еще превыше — неизвестно.

Равняет время смертные пути.
Роняет жизнь печальные тени.
Обычен мир. Равнина впереди.
Лети себе, и дело все — в терпенье.

И ни в любви, ни в дружестве простом
ты не искал ни ангела, ни бога

и легок был, но вспоминался дом...
за что с него ты спрашиваешь строго?

Иль за хватки родственной любви,
что, словно солнце, тоже не без пятен,
или за дух, что и в твоей крови
и в целом мире лишь тебе посылтен?

А ты живешь, роняя звездный свет
в одно окно, где мрут цветы от скуки,
и снятся сны, как машут, машут вслед
неловкие слабеющие руки.

* * *

Из мира трав и полнолуния
на свет открытого окна
ночная бабочка июня
влетает, шорохов полна.

Пока огонь мой не потушен
и не пропел вдали петух,
стрекочет рядом дух заблудший
или свое нашедший дух.

Есть чудеса у летней ночи,
но есть и нужная строка,
и шепот думы неумолчной,
и свет спокойный ночника.

Есть в этом странное влечение.
И будут бабочки опять
луны огромное свечение
на одинокий свет менять.

ДОМ НА МОЙКЕ

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле — вечно и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый, как музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой за его окном.

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона,
все уместилось понемногу: его любовь, его корона,
беспомощность — его кормилица и перевозчика весло...
О чем, красotka современная, ты вдруг вздохнула тяжело?

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона,
как между Было и Не стало — нерукотворная черта.
Ее мы топчем упоенно и престопаем окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта.

Прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть ничего нельзя.
Как просто тросточкой помахать, раскланиваясь и скользя!
Но род людской в прогулке той не уберется от урона
меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона.

* * *

Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной:
каждому хочется ввысь вознестись над фортуной непрочной.
Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре,
не разглагольствуя, не помышляя о Зле и Дobre.

Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный
кружит по комнате тесной с надеждой чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?

Этой порою в Салослове — стужа, и снег, и метели.
Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких торжеств,
самое время использовать опыт крылатых существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых, очкастых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях нечастых.
Не потому ли, что нам удалось заработать горбом
точные знания о расстоянье меж Злом и Добром?

И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно не убывает...
Впрочем, вот ангел над лампой летает...

Чего не бывает?

ЕЩЕ ОДИН РОМАНС

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, боже мой, иная музыка целебна...
И дирижер ломает палочку в руках.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы сами, господа, в сравнение с дамой той прекрасной,
и наша жизнь, и наши дамы, господа?

Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, конечно, пишет мне, но... постарели почтальоны,
и все давно переменились адреса.

Евгений Елисейев

* * *

Ударила молния в камень-валун,
и ветер поднялся неслыханной мощи,
как будто бы гонят в ночное табун,
белый табун березовой рощи.

Еще не залечены раны войны.
Березы, война и у них за плечами,
но старые раны не всем и видны,
вот вы проходили и не замечали
ни грусти в березах, ни светлой печали,
ни слез их весенних, ни их седины. . .

* * *

В. Т.

Белые мухи летят с черемухи.
Лето. Видал я его в гробу.
Если бы только ошибки и промахи!
Знания, опыт — в ту же трубу?
Как же, слышали, премного слышаны:
райские кущи — они не про нас.
Вот на войне не считали нас лишними,
не торопились уволить в запас.
От родильного дома до крематория —
вот и вся история
через тире,
даже та, по часам которая,
хоть от Мозера или Буре.
Все расписано по минутам,
как гнались они по пятам,

по тернистым ее путям,
и конец был, увы, неминуем!
Нельзя бегать от неудач,
побежал, так не жди поблажки,
они, как собаки у наших дач,
норовят бегущего тяпнуть за ляжки.
Показалось мне давеча — будто звонок.
Залетела удача на огонек,
обернулась голубкой,
задула свечу
и тихонько головкой
прислонилась к плечу:
«Глупый, глупый!»
А я молчу. . .

Белые мухи летят с черемухи,
а с тополя бурые червяки.
Вот и пошли мы с тобой в чиновники
и забросили наши черновики.
Не чепуха ли на постном масле

все эти замыслы, планы, мысли?
Гибнут все наши чаянья,
сякнет любой почин.
Давай минутой молчания
надежды свои почтим. . .



* * *

В лесах, березовых светлицах,
сосновых горницах смолистых,
от птичьих свадеб, новоселий
уже и дух жилой, оседлый.
Уже пора вставать озимым,
на север отступать снегам.
Весна березам и осинам —
всем сестрам дарит по серьгам.



* * *

Святое таинство огня,
бесовский танец!
То зазывая, то гоня,
он завораживал меня —
с него все станет!

Как пылко руки ты протер,
как жадно,
взошла березка на костер,
как Жанна.

Он, как палач, неумолим
в лихой рубахе,
огонь, бледнеют перед ним
ночные страхи.

Тебе достанется, огонь,
ее невинность,
но ей, безгрешной и нагой,
тебя не вынести!..

Страданья вопли и погонь,
победы клики —
и торжество в твоём, огонь,
безумном лице.

Он все поймет, когда над ней
взлетит, как кочет,
и у обугленных ступней
с собой покончит.

* * *



Есть вещи, которые стервят,
какой-нибудь буфет или сервант,
как у меня, — отечественной марки,
свой в доску! — влез и занял пол-окна,
вот и живу теперь, как в зоопарке,
из милости на койке у слона.

Хотя мы все и служим высшим целям,
но что-то все не то мы в жизни ценим,
умели же ценить мы, пацаны, —
и одуванчик, до утра потухший,
и на задворках ночи крик петуший,
все то, чему на свете нет цены. . .

Рис. Е. Елисева.

Павел Мелехин

* * *

В детском саду завели петуха
Ради сближенья с природой ребяток.
Вот голосит он не без греха,
Люто тоскуя по квоху хохлаток.

Как разливается курицын сын
В синь полунощную, в звездные соты.
Сторож боится за магазин —
Как бы от крика сигнал не сработал.

Приподнимаюсь на ложе своем,
Не понимаю, где я, спросонья.
Уж не в родной ли отеческий дом
Сказочной полночью занесен я?

Неразличим он, родительский кров,
Даже сквозь пенью горластое птицы,

Где был привычен мне крик петухов,
Как дребезжанье трамваев в столице.

Все поглотил океан синевы
С воплями певня в трюме аллеи.
О, пробудиться бы от Москвы,
Как пробужден от деревни я ею.

О, пробудиться бы! И навсегда!
Чтобы оно занялось безгреховно
Не на минуту, а на года,
Утро, обещанное петухом мне.

Крыльями яростно хлопает он,
Гордый в убогой игрушечной клетки,
Что он — единственный на район
Стражею первой, вторую и третью!..

Поэзия в меняющемся мире

Владимир Лазарев

* * *

Размышляя о путях нашей поэзии, я хотел бы остановиться на некоторых проблемах, которые кажутся мне существенными.

Интересно проследить на образцах поэзии разных лет — и весьма наглядно, — как развивались представления о гражданственности. Скажем, утверждение Маяковского (яростное и молодое!) идей нового государства рабочих и крестьян — и раздумья А. Т. Твардовского в поэме «За далью — даль», где выражен новый личный и исторический духовный опыт гражданина нашей страны, — не пример ли тому! А замечательное стихотворение Л. Мартынова «Эхо», опубликованное в середине 50-х годов:

Расстояние не помеха
Ни для смеха и ни для вздоха.
Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!

Судьба поэта и судьба страны на данном отрезке времени были выражены Мартыновым с большой полнотой. В это же время зазвучала поэзия Б. Слуцкого, безусловно расширив представление о гражданственности тогдашнего молодого читателя поэзии. Зазвучали песни Б. Окуджавы, получившие широчайшее распространение, стихи молодого Е. Евтушенко, в котором новое поколение увидело тогда выразителя своих дух и настроений. Все это и стало выражением некоего духа

времени. Молодые — главные читатели поэзии — более всего слушали и чувствовали поэтические голоса подобных себе. Может быть, потому стихи Я. Смелякова тех лет («Винтик» и ряд других) оставались как бы в тени молодой поэзии, пришедшей на эстраду в 60-х годах. (Праздники и фестивали молодой поэзии стали одним из проявлений общественной жизни.) Между тем в творчестве Смелякова, где-то в сокровенной глубине его стало возникать и формироваться новое чувство отечественной истории, длительности ее (стихи, составившие книгу «День России»). В это время не один Смеляков стал пристально глядеть в даль времени, но он один с присущей ему определенностью выразил свое поколение и предостерег: как бы, «на беду... в соборном рояль серебре», нам «не упустить красноармейского шелома пятиконечную звезду». Он словно бы одернул самого себя — жест, характерный для Смелякова. Но в этом — не только факт его личной творческой биографии, но нечто значительно большее: понимание всего исторического процесса в целом. Это важнейший урок Смелякова для всех нас.

В последнее время, говоря о гражданственности, все чаще говорят о государственном мышлении. Качество это, известно, редкое и даже не каждому большому мастеру доступное. Пушкин обладал им вкупе с народным сознанием, что проявилось в его зрелом творчестве (классический образец этого — «Медный всадник»). Но державность поэзии у Пушкина никогда

не переходила в ту имперIALность, которая отталкивает даже в случае такого мощного таланта, каким был Р. Киплинг. Мне кажется, что, осваивая новые для себя понятия, мы, поэты нынешнего среднего поколения, часто не проявляем должной зрелости, увлекаюсь той или иной идеей. Отсутствие подлинной духовной культуры сказывается в этом и приводит в конечном итоге к межеумочности позиции (так, разумеется, неприятно мыслить о себе, но что поделаешь).

В последние годы стала заметным явлением в нашей гражданской поэзии лирика С. Куняева. Само понятие «гражданский поэт» подразумевает собой зрелость и нелицеприятность социального мышления. Когда Куняев пишет о том, что в деревне Ручьи «старуха, бормочущая обрывок напева, с большей страстью культуру творит», чем все вместе взятые эстрадные халтурщики, это воспринимается с внутренним удовлетворением. За этими словами — правда. Они написаны с пониманием народного смысла, народного сознания. Поэт, объясняя значение безвестной жизни, пишет:

...ее существо,
Зная цену и слову и хлебу,
Невелико, но и не мертво
И работает не на потребу.

Тут происходит как бы внутренняя перекличка с буниным определением поэзии: «Она в моем наследстве. Чем я богаче им, тем больше я поэт». Но вчитаемся в стихотворение С. Куняева «Сергий Радонежский»:

Народ, держись своих вождей
.....
Чтоб твой язык и твой размах
Был кровен вожаку,
Чтоб мог осаживать вожака
Тебя на всем скаку.

Думается, строки об «осаживании» весьма далеки от истинной народности. Такое сознание, разумеется, было чуждо Сергию Радонежскому, от имени которого это говорится. Но не соответствует оно и нынешнему опыту государственного мышления, вобравшего в себя многие народные начала.

Куда проникновеннее и зрелее оказался Ярослав Смеляков, когда в стихотворении «Русский язык» он, со свойственной ему резкой гиперболностью, сказал:

Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.

В поэзии Смелякова сказались, как нам представляется, более высокая культура социального чувства.

Примечателен ныне интерес и совсем молодых поэтов к отечественной истории. Но чаще наблюдается не глубокое освоение непреходящих ценностей, а лишь поверхностная ретроспективность начиная с тем, образов и вплоть до поэтической интонации. Так называемый стиль «ретро» в поэзии (как, впрочем, и в других жанрах) по существу противоположен истинному освоению классического наследия.

Хочу обратить внимание на весьма характерное для нынешнего литературного процесса обстоятельство:

сейчас возникновение поэтического имени в широком общественном сознании происходит во много раз медленнее, чем пятнадцать — двадцать лет назад. А без широкой и последовательной помощи со стороны критики и истинные поэты долго могут оставаться как бы вовсе не на главной литературной сцене, вне ободряющего читательского сочувствия. Следовательно, от некоей критической модели — станешь или не станешь необходим ее внутренней логике — сейчас многое зависит (время перенасыщенной информации).

В связи со сказанным выше мне хотелось бы определеннее обозначить работу критика В. Кожинова. Заметным явлением стала выпущенная им своеобразная антология — сборник двенадцати поэтов «Страницы современной лирики» (1980). Может быть, поэты, собранные В. Кожинным под одной обложкой, сегодня еще не играют столь значительной роли в общественном сознании. Но ведь существуют в жизни общества литературные явления прямого назначения, то есть осознанные по той или иной причине и сразу же удовлетворяющие сегодняшнюю горячую потребность общества, и литературные явления так называемого параболического свойства, подчас очень верно выражающие свое время, но начинающие по-настоящему, широко действовать в общественном сознании значительно позже, обретая тогда как бы дополнительный смысл (то есть движутся как бы по параболе, настигая общественное сознание в точке, ныне не видимой, а подчас еще и не существующей). Кожинов как раз и собрал поэзию в большей своей части «параболического» действия, пытаясь эстетически изменить саму поэтическую «почву», на которой воспитываются и сами поэты, и любители поэзии.

Однако при наличии серьезных и весьма плодотворных явлений в текущем литературном процессе (говорю о поэзии) здесь происходит и нечто настояжывающее: серый поток стихотворчества захлестывает журналы и издательские планы. Возник даже некий тип процветающего стихотворца (особый феномен нашего времени). Назовем его условно Тихон Шумилкин, ибо есть в нем и вкрадчивая тихость, и шумное нахальство. О таких еще говорят: «тихий танк». Шумилкин, перебираясь с кочки на кочку, с бугорка на бугорок, наконец выхлопывает себе или занимает (следует отметить поразительное, какое-то машинное упорство этого типа) какое-нибудь «литературное» место. И от Шумилкина начинает кто-то зависеть. Он расширяет круг «зависимых». Все не без греха. И наконец, бедный Шумилкин начинает издаваться. Сначала редко. Потом чаще (его продолжают жалеть!). Потом «летучим дождем брошюр». От него уже некуда деться. И один из покровителей бедного Шумилкина, рассеянно перелистывая издательский план, неожиданно вскрикивает и хватается за голову: «Это у Шумилкина-то одиотомник избранного? Боже мой! Да что же это делается, братцы?»

«То-то и делается», — отвечают ему... И это не единственный случай.

Размышляя о прототипах Тихона Шумилкина, к сожалению, отмечаешь: дух делячества, оскорбляя саму суть поэзии, довольно-таки распространился в литературной жизни. Шумилкины «внедряются» даже в самые почтенные коллективные сборники.

Восстановление высоких литературных норм стало сейчас насущной необходимостью.

Владимир Высоцкий
1938—1980

БАЛЛАДА О ЗЕМЛЕ

Кто сказал: все сторело дотла,
Больше в землю не бросите семя.
Кто сказал, что земля умерла?
Нет! Она затаилась на время.

Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет. Она почернела от горя.

Как разрезы траншеи легли,
И воронки как раны зияют,

Обнаженные нервы земли
Неземное страдание знают.

Она вынесет все, переждет,
Не записывай землю в калёки,
Кто сказал, что земля не поет,
Что она замолчала навеки?

Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран и отдушин,
Ведь земля — это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.

ГОРНОЕ ЭХО

В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,
На кручах таких, на какие никто не проник,
Жило-поживало веселое горное эхо,
Оно отзывалось на крик, человеческий крик.

Когда одиночество комом подкатит под горло
И сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет,
Крик этот о помощи эхо подхватит проворно,
Усилит и бережно в руки свои донесет.

Должно быть, нелюди, напившись дурмана и зелья,
Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп,
Пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье,
И эхо связали и в рот ему всунули кляп.

Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха,
И эхо топтали, но звука никто не слышал,
К утру расстреляли притихшее горное эхо.
И брызнули слезы, как камни из раненых скал...

Анатолий Богданович

БЫЛА ЛИ ВОЙНА?

Была ли война? Был ли дом наш в приделах?
Бросался ли в поле под танки июнь?..
Медалью мальчишка играет впристеноч,
Звонит об асфальт золотая латушь.
Стираются горя суровые метки.
Но разве бомбежки уйдут в забыть?..
Пылится горбушка на лестничной клетке —
Была ли война для швырнувших ее?
Раздать бы победный салют по лимиту,
Чтоб в памяти каждого небо зажглось...
Была ли война? Старику инвалиду
В автобусе места присесть не нашлось.

Кружась высоко быстрокрылой семьею,
Веселые ласточки радугу ткут...
Была ли война? Тишина над землею
Такая, что слышно, как реки текут.
Мы стали отцов непростительно старше,
Которых труба в эшелон позвала...
Была ли война? И подумать-то страшно,
Какая по счету на свете была!
Живые приходят оплакивать мертвых.
Береза кручинится, словно вдова...
Как странно, что после дождей пулеметных
Не выросла в поле стальная трава.

Антонина Баева

* * *

Когда я, немому осияя,
себе сказала: «Не бойсь!» —
голосники твои, Россия,
тотчас во мне отозвались
и подтвердили: в чистом поле
да по лесам был детский рай...
О том, забыв про боли-хвори,
как сможешь, песню заиграй.
И ты услышишь, как усилит
земля родимая ее...
Голосники твои, Россия,
так слово подняли мое
и понесли не к дальней сини,—

от сердца к сердцу в тукоток...
Голосники твои, Россия,
так мой расширили исток
и окрылили русской речью,
пригодной для родных людей.
Бери ее и, как из речки,
хоть черпачком,
хоть горстью пей,
припоминая дни босые
и песни, что певала мать...
Голосники твои, Россия,
умеют душу поднимать!

* * *

Ты продрогла, душа, на больших сквозняках.
Может, так тебе надо, чтоб дольше болела?
Синий колокол неба погрела в руках.
Не себя, а его пожалела?

И вбиралась, вбиралась тобой синева,
и вбирались и краски, и звуки...
И потом ты счастливой на свете жила,
вперекор долговременной муке.

За веревку не дернув, все слушала звон,
только взглядом к нему прикасаясь...
И потом все бежала, сквозь боль и сквозь сон,
по его облакам, как мадонна босая...

Твердо веря, что колокол неба звучал
над Землей для тебя не напрасно
и Земля твоя — это начало начал —
все равно и добра, и прекрасна!

Юрий Паркаев

ПРЕДОК

Князь бежал. Отступала дружина,
задыхаясь в тяжелом чаду.
И уже над равниной кружило
воронье, прославляя Орду,

и уже возжигались, как свечи,
в небесах за звездой звезда
и багровые отблески сечи
умирали за рощей,
когда

над безмолвным, истерзанным полем
он поднялся, раздвинув тела,
и заря, опаленная боем,
ясны очи ему обожгла.

И стоял он, забрызганный кровью,
посреди обескровленной мглы,
и свирепо торчал из надбровья
наконечник татарской стрелы.

КАЩЕЙ

В замшелой избе, в первобытной глуши,
где нет ни одной человеческой души,
живет квартирантом у Бабы Яги —
у дряхлой, картавой, усатой карги.

Была бы монета. . . Да где ж ее взять?
Вконец обобрал, разорил его зять.
Заплакал старик и ушел со двора,
оставив и дом,
и три воза добра.

Тряпье изнашивается, а тело живет:
то ломит суставы, то пучит живот.

Уж он потреблял мухоморовый сок,
но даже и сок старику не помог. . .

Полуночным часом затихнут сычи,
и слышно в дремучей и ржавой ночи,
как тихо на подлавке хнычет Кащей
над грудой траченных молью вещей.

Вот так и несет он с тоскою в очах
бессмертье
на тронутых мохом плечах!

Игорь Жданов

* * *

И я не знаю: надо ли об этом,
Удача это

или же беда? —

Был человек — как все,

а стал поэтом,

Поэтом стал без всякого труда.

Его душа — одна сплошная рана,

И боль ее бездонна и резка, —

Однажды в ней сошлись меридианы,

Космические трассы — и тоска.

Сошлись — любовь с последнею надеждой,

Смятение, достоинство и честь,

И энциклопедисты, и невежды,

И ярость, и пророческая весть.

Пусть даже просто —

бойкий перекресток

Его нетерпеливая душа, —

Как он поднимет — мальчик-недоросток —

Всю тяжесть своего карандаша?

* * *

Не потому ль душе людской,
Как человекоиспытанье,
Дана безбрежность мирозданья
И искра святости земной,
Чтоб ощутиее подчас
В ней отзывалось эхо крика,
В душе обманчиво великой,
Всей жизнью предрешенной в нас.

И как теперь,
И как потом
Не повторятся высь и бездна.
Жизнь не дается безвозмездно,
Жизнь не размечена перстом.

Четыре стороны земли,
А человек
На перекрестке.
Поля,

НОЧЬ РАССВЕТНАЯ

1

Я пришел к тебе из прошлого
Через рощу, через рожь.
Что же ты, моя хорошая,
В разум слово не берешь?
Что же ты, остолбенелая,
У стены как ночь стоишь,
Ночь рассветная, несмелая?
Что ты мужу не велишь
Из бадьи водой похолиться?
Полотенце поднеси.
Что ты смотришь за околицу?
Звезды в небе погаси.
Погаси над речкой зарево,
Про бои меня спроси.
До того, как пасть мне замертво,
На побывку отпроси.
Отпроси меня, хорошая,
Хоть на чуточку, а там. . .
Пусть я буду только прошлое —
Память сердцу и глазам,
Память озеру и радуге,
Память пашне и цветку.
Поделись со мною радостью,
Что встречала на веку.
Мне уйти с рассветом велено
В ту страну, где я теперь
Сердцем слушаю простреленным
Тополиную метель;
Мне уйти с рассветом велено

Пустыни и березки
И птицы алые вдали,

Четыре берега несут
Прохладу,
Холода и жажду,
А человеку навсегда,
На боль,
На радости —
Однажды,
На милость щедрую,
На суд
Одна душа дана — навеки.

Четыре стороны земли,
Четыре берега вдали,
И вся надежда
В Человеке.

На рубеж, где я стою,
Сердцем слушая простреленным
Песню тихую твою.

2

Не кори меня — не светлую.
Я и ночь теперь — одно.
Не ищи за темной веткою
Мое темное окно.
Это я — седая женщина.
Я не мать тебе, жена.
Это мне тобой завещана
Песня давняя одна.
Это мой платок в горошинах
Этой ночью над тобой.
Это я — твоя хорошая.
Только ты теперь — не мой.
Ты стоишь в шинели бронзовой,
Все такой же молодой.
До тебя тропинки — розами.
К голове моей седой
Сапоги твои тяжелые
Прислонились, как года.
Моя песня невеселая,
Моя горькая беда —
Все во мне умолкло, замерло,
Это я к тебе пришла
Через рощу, полем — за море,
Из родимого села.

Владимир Попов

* * *

Плоский ящик несет за спиною
и кричит он опять и опять,
той далекой-далекой весной:
«Кому звонкие стекла вставлять!»

Ах, стекольщик, помедли минутку —
босиком за тобою бегу.
Я твои заскоружные руки
до сих пор позабыть не могу.

Вот военная музыка смолкла,
и закончен победный парад.

И волшебные светятся стекла.
И волшебные окна блестят.

В грустных рощах брожу одиноко —
сколько чистой воды утекло.
И чернеют провалами окна,
только некому вставить стекло.

Я, наверно, уже не отвыкну —
буду долго еще вспоминать
ту весну и далекие крики:
«Кому сте. . . кому стекла вставлять!»

* * *

И день высок, и полночь глубока.
Я умер и воскрес. И жизнь течет другая.
И женщина у черного окна
голубоватый свет не зажигает.

Прошло столетье или минул год? —
теперь все так мучительно и странно:

девятая луна обходит небосвод,
как одинокий и печальный странник.

И я все больше думаю о том,
пока все дальше время отлетает:
на черный день оставлю старый дом,
где женщина огня не зажигает.

ПОЗДНЯЯ СВАДЬБА

Снег падал не переставая
на обручальное кольцо. . .
Взошла хозяйка молодая
на золоченое крыльцо.

Рыдала пьяная гармошка.
Кидались бабы в перепляс.
Визжали девки понарошку
и хохотали напоказ.

Ходили парни петухами —
ломались словно кренделя.
А где-то сбоку плетухалась
ошеломленная родня.

И мужики, напившись зелья,
негромко дрались у ворот. . .
Снег выпал на сырую землю —
ну, значит, больше не сойдет.

Лидия Григорьева

* * *

Когда я вижу сад цветущий. . .
На малый садик городской
я, как крестьянин неимущий,
гляжу с завистливой тоской.

А ночью шум индустриальный
у самых окон узкой спальни,
и сон в пол-ока, полубред:
на хуторе живет мой дед,

как будто он еще не умер,
вот пасека — десяток ульев,
вот вечер — пламенеет запад,
повсюду сада сумасшедший запах,
и тишина — густая, как варенье,
среди вишневых дед стоит деревьев,
зову его — чужая горожанка —
и просыпаюсь. Горько мне и жарко. . .

Григорий Корин

* * *

Любые рубежи
Возьмет душа в полете.
Нет срока для души,
Есть только срок для плоти.
Пусть два моих крыла
Не знают прежней тяги,
И я лишь тень орла,
Глухарь в чужом овраге,
И, стрелянный не раз,
С макушкой оголенной,—
Я не смыкаю глаз
И вниз гляжу со склона.

И слез мне не унять,
И жар не скрыть мгновенный,
Там чей-то вздох опять
Я слышу неизменный.
И я не шевельнусь,
Себя не обнаружу,
Пусть радуются, пусть
Душа вольется в душу.
Душа душе поет,
А что потом случится,
Лишь знает звездный ход,
И облако, и птица.

* * *

В больнице ли, дома, в дороге
Я вдруг замирал сам не свой,
Не думая вовсе о боге,
Не чуя его над собой.

И я убежал из палаты,
Вагон покидал на ходу
И дом свой, под вопли проклятий,
Не зная, куда я иду.

Неведомо как и откуда,
Почти что на самом краю,

Спасало незримое чудо
И жизнь мне, и душу мою.

Неведомо как и откуда,
В мгновенье решая одно,
Отринув мой бедный рассудок,
Ко мне прикасалось оно,—

В бреду, на развалинах Трои,
В отрешьях, среди нищенских скал,—
И дом свой без денег построил,
И книгу без слов написал.

Владимир Нежданов

* * *

На лодке остались вдвоем
и к солнечному восходу,
забывшись, без весел плывем,
и смотримся в небо, как в воду.

Клубясь в полумраке ночном,
туман над водою плескался.

тонул в отраженьи своем
и медленно растворялся.

Сквозь сон за полночного света
мы видим под нами вдали,
как плещется звездное небо
на той стороне земли.

Юрий Никоньчев

* * *

Сомкнет ли сон твои глаза,
Иль бодрствуешь ночами,
Грохочет летняя гроза
Над темными полями.

И хлещет ливень молодой,
Мглу ночи освежая,
Как будто говорит с тобой
Природы плоть живая.

То погремущками стихий
Оглушит ненароком,
То глянет, как загробный Вий,
Мертвящим душу оком.

Поймешь ее глухой язык
И хищные повадки,
Когда в один прекрасный миг
Положит на лопатки.

И станешь ливнем и грозой
И нежными цветами,
И темным полем, и травой,
Вздыхающей ногами.

По все ж, печали не тая,
Дыши цветами лета. . .
И значит, песенка твоя
Пока еще не спета.

ЖАЖДА

Воспоминаний хлеб с тобою поделили,
Два нищих гордеца разворотили быт.
И вихрь нас разнес в клубах горячей пыли. . .
Тебя я позабыл, тобою я забыт.
Дорогами страны, бескрайней и великой,
Без усталости гнал сомнений темный смерч,
И нежных яств цветы казались пищей дикой,—
На скатерти любви хлестала щедро желчь.
Никто нам не помог забыть родное имя —
Двум варварам тоски, отринувшим уют.
Мы проклинали жизнь под звездами немymi,
Вершили над собой надменный самосуд.

Окружены слепым и похотливым мясом
Бездельников души, идущими вослед,
Все ж порознь жили мы тем незабвенным часом,
Которому теперь уже названья нет.
Не стерли светлый лик угрюмые мужчины,
И женщин имена не стыли на губах;
Мы потеряли счет страданьям и морщинам,
Воспоминаний хлеб раздали впопыхах.
Что может быть сильнее невыносимой боли
Оставить мир другим, разворотив свой быт?
Но плоти жаждет дух, ее слепой неволи:
«Тебя я не забыл, тобой я не забыт. . .»

ОПОЗДАНИЕ

В круговороте суматошных дел,
За призраком гоняясь славы мнимой,
Сказать «прощай» отцу я не успел,
Сказать «люблю» я не успел любимой.
Я не успел познать тебя, поэт,
Когда читал ты искренние строки.

Теперь ловлю их поздний звездный свет. . .
О, опозданий скорбные уроки.
Утешит кто на выбранном пути
И кто простит за эти опоздания?
Смогу ли я ответ судьбы найти,
Скрывающийся в недрах мироздания. . .

ПРОБУЖДЕНИЕ

Месяц оком кошачьим взглянул
И за облаком розовым сгинул. . .
На рассвете я дом свой покинул
И пустился в весенний разгул.

Вся в росе молодая сирень,
Птицы в обмороке от запоя,—
Пропились и пропелись со мною,
К черту ночь, если радостен день!

Юность, юность, ты снова во мне
Раззвенелась цветущей сиренью.

Презираю грядущее тленье —
Плоть свою завещаю весне,

Жирным травам и нежным цветам,
Издающим дурманящий запах,
И листам в изумрудных каплях,
Пробуждающимся по утрам.

Бейся, юность, в горячей груди
От зеленой бушующей браги
И свались в лопуховом овраге. . .
К черту ночь, если день впереди!

Олег Алексеев

* * *

Деревенское мокрое лето.
Небо сизое, дождь обложной.
Будто озеро — лужа у леса.
И словечко пошло: «Сеногной».

Дождевик одеваю неловко.
Нет сухого местечка нигде.
И косилка плывет, точно лодка:
По ступицу колеса в воде.

За речушкою вздвухнейся, бурной,
Как по скользкой опавшей листе,

Прохожу я по скошенной, бурой,
А местами и черной траве.

Копны мокрые — около клуба.
Копны мокрые — на пустыре.
А трава — это мясо и шуба,
Молоко у ребят на столе.

Нашумели мы в прошлые годы,
Незнакомые с долгим дождем:
«Что там милости ждать от природы?»
А теперь призадумались, ждем. . .

Василий Пономаренко

ПОСТОЯНСТВО

Россыпи отчих селений,
Насыпи братских могил
Без прописных повелений
Бережно я полюбил.

Этой любви постоянство —
Счастлив, что им наделен! —
Душу ведет сквозь пространства
И буреломность времен.

Всюду — на Волге и Клязьме,
Над Уссури и Сулой —
Полнит сыновние связи
Сердца с родимой землей. . .

Словно завет поколений
Мне от Карпат до Курил —
Россыпи отчих селений,
Насыпи братских могил.

Татьяна Сырыщева

* * *

Как хочется все дорогое сберечь!
Была у нас в доме беленая печь.
Варила, томила, сушила, пекла,
как бабка, приехавшая из села.

Дородная, белая — рядом жила.
Огонь вырывался порой из жерла,
но ей никого не случалось обжечь:
была нашим другом крестьянская печь.

А город был южный. Оливы в пыли. . .
Верблюды с горы вереницею шли. . .
И слушала азербайджанскую речь
спокойная, теплая русская печь.

Натан Злотников

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Не так уж много прожил
На этом белом свете,
Но чувствую всей кожей
Железный встречный ветер.

С тех пор когда бомбили
Нас в Дарнице, подул он,
И лошадь в красном мыле
Ползла, гонима гулом.
Он пахнет тем фугасом,
Что заглушал сирену.
И время с каждым часом
Все набавляет цену.

Не так уж много видел,
Но вот, выходит, много:
Шторм на спокойной Ниде,
Штиль Золотого Рога,

И храмы, и соборы,
И редкие полотна,
И добровольцев сборы,
Что строились поротно.

Не так уж много слышал,
Но слышал плеск веселый
Над лепестками вишен,
Когда летают пчелы,
Визг мостового крана
И пение волюнок,
Весенний стон фазана
И Читтагонский рынок.

Была еще, быть может,
Любовь — всегда иная? . .
Весь век мой с нею прожит.
Но я ее не знаю.

* * *

Как выросла у друга дочка!
Жаль, слова не могла сказать,
У новомодного платочка
Концы всё не могла связать.

Потупясь, чай пила с вареньем,
По-детски резала пирог,
Простясь, вздохнула с облегченьем
И взрослой вышла за порог.

Борис Воробьев

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Потемнели скворечни и рамы
От ветров, от снегов и дождей.
Потемнел на могиле у мамы
Крест, поставленный миром над ней.

Приезжаю все реже и реже.
У ограды подолгу стою,
Что окрашена краскою свежей,
Под которой не видно мою.

Обновил кто-то надпись под фото,
Заменил проржавевший венок, —

Я, всю жизнь в суете и в заботах,
Даже этого сделать не мог!

Все откладывал дело святое,
Дожидался удобного дня. . .
И дождался — чужой добротой,
Как осколком, задело меня.

И стою, опершись на ограду,
И смотрю на родные черты,
И никак со слезами нет сладу,
И глядеть нету сил на кресты. . .

Сергей Мнацаканян

* * *

Не забыть ожидания залы
на огромных вокзалах страны,
здесь бездонными смотрят глазами,
здесь воистину люди равны,

ибо ждут, а какие надежды,
вещи, возрасты и имена,
дата смерти и время отъезда —
не касается это меня. . .

Это каждого личное дело —
да не сунемся в чьи-то дела
под гудение общей метели,
что в окне непроглядно-бела!

Чадно, горько дымится махорка,
чемоданы, тюки и узлы. . .
Это правда о жизни — и только! —
где измучены, заспаны, злы.

Ждут курьерского, что ли, состава.
Черный уголь, белок фонарей —
и такого же точно состава
жизнь на тесной планете моей,

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ

Павлиний глаз!

На бархате пыльцы
чудесные махровые разводы. . .
Тварь невесомая,
лети во все концы
забвения, веселия, свободы. . .
Какая легкость!

Неразумный взмах

черно-белая. . . Крик паровоза,
грязь и проза товарных путей,
чахлый вид станционной березы
и немислимый визг скоростей.

А когда, как архангел, диспетчер
объявлял об экспрессах ночных,
в дверь вокзальную люди, как в вечность,
ускользали — как не было их...

И столкнуться придется едва ли,
верно, и не припомнится нам,
как в транзитных ночах ночевали,
неизвестные по именам. . .

Ты зубришь поездов расписание,
а в кармане просрочен билет,
жизнь тесна — словно зал ожидания,
из которого выхода нет. . .

Жизнь темна от любви и страданья
на разъездах стремительных лет
и щемит, как ночное свиданье,
но откуда же бьет этот свет?

ковровой ткани, матовой с изнанки.
Колодец глаза источает мрак,
нацелясь на ромашковые замки. . .
Он то взлетит, то выпучит зрачок,
то вкрадчивые усики раздвинет,
покуда детский марлевый сачок
мой сын на это чудо не накинёт.

Юрий Лоциц

* * *

Лопочет весело ботва,
что огородная братва
растет легко и тесно.
А в поле сладко дышит рожь
голубоглазая, и дрожь
ресниц ее небесна.

Рожь человечески тепла,
как будто только что была
вот тут душа живая
и так молилась горячо,
что все волнуется еще
от края и до края.

Елена Аксельрод

ДОМ НА БАРРИКАДНОЙ

Памяти отца, художника

Мать и отец мой жили в подземелье:
Где дом стоял наш, там теперь метро.
Но зренье сохранить они посмели —
Взлетала кисть, печалилось перо.

Вы возразите: было два окошка,
А значит, дом стоял не под землей,
По воскресеньям жарилась картошка,
Сосед был хоть запойный, да не злой.

И два кола — ну чем не две колонны? —
Просевший подпирала потолок.
Вполне доступен был вихор зеленый
Земли московской, взлезшей на порог. . .

Но в дом подземные врывались гулы —
Отцовской новой жизни голоса. . .
И воскресают желтые аулы
И розового Крыма небеса,

Когда искусства худенькие жрицы
Спешат к нам на подземных поездах,
Чтоб легкими руками в папках рыться,
Благоговейно путаясь в годах,

И в дом другой, где мама сберегает
Из подземелья извлеченный свет,
Упрямо проникает жизнь другая. . .
И тут мы понимаем: смерти нет.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОМАНС

К нему приехала жена,
И сразу ясно стало,
Что стар он так же, как она,
Что поздно жить сначала.

Глаза умерили свой блеск,
И речи потускнели. . .
Он молча шел с ней слушать плеск
Пруда в рябом апреле.

Жизнь проступала, как вода
Из-под непрочной корки. . .
Была война, была беда,
Известность и задворки.

Был путь изменчивый, рябой,
Уступки и решимость.
И было это все Судьбой,
А хвост павлиний — мнимость.

Крошилась жизнь, крошился лед,
Сжигали листья где-то. . .
Кольнула мысль, что в этот год
Не дотянуть до лета.

Жена уехала в обед,
И возраста не стало.
Надел он замшевый жилет,
Сложил для милых дам куплет —
И начал жить сначала.

Кирилл Ковальджи

* * *

Вижу стреляных, тертых, прожженных,
С каждым часом они все мудрей,
Но давно не встречаю влюбленных,
Озаренных любовью людей.

Все знакомцы добром обзаводятся,
Тяжелее в домах благодать. . .
В тех местах, где влюбленные водятся,
Не приходится больше бывать. . .

Евгений Храмов

НАЧАЛО ПОЭМЫ

Смола проступала на каждом полене,
«Буржуйка» нагрета была докрасна.
Еще я не думал совсем о поэме,
А это свой цвет находила она.

И тени на стенах затеяли танец,
И ветер некрепкие стекла шатал,
И в ярких лохмотьях огонь-оборванец
Плясал и начальные строки шептал,

Визжала истощно лебедка парома,
В невидимом небе гудела война.
Еще я не знал, что такое поэма,
А это свой тон подбирала она.

Стараясь попасть с ополченцами в ногу,
Стремясь подхватить их нестройный припев,
Она выходила под снег, на дорогу,
И долго стояла там, закоченев.

И надо ей спрятаться было, укрыться,
В каком-то подполье года провести,
Чтоб вдруг, точно знаменье в небе, явиться
И властно меня за собой повести.

Чтоб в руки упало упругое слово,
Проверенное на точнейших весах,
Чтоб, голову подняв, я лики былого
Сумел разглядеть над собой в небесах.

Леонид Латынин

* * *

На добро отвечаю добром,
Равнодушьем на зло отвечаю.
Я любую судьбу привечаю,
Постучавшую бережно в дом.

И в столице и в самой глуши,
До последнего слова и дела.
Я с любим, кто не предал души,
Своего достигая предела.

В этой жизни еще наугад,
В этой жизни короткой и тесной,
Никому до конца не известной,
Только доброму имени рад.

Слишком малый нам выделен срок,
Чтобы, меря бессмертием годы,
Злу ответить я чем-нибудь мог,
Не нарушив законы природы.

Римма Казакова

* * *

То, что я поняла светлой полночью,
когда голову приподняла,
то, что я поняла с твоей помощью,
ты не понял, а я поняла.

То, что я поняла в утро зимнее,
когда рядом по улице шла,
то, что было волшебно взаимное,
ты не понял, а я поняла.

Как же вместе так долго мы пробыли —
или вместе одна пробыла? —
если все, что построить попробовали,
ты не понял, как я поняла. . .

Стала я и умней и печальнее,
потеряла, чем жить бы могла.
Отчего, повторяю в отчаянье,
ты не понял, что я поняла?

Только знаю, что в жизни ни станется,
я назло не наделаю зла,
и со мной, как опора, останется,
что не понял, что я поняла.

За любовь полной мерой заплачено,
а иначе — она ли была?
Но получено мной, не утрачено, —
ты не понял, а я поняла.

Не просила тебя, не волила,
пониманья, вниманья ждала,
быть таким, как хотел ты, позволила,
но не понял, что я поняла.

Ну так взгляда не надо победного
твоего над сожженным дотла.
То, что, бедный, беднее ты бедного,
ты не понял. А я поняла.

* * *

Поведи меня, сынок,
в книжную твою обитель!
Победи меня, звонок,
на счастливый тот урок,
где учеником — учитель.

У прекрасной немоты,
благодарная, в плену я,
не страдая, не ревнуя:
говоришь сегодня — ты!

Путь, которым прибрела
в этот день из-за тебя я,
где я обрела, теряя,—
вспышка света, взмах крыла.

Но — длиной он в жизнь мою
и твоей сегодня начат.

Девочкой, мой взрослый мальчик,
я перед тобой стою.

Поучай, учи, тарань
всем, что вынес от меня же,
и по-родственному даже
снихождением тирань.

Буйствуй, плоть и кровь моя!
Резкий, как вулкана выброс.
Как ты быстро, мальчик, вырос. . .
Стала маленькою я.

Затаясь, гордясь украдкой,
слушаю, едва дыша. . .
И раскрыта вся душа
ученической тетрадкой.

Николай Рерих 1874—1947

Творчество Николая Рериха — и об этом говорилось уже не раз — носит универсальный и энциклопедический характер. Наше время дарует нам радость открытия не только живописного, но и философского и литературного наследия Рериха. Этому способствовали издания его стихов («Письмена», 1974) и прозы («Избранное», 1979).

Продолжая знакомство с литературным творчеством Рериха, мы предлагаем вниманию читателей вещи, не вошедшие в упомянутые сборники. Триптих «Заклятие» открывает книгу «Цветы Мории», единственное прижизненное издание стихов Рериха. Естественно, что он дает заповедь всей книге, определяет ее настрой. Нетрудно заметить, что в строчках стихов оживает ритмика русских народных заговоров. А устремленность к Востоку, обозначившаяся уже в ранних произведениях Рериха, очевидно, объясняет появление таинственных имен, как бы принесенных обжигающим ветром азиатских степей и пустынь.

Особый интерес представляет третье стихотворение цикла («Камень знай. Камень храни»). Эти строчки, написанные в 1911 году, перебрасывают мостик к дальнейшей работе Рериха-художника, Рериха-ученого. Собирая и сопоставляя легенды о волшебном Камне, предвещающем небывалое людское единение, он выявит поразительное сходство разноязычных сюжетов. Он придет к выводу, что под разными наименованиями выступает один и тот же Камень: горюч-камень горы Арарат русских былин, он же — роттенбургский Камень средневековых легенд, он же — камень Чинтама-ни — дар созвездия Орiona — буддийских преданий. На основании изученного материала Рерих выскажет смелую и неожиданную для своего времени мысль, что Камень — не миф, а реальность, что он как своеобразный посланец Космоса аккумулирует в себе некую еще неведомую человечеству энергию, действие которой и породило пугающие и вдохновляющие легенды. Эта гипотеза получит дальнейшую разработку в наши дни, обрстет аргументами. Сошлюсь хотя бы на статью Андреевой «Эзотерические знания... Были ли они?», опубликованную в журнале «Техника — молодежи» (1980, № 10).

Индийская традиция в чистом виде выступает в стихотворении «Как устремлюсь?». Из индийской мифологии, поражающей воображение масштабностью и поэтичностью космогонии, заимствован центральный образ стихотворения — птицы Хо-мы, которые никогда не садятся и которые выводят своих птенцов в недостижимой высоте, среди облаков и звездных зарниц. Пафос человеческой устремленности ввысь запечатлен в понятиях, свойственных древнеиндийской мудрости, и незнакомому с индийской традицией нужно объяснять, что Майя обозначает мир в его внешне заманчивых, но в сущности иллюзорных формах, а Вриндаван — священный город, центр и вместилище светоносной духовной энергии человека.

Говоря о русско-индийской традиции стихов Рериха, следует подчеркнуть, что мысль Рериха всегда обращена к первоисточникам, к фольклору, который является питательной почвой поэзии вплоть до наших дней и который, как ничто другое, выявляет замечательное единство разных, на первый взгляд, бесконечно друг от друга далеких культур.

Статья «Глаз добрый» — относится к раннему периоду творчества Николая Константиновича Рериха. Но в ней получает четкую, афористичную формулировку нравственно-эстетическое кредо Рериха, призыв, которому сам художник следовал всю жизнь, к позитивно-созидательной внутренней работе.

Статья «Глаз добрый» была опубликована в первой книге неосуществившегося собрания сочинений Рериха, вышедшей крайне ограниченным тиражом в начале первой мировой войны. Эта книга, как и сборник 1921 года «Цветы Мории», ныне — библиографическая редкость.

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ

ГЛАЗ ДОБРЫЙ

Добрый глаз редок. Дурной глаз в каждом доме найдется.

Мне говорили, что Станиславский заставляет своих учеников: «Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее».

Чуткий художник видит, что огромное большинство из нас с наслаждением служит культу худшего, не умея подойти ко всему, что радость приносит.

С великим рвением мы готовы приносить хулу перед тем, что нам не любо. Какое долгое время мы готовы проводить около того, что нам показалось отвратительным.

Встреча с нелюбимым порождает яркие слова, блестящие сравнения. И быстры тогда наши речи, и сильны движения. И горят глаза наши.

Но зато как медленно скучны бывают слова ласки и одобрения. Как страшимся мы найти и признать. Самый запас добрых слов становится бедным и обычным. И потухают глаза.

Удалось испытать одного любителя живописи. За ним ходил с часами и незаметно замечал время, проводимое им около картин. Оказалось, около картин осужденных было проведено времени слишком вдвое больше, нежели около вещей одобренных.

Не было потребности смотреть на то, что, казалось, доставило радость; нужно было потратить время на осуждение.

«Теперь знаю, чем вас удержать. — Надо окружить вас вещами ненавистными».

Мы, славяне, особенно повинны во многоглаголении худшего. В Европе уже приходят к замалчиванию худого, конечно, кроме личных выступлений.

Если что показалось плохим, — значит, оно не достойно обсуждения. Жизнь слишком красива, слишком велика, чтобы загрязнять себя зрелищем недостойным. Слишком много радостного, много заслуживающего отметки внимания. Но надо знать бодрость и радость.

Надо знать, что нашему «я» ничто не может вредить. Остановившаяся перед плохим, мы у себя отнимаем минуту радости. Удерживаем себя вместо шага вперед.

Учиться радости, учиться видеть лишь бодрое и красивое! Если мы загрязнили глаза и слова наши, то надо учиться их очистить. Строго себя удержать от общения с тем, что не полюбилось.

И у нас жизнь разрастется. И нам недосуг станет всматриваться в ненавистное. Отойдет ликование злобы.

И у нас откроется глаз добрый.

ЗАКЛЯТИЕ

I

Отец — огонь. Сын — огонь. Дух — огонь.
Три равны, три нераздельны.
Пламя и жар — сердце их.
Огонь — очи их.
Вихрь и пламя — уста их.
Пламя Божества — огонь.
Лихих спалит огонь.
Пламя лихих обожжет.
Пламя лихих отвратит.
Лихих очистит.
Изогнет стрелы демонов.
Яд змия да сойдет на лихих!
Агламид, повелитель змия!
Артан, Арион, слышите вы!
Тигр, орел, лев пустынного
поля! От лихих берегите!
Змеем завейся, огнем спалился,
згинь, пропади, лихой.

II

Отец — Тихий, Сын — Тихий, Дух —
Тихий.
Три равны, три нераздельны.
Синее море — сердце их.

Звезды — очи их.
Ночная заря — уста их.
Глубина Божества — море,
Идут лихие по морю.
Не видят их стрелы демонов.
Рысь, волк, кречет,
Уберегите лихих!
Расстилайте дорогу!
Кийос, Кийозави,
Допустите
лихих.

III

Камень знай. Камень храни.
Огонь сокрой. Огнем зажгися.
Красным смелым.
Синим спокойным.
Зеленым мудрым.
Знай один. Камень храни.
Фу, Ло, Хо, Камень несите.
Воздайте сильным.
Отдайте верным.
Иенно Гуйо Дья,—
прямо иди!

1911

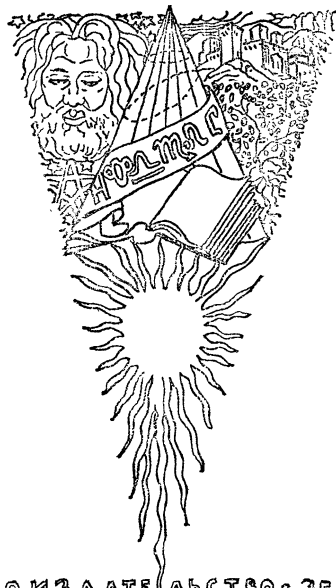
Рисунки поэтов

В моем собрании хранится рукописный сборник М. Волошина «Стихотворения. Книга вторая», в который вошли произведения поэта с 1910 по 1920 год. Выпуск сборника планировался в издательстве «Зерна», но обстоятельства сложились так, что книга в свет не вышла. По замыслу автора «книга вторая» должна была состоять из шести разделов, три из которых Максимилиан Александрович аккуратно переписал карандашом, а в перечне остальных стихотворений сделал ссылки — в каких изданиях они уже опубликованы.

Обложку для сборника М. А. Волошин изготовил сам. Рисунок выполнен пером и акварелью. Воспроизводится впервые.

Анатолий Марков
художник

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ СТИХОТВОРЕНІА КНИГА ВТОРАА



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕРНА»

В ЗЕМЛЮ

Мальчик, останься спокойным.
Священнослужитель сказал
над усопшим немую молитву,
так обратился к нему:
«Ты древний, непогубимый,
ты постоянный, извечный,
ты, устремившийся ввысь,
радостный и обновленный».
Близкие стали просить:

«Вслух помолился,
мы хотим слышать,
молитва нам даст утешенье». —
«Не мешайте, я кончу,
тогда я громко скажу,
обращуся к телу, ушедшему
в землю».

1915

КАК УСТРЕМЛЮСЬ?

Птицы Хомы прекрасные,
Вы не любите землю. Вы
на землю никогда не
опуститесь. Птенцы ваши
рождаются в облачных
гнездах. Вы ближе к солнцу.
Размыслим о нем сверкающем.
Но Девы земли чудотворны.
На вершинах гор и на дне
морей прилежно ищи. Ты
найдешь славный камень
любви. В сердце своем
ищи Вриндаван — обитель
любви. Прилежно ищи и
найдешь. Да проникнет
в нас луч ума. Тогда
все подвижное утвердится.
Тень станет телом.
Дух воздуха обратится
на сушу. Сон в мысль

превратится. Мы не будем
уносимы бурей. Сдержим
крылатых коней утра.
Направим порывы вечерних
ветров. Слово Твое — океан
истины. Кто направляет
корабль наш к берегу?
Майи не ужасайтесь. Ее
непомерную силу и власть
мы преждем. Слушайте!
Слушайте! Вы кончили
споры и ссоры? Прощай,
Араньяни, прощай, серебро
и золото неба! Прощай,
дуброва тишайшая!
Какую сложу тебе песнь?
Как устремлюсь?

1916



ЗАМЕТКИ О СВОБОДНОМ СТИХЕ¹

Чтобы подойти к сути свободного стиха, попробуем определить его место в отношении как к стихам вообще, так и к прозе.

В природе языка мы находим три вида сгущения звучания: слог, слово и предложение. Отсюда три ступени сгущения мысли, три типа речи.

Первый тип опирается на слог. Упорядоченное количество слогов при упорядоченном распределении ударений «стягивается» в строку, пределом которой может быть рифма. Это и есть привычное нам стопное стихосложение — силлаботоника (или силлабометрика).

Второй тип имеет своей основой предложение с логическим, или фразовым, ударением. Это — проза, которая (как и стихи) может быть как художественной, так и нехудожественной (деловой).

Третий тип имеет своей основой отдельное слово²,

¹ Эти заметки не касаются стиховедческих работ, где верлибр обычно определяется через отсутствие в нем определенных признаков (рифмы, размера), то есть отрицательно. В этом смысле свободный стих не является предметом стиховедения и традиционной поэтики. Больше результатов может дать подход с использованием правил риторики, логики и семантического анализа.

² См. статью А. Метса «О свободном стихе»: «Свободный стих представляет собой качественный скачок — переход от слогового стиля речи к новой стихии — к стихии полнозначного слова. Основой, единицей в свободном стихе становится любое значимое слово...» (сб. «Писатель и жизнь», 1978, с. 71). Можно

то есть в идеале каждое слово является носителем логического (смыслового) ударения. Уплотнение смыслового ударения влечет за собой особое отношение к выбору слов, к их распределению друг относительно друга, к большей связи логического (понятийного) в языке с образным.

В диалоге Платона «Горгий» происходит такая беседа:

«С о к р а т: Теперь скажи, если отнять у поэзии в целом напев, ритм и размер, останется ли что, кроме слов?»

К а л л и к л: Ровно ничего».

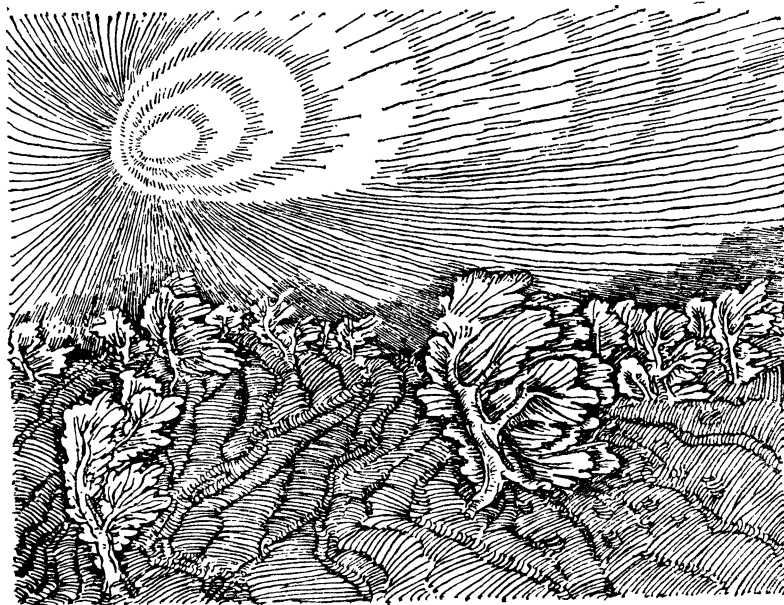
Тем не менее это «ничего, кроме слов» тоже может быть поэзией.

Можно определить верлибр как стих с пословным ударением. Графическая вертикальная запись наглядно подчеркивает этот прием. Возможен и нехудожественный верлибр внутри деловой прозы: «Расслабленность, простота и молчание — с этими тремя вещами на сцене надо быть очень осторожным... Нет ничего более убийственного на сцене, как

расслабленность бессилия,
простота бедной фантазии и
бесстрастное молчание».

(В. Пансо. «Труд и талант в творчестве актера», 1972.)

представить себе не качественный, но количественный переход в виде ряда переходных форм (тонический безрифменный стих, белый дольник, логоэдические размеры, прозостих и т. д.).



М. А. Волошина

Рисунки М. А. Волошина.

В рукописных, дореволюционных текстах можно найти места, более похожие на стихи, чем на прозу, хотя в системе записи одно от другого не отделялось вплоть до XVIII века:

Корабль не пройдет
пучиной морской
без кормчего. Так
праведник не спасется,
если не примет
ложных клевет
и напастий.

(Успенский сборник, XII—XIII вв. стр. 491. М., 1971. Запись приближена мною к современной.)

В конце XVIII века у нас в России окончательно сложились два способа записи: стиховая (построчная) и прозаическая — абзацная. В XX веке можно уже сказать, что три типа художественной речи записываются тремя способами, так как стих с пословным ударением (верлибр) вырабатывает еще и строично-абзацный способ. В XVIII веке находим первые примеры собственно литературного свободного стиха у Сумарокова, у Кантемира, у Григория Сковороды:

...И моряк теряет управление кораблем.
Наш ум никогда не останется праздным;
Он всегда любит чем-нибудь заниматься.
Если не найдет хорошего занятия,
Он обратится к дурному.
Снабжай его тем, чтобы он мог славно потрудиться.
Но прекрасным
И не слишком многим.
Так ты можешь избежать злейшей тоски
И достичь сладкой жизни.

(1763)

Сковорода уверенно отделяет эти опыты от прозаических: «Прекращаю писать стихи, ибо мне кажется, будто я из камня выжимаю воду. Лучше прозою что-нибудь».

Ясно, что проза, разбитая произвольно или по интонационному признаку на строки, отнюдь не становится стихами, или, вернее, поэзией. Попытки опровергнуть этот тезис являют собой образцы неправильного применения. Так, не звучали бы курьезно следующие строки, будь они записаны, как им и подобает, прозой:

Никакого отношения
К вашим заботам
Сейчас это, я думаю,
Не имеет,—
Отбрила она меня.
— Обождите здесь, я уточню,
Когда будет директор!

(В. Гончаров. «Страницы переживания», «Советская Россия», 1972. Аннотация утверждает, будто это «свободный стих».)

Теперь о том, в каком отношении верлибр находится к «канону». Ю. В. Рождественский в послесловии к работе В. С. Спирина «Построение древнекитайских текстов» пишет: «Канон, или канонический текст, понимается прежде всего как изложение начал некоторой деятельности, духовной и практической, в том числе и начал мыслительной деятельности и этики. Это прагматическое понимание канона. Но канон как текст внутренне обладает еще одним свойством — правильностью формы содержания, представленной в текстах».

Этот признак канона делает отличным канонический текст от других разновидностей текстов, например от «ши» — стихов и «шу» — прозаических текстов, и

всегда осознается независимо от характера предметного содержания. Вот почему разные философы и разные философские школы, подчас спорящие между собой о предметной и духовной интерпретации канонических текстов, создавали новые правильные тексты в форме канона. Таким образом, как правильно полагает автор (т. е. В. С. Спирин. — В. К.), канон есть не стихи и не проза, а третий вид формы текста (подч. мною. — В. К.), обладающий своей конструкцией, своей правильностью формы. Правильность здесь, в определенном смысле, выступает синонимом логической истинности, если понимать под логикой аппарат выведения и «разведения» понятий» (1976, стр. 226).

Именно этот «третий вид формы текста», «канон», строится по признаку понятийно-словесного выделения, он и является историческим истоком современного верлибра¹.

Если всегда «канон» был одним из источников содержания литературы, то верлибр в новое время обращается к его форме.

Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» обратил внимание на следующее: «Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рождение верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно подмывает его сердце родные звуки нашей песни». Точно определение Гоголя — «рождение верховной трезвости ума», — и это по отношению к текстам, происхождение которых тесно связывают с мистическим наитием. Анализ таких текстов показывает, что они прежде всего точно выстроены. Весь корпус церковнославянских текстов с точки зрения своей оформленности есть неисчерпаемый источник свободного стиха. Вот типичное построение в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Даже при прозаической записи ритм самоопределяющихся, вернее, взаимоопределяющихся слов заставляет отличать этот текст от прозаического.

Переключка слов, создающая ритм пословного ударения, оформляет речь и распределяет новые, накопленные смыслы. Слово определяется как Бог и принадлежность Бога. Бог сам определяется как Слово, все это определяется как «начало», фундамент исторического мира. И все это создано фактически тремя словами.

Такое сгущение речи может выделяться не только строками, но и нумерацией периодов, как в следующем древнерусском апокрифе — «Сказание, како сотвори Бог Адама»: «...взем земли горсть от осьми частей: 1) от земли — тело, 2) от камня — кости, 3) от моря — кровь, 4) от солнца — очи, 5) от облака — мысли, 6) от света — свет...» (По списку XVII в.) Затем этот

¹ См. у В. В. Виноградова: «Русский церковнославянский литературный язык уже при своем историческом становлении усваивает некоторые из предшествующих литературно-поэтических структур, например организационные системы молитвословного стиха. Молитвословный стих (в более узком понимании называемый кондакарным), по определению Тарановского, — это свободный несиллабический стих целого ряда церковных молитв и славословий, обнаруживающий наиболее четкую ритмическую структуру в акафистах («История русского литературного языка», 1978, стр. 261). Там же соответствующие нашему пониманию примеры из «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона (XI в.), «Моления Даниила Заточника» (XII—XIII в.) и др., а также размышления о народном сказовом стихе гномического типа, который можно считать одним из народных источников свободного стиха».

апокриф переключается в «Стих о Голубиной книге»; вот как цитирует отрывок оттуда Сергей Есенин в «Ключах Марии»:

У нас помыслы от облак божьих...
Дух от ветра...
Глаза от солнца...
Кровь от черного моря...
Кости от камней...

Из русских поэтов начала нашего века мостик от древних текстов к современному верлибру прокладывали многие, более других — Велемир Хлебников и Николай Рерих. В стихах Рериха славянский канон сопрягается с восточным, индийско-тибетским:

Мы не знаем. Но они знают.
Камни знают. Даже знают
деревья. И помнят,
помнят, кто назвал горы
и реки.
Кто сложил бывшие
города. Кто имя дал
незапамятным странам.
Неведомые нам слова.
Все они полны смысла.
Все полно подвигов.
Везде
герои прошли...

Свободный стих растет также из накопленной речевой эрудиции родного языка, фонда его пословиц, поговорок, загадок, народной афористики. С другой стороны, ему свойственно перерабатывать язык и аучной прозы, стиль научного определения, закона. И это понятно, ведь любая система постулатов и

теорем уже есть речь логически сгущенная, выделенная, организованная. Поэзия лишь как бы пародирует научную прозу, заменяя понятийные ряды образными, художественными. Точно так же «пародируется» стиль массовой коммуникации — фактографический язык газеты, радио, кино, телевидения. Возможно, что нужно было какое-то время для естественного развития этих новых стилей, связанных с применением технических средств переработки информации, чтобы это получило соответствующее отражение в литературных стилях не только по подобию, но и по контрасту.

Становление русского свободного стиха началось не сегодня, но отношение к нему как к лаборатории вряд ли когда-либо выражалось так явно. Мы слишком не доверяем литературным опытам, забывая, что без проб и ошибок нет и достижений, нет развития.

Евгений Замятин в лекциях по теории литературы, как было принято около полувека назад, называл свободный стих «прозаическим» и писал: «Примеров свободного прозаического стиха можно найти много, особенно у романтиков, как Гейне, Гёте, Блока. Эпитет «прозаический» — отнюдь не в осуждение: наоборот, раз мы признаем вместе с Белым, что «проза — есть тончайшая, сложнейшая и полнозвучнейшая из поэзий», то «прозаический стих» — есть показатель (для меня) высшего развития поэтического дара у автора, высшего развития музыкального слуха, уже не довольствующегося грубым, рубленным, метрическим стихом... Очень показательно, что... «прозаический стих» является на высших ступенях развития литературы...».

Опыт поэзии Запада показывает, что свободный стих, появившийся действительно на высших ступенях развития, сам по себе может быть образцом как взлета, так и распада определенного художественного мировоззрения. В своей практике мы должны помнить об этом.

Владимир Бурич

* * *

Здравствуй мальчик
со шрамом
через всю щеку
оставленным складкой на подушке

Здравствуй

Пусть тебе никогда не приснится
вой бомбы

* * *

Я заглянул к себе ночью в окно

И увидел
что меня там нет

И понял
что меня может не быть

ВРЕМЯ ИКС

В комбине зоне и маске
с дозиметром перед собою
иду
беру интервью у земли

расскажи
что случилось
чем тебя отравили

смертельнобольная
твое последнее желание

ты меня не узнала
я стал похож на гада

я тебя не узнал
ты покрылась
язвами
лунных цирков

* * *

Мир
рухнул
когда оказалось
что моя разбомбленная школа
была в середине красной

Мир
рухнул
когда я увидел
что переулок
который я считал до этого вечным
перерезали
противотанковыми рвами

Мир
рухнул
когда в замерзшем аквариуме я увидел
удивленные глаза
рыбок

Он рухнул
и превратился в бездну
которую невозможно заполнить
ни телами любимых женщин
ни стихами.

* * *

Вот так встреча
на каменном рынке —
веник
племянник нашего стога сена

Целую его в желтую челку
вдыхаю его запах

Это же я
я
правнук
засыпанного колодца

Анатолий Ким

* * *

Прямо —
это росчерк пути
метеорита.
Прямо —
немыслимый иначе путь
на мощный зов цели.
Прямо —
это огненный, мгновенный след
и тихий вздох людей:
— Звезда сгорела!

Юрий Орлицкий

* * *

Старые письма
обжигают пальцы.
Старые фотографии
сжигают глаза.
Когда-нибудь
я пойду по земле
слепой
и безрукый.

Иван Ахметьев

* * *

Я встретил двух маленьких близнецов
и хотя они были совершенно одинаковы
посмотрел на меня
только один

Лариса Румарчук

* * *

Я позвонила вечером в квартиру одного музыканта.
И пьяный шум вечеринки развязно ворвался в уши,
как только в ящике звякнула
теплая от моих пальцев монета.
Там голоса хрипели заезженной пластинкой
и кто-то ругал кого-то,
а кто-то кому-то клялся в дружбе до гроба.
И только нежная музыка,
как пенье маленькой птицы,
звенела и тихо жаловалась,
как будто искала выхода
в форточку или трубку.
Хозяйина звать я не стала.
Я вышла из душной будки
на воздух
и капли пота
стерла рукой со лба.
И было мне жалко музыки
да еще, пожалуй, монеты,
с таким трудом мною добытой
у продавщицы в киоске «Союзпечати».

ЧЕЛОВЕК ОСТАВИЛ СЕБЯ

Человек оставил себя.
Он оставил себя в зале ожидания на вокзале
между румяным солдатом и старухой с двумя мешками
и сказал: — Посиди, я скоро вернусь. —
Уходя, он оглянулся, чтобы запомнить приметы:
с одной стороны буфет,
с другой — дверь с вывеской «Начальник вокзала».
Оглянувшись, он помахал рукой себе, сидящему на скамейке
между румяным солдатом и старухой с двумя мешками,
помахал и нырнул в толпу.

Человек больше не вернулся
Было ли это злоумышленно,
или он просто заблудился?
Не знаю...

Венедим Симоненко

* * *

Если у вас ребенок —
весь мир наполнен дыханием младенцев,
чистым и прекрасным,
чистым и прекрасным.

Наталья Бокадорова

СЛОВО

Слово... Какую долгую прожило жизнь
А звуки — все те же и те же...
Я слышу их гул, разнесенный по земле римскими легионами
Они роняли слова в дремучих кельтских лесах
Слова повторялись в сложенных наспах жилищах
Повторяли тысячи варваров
В поле — слова, в жилищах — слова, в пляске — слова
Слова мечом завоевывали столицы
И вот — слова пишут, печатают, множат
Слова — станки, слова — машины, слова — провода
Но вдруг за громыхающим словом мы слышим породивший его звук —
И снова — мы на лугу, на такой зеленой траве
какой уже не бывает в XX веке
А рядом — избы, и нет дорог, и никуда не уедешь
И этот лес с текущей тихо-тихо рекой
Спокоен, не снят на пленку, не растерян в тысяче глаз
И жизнь в нелегком труде по кругу праздника и ритуала
идет из года в год
И только там, за рекой — беспокойно
Оттуда могут прийти косматые, чужие люди
И непонятен их язык, непонятны цели
И будет нарушен крепкий круг жизни
Но будем повторять достойные слова
Словами выживем и укрепимся

Анна Молдавская

* * *

Учитель
сердит на меня за то, что я
плохо готовлю уроки
и, значит,
не люблю науку.

Родители
сердиты на меня за то, что я
мало им помогаю
и, значит,
не люблю их.

Но
я знаю человека, который
больше всех
сердит на меня
за то, что я
попыталась
объясниться
ему
в любви.

Татьяна Томпакова

* * *

Представила
что каждый другой человек — Я

В каждом моя радость и боль
любовь и ненависть
взлет и падение

У каждого моя плоть
оболочка с пятью близорукими чувствами
требующими «дай мое»
В каждом мое стремление быть понятым другим
и непониманье другого
В каждом человеке моя вселенная
звезды связанные в созвездия музыки слов

Представила
что каждый другой человек — Я
и стало за этого другого страшно

Полюбила людей за их непохожесть

Но теперь покоя не дает вопрос
«А какие они — ДРУГИЕ?»

Александр Ревич

* * *

Дерево стояло у порога
у порога дома
у порога жизни
и простора
куда вводила дорога

Дерево с широкой лиственной кроной

В начале всего было дерево
кажется — клен.

Сколько раз убежище я находил под листвой
от дождя
от раскаленных лучей,

а в листве —
от родительской взбучки

Потом я узнал
что дерево может укрыть
от осколка и пули
Беззащитное —
оно защищало

Гром
Падают первые капли

Бегом
под листву!

Ольга Полену

МАЛЬЧИК, ИГРАЮЩИЙ НА ПИАНИНО

Маленький мальчик
неумело, неуверенно играл упражнения.
Потом бойко отбарабанил назойливую песенку.
Вдруг зазвучало что-то полновзвучное,
рождающее жизнь, взывающее к жизни,
утверждающее жизнь, даже самую неприметную.
Это — «Сурок» Бетховена.

Пальцы мальчика на клавишах, его русые
волосы
озарились светом.
«Это — «Сурок» Бетховена, — объяснил он, —
но до конца я не умею его играть».
Он закрыл крышку пианино,
И свет, озаривший его, погас.

* * *

На сетке занавески
Появилась тень цветка, —
Очерченная точно, во плоти,
Только цвет иной...
Вторая жизнь...

Наталья Сидорина

НА ВЫСТАВКЕ ДЮРЕРА

Святые
со страданием на удлинённых лицах,
с нимбами над головой,
с младенцами на руках
заполнили храм.

А маленькая нечисть
сидит на пороге
и плачет,
и причитает
человеческим голосом.

* * *

Вымерли огромные птицы.
Погибли высокие травы.
Природа приспособилась
к размерам человека.

Лев Озеров

* * *

Море в тумане.
Только и вижу
Лодку у ног
И смутную искру солнца
В неопределенной дали
Или вблизи,

Но только она и одна
Пронизывает это промозглое пространство
Надеждой на ясность,
На краску, на самое море,
Которое сейчас скрыто от глаз
И только угадывается...

* * *

Птица улетела — гнездо осталось.
Гнездо разорили — дерево цветет.
Дерево повалено — пень белеет.
Сажусь на пень — пишу эту песнь
О птице, что улетела...

Вячеслав Куприянов

УРОК АРИФМЕТИКИ

Из пустыни
вычитаем пустыню
получаем
поле

Степь
возводим в степень
получаем
сад

Складываем
сад и поле
получаем
плоды и хлеб

Делим
получаем
дружбу

Умножаем
получаем
жизнь

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК:

к нему
доброжелательней стали
знакомые,
незнакомые
пожелали знакомства.

Днем и ночью
шастают возле него
деловитые люди с лопатами
и глядят на него
с укоризной.

Деловитым людям с лопатами
предстоит двойная работа:
публично его зарыть
и тайно
сызнова вырыть.

В сердце его
подозревают
золотые
россыпи.

УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать землю
у него расходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает на волю
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются расстояния
у него не выходят границы
он верит:
Горы должны быть не выше надежды
море должно быть не глубже печали
счастье должно быть
не дальше земли
земля должна быть
не больше
детского сердца

СЕНСАЦИИ ВЕКА

Романтические умы калькуляторов
с точностью до невероятности утверждают
что Землю посещали пришельцы из Космоса
иначе
кто бы тогда произвел
обезьяну в человеки

Рассудительные верхогляды
в час по чайной ложке
собирают сведения
о летающих тарелочках
которые грезятся над Землей
голодающим детям сытой планеты

Ветренные люди
в Калифорнии и на Памире
ищут Снежного Человека

Человека
несомненно
необходимо найти

СТРАШНАЯ СКАЗКА

СТРАШНЫЕ ВРЕМЕНА

уходят все дальше
натываются
на время ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
от которой мы родились
уходят в испуге
в ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ
обмениваются своими страхами
с другими страшными временами
становятся еще страшнее
друг на друга глядят великими глазами
подговаривают друг друга:
не дожидаться ли
безвременья —
не вернуться ли
в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Да хранит нас
ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ
первой
любви

СУМЕРКИ ТЩЕСЛАВИЯ

Каждую ночь
мертвец
приподнимает гробовую плиту
и проверяет на ощупь:
не стерлось ли
имя
на камне?

Ирина Озерова

* * *

Я завидую памятникам,
Памятникам разных эпох.
Массивные постаменты
Связывают их с землей.
И если в гранит упираются
Не ноги, а копыта коня,—
Это неважно:
Герой состоит, как кентавр,
Из единой гранитной плоти.

Памятники ставят
Преимущественно в средних широтах,

А в средних широтах
Не бывает землетрясений.
И потому я завидую памятникам,
Которые не знают,
Что значит
Почва, уходящая из-под ног.

А кому завидовали некоторые
Из этих бронзовых и гранитных людей
В ту пору,
Когда еще были живыми?!

Виктор Широков

СТРАННОЕ ЧУВСТВО

Странное чувство
мною овладело,
словно я никогда
не выходил на улицу,
словно я никогда
не видел белого света,
упруго бьющего в лицо.

И я вспомнил
солнечное детство,
мохнатого мотылька,

белого и упругого,
бьющегося в ладонях...

Солнечный луч
сместился,
словно прошел
сквозь призму воды
прозрачно-зеленоватой.

Тоненькая леска,
на которой висит время.

Николай Панченко

ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ

Так будет называться моя первая книга стихов. Хотя выйдет она — если вообще когда-нибудь выйдет — последней. Поскольку автор ее — семнадцати-двадцатилетний солдат — в вопросах издательских был невинен и еще не писал стихи, но записывал все как на душу ляжет. «Ложилось» же по-разному: и с недозволенным для печати озорством, и без достаточного почтения к событиям, участником которых я был. Словом, в этих «пробах пера» много одностороннего, позволенного лишь в том случае, если их рассматривать не как исторические свидетельства, но как факты моей биографии.

За практической ненадобностью и привычной для моего поколения неустроенностью быта многие из них утеряны. Остались те (сотня — полторы), что врезались в память и определили дальнейшие книги. Несколько таких стихотворений из своего «архива» я мужественно предлагаю редколлегии «Дня поэзии». Ибо начала наши к нашим итогам имеют прямое отношение.

* * *

Нагая дева снилась мне —
Восточных прелестей избыток,
Но, отвернувшись, будто не
Умел прочесть сей древний свиток,
Я горько думал: что я мог?
Ужель опять удел поэта —

Сплетенье рук, сплетенье ног
И миг пронзающего света?

Шептал я: «Женщина, зачем
Во имя вспышки, не во имя?..»
И свет сочился из очей
Слезами детскими моими.

* * *

Ушли мальчишками, вернулись взрослыми,
Скорей широкими, чем низкорослыми,
Коротконогими, с руками долгими,
С руками долгими,
Глазами волглыми.

Который год они на солнце сушатся,
Покуда старые дороги рушатся,
Покуда новые пути устроятся —
Глаза солдатские травой укроются.

Гуляйте, детушки, по жирной травушке,
Да не завидуйте солдатской славушке...

1950—1980

ЕРЕМА

(1941—1943)

1

Мой друг закадычный Ерема —
Лукавый мужик, от земли,
Везде он, проклятый, как дома,
А дом его немцы сожгли.

Ерема, однако, не тужит,
Но, малость нажав на басы:
— Нам, — скажет, — не может быть хуже,
А стало быть, все как часы.

Сгорели прирубы косые
И дом, что железом покрыт,
Куда ни посмотришь, Россия
Взрывается, глохнет, горит.

Ерема, Ерема, Ерема!
Нужны же хотя бы дома,
Чтоб душу от дома до дома
Пустая таскала сума.

Посмотрит Ерема: осилим!
Развяжет кисет не спеша,

Как скажет:

а что есть Россия,
Когда не едина душа?..

2

Мы в среду Ерему женили
Чин чином — с приходским попом.
И в чем только нас не винили,
И как не склоняли потом!

Штрафбат-де за это и вышка,
Поскольку наносите вред.
Но сделано дело — и крышка! —
Пути к отступлению нет.

А стоит, ей-богу, штрафбата,
Когда через эти лета
На память — как фото солдата —
Останется хоть сирота.

И пусть, ожидая известий,
Дрожит человечья душа...

Другая причина в невесте:
Уж больно коса хороша!

Все разом ее оценили
И миром на этой косе,
Кого отличила, женили —
И вроде как счастливы все.

3

Играет со вздохом гармошка,
Поскольку пробиты меха.
Еще не убитый Сережка
Грозится убить жениха.

— Дурак! — улыбнется Ерема.
— Дурак! — согласится Фома.—
А вот коровяк и солома
Свободно идут на дома.

За полночь у́сну я в телеге,
Под самой высокой звездой,
Где песнь мне о вещем Олеге
Проламкает сеном гнедой.

Где будут по-прежнему спорить
Фома и Ерема о том,
Что дерево — ёшь его в корень! —
А глина-то вон под мостом.

Что, год убивая за годом,
Не чохом вернешь города. . .

Мы были тогда не с народом,
Мы были народом тогда.

1945,

госпиталь 2904

Владимир Лазарев

ВСЛЕД ЗА ВОЕННЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Вслед за военным поколением,
Прошедшим смертный круг войны,
Напором жизни — как велением —
Мы свод времен держать должны.

Мы выросли на голодухе,
На черном хлебе маеты,
Мы выросли на мощном духе
Народной горькой правоты.
И с детства взгляд вобрал детский
Беду людскую, смертный вал.
Сказал когда-то Достоевский —
Про сердце, раненное с детства
Страданьем... Как бы светом резким
Нас высветил, предугадал:
Вот смысл, что нас роднит сполна —
И городских, и деревенских.
И в звездном мальчишке смоленском,
О ком горюет вся страна,
Туманно из глубин вселенских
Все та же слышится струна.

А сердце, раненное с детства,
Вдруг отзовется песней дерзкой.
Пусть наша музыка резка —
Мы строим дом, мы в вихре стружек,
Но все ж пульсирует сквозь стужу
И наша хрипящая строка.

О, эти яростные споры
О смысле почвы и небес.

И эти бороды, к которым
Вновь как бы старый вкус воскрес.

Ищу: на что все это отклик,
Хоть с бородою или без?..
Возник какой-то новый облик.
Какой-то новый интерес.

Душа горела и металась,
Найдя нелегкие черты.
Но все же ей доступна жалость,
Живое чувство доброты.

Нам все — и просека, и жатва,
И звук космического старта,
И перепад погод — под стать.
Но только не уйти от факта:
Мы умирали от инфаркта
И в сорок лет, и в тридцать пять.

Все это — времени улики.
Какую чашу нам испить?
В народной Памяти великой
Глубинную ли свяжем нить?

Какое разыграем действо?
Какая ждет еще нас боль?
Но сердце, раненное с детства,—
Да исповедует любовь!

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В НОЧЬ
НА 22 ИЮНЯ 1981 ГОДА

В эту ночь
Над Москвой разразилась гроза.
Раскальвалась черная твердь.
И огромные глыбы неба,
Срываясь, летели вниз
На городские крыши...
Казалось, там, наверху,
Где мелькали неясные тени,—
Шла титаническая работа:
Молнии врубались в косые бугристые склоны,

Разворачивая пространство,—
Казалось, там, в глубине
Вырисовывался монумент.
К подножию его сходились тьмы убитых.
И дождь при этом был неожиданно ровен.
А внизу просыпались живые.
Молнии выхватывали зыбкий мир вещей
И трепетали на миллионах лиц.
Волнение прокатилось по свету.
Я душой искал брата,
Погибшего сорок лет назад в бездне войны.

СПАС ЯРОЕ ОКО

(Из стихов о Куликовской битве)

Так тайно волнует, глубоко
Посеянный в сердце моем
Холодным седеющим днем
Мерцающий строгим огнем
Спас Ярое Око.

И веющий мощью вселенской,
Извечную музыку для,
Звучит этот образ в Успенском
Высоком соборе Кремля.

Зеленые темные тени,
Суровый оливковый взгляд.
Струятся морщины терпенья.
И чувство — что как бы селенья
В невидимом мире горят,
В снегах, в круговерти пространства...
Смотрю, ощущаю, скорблю.
И страстно, и даже пристрастно
Я живопись эту люблю.

Коричневый тон и белила.
Неблагодатна скорби струна.
И ярмарка чувств отступила.
И той аскетической силой
Душа моя потрясена.
Вот-вот в ней сверкнет постиженье —
В Москве, в этой строгой тиши,—
И чувствую я притяженье,
Соборность народной души.

Не только звучанье молитвы
В той шестивековой дали,
Но в сердцебиении слитном
Я слышу и отзвуки битвы
За освобождение земли.

Затем так волнует глубоко
В Успенском соборе Кремля,
Раздумья мои опала,
Сей образ —
Спас Ярое Око.

* * *

Был я осторожен. И пощечин
Яростного мира избегал.
Отстранялся, во спасенье лгал.
Но, проснувшись вдруг однажды ночью,
Тяжко понял: этот круг порочен,
Потому что ложен и непрочен.
И всю ночь всю жизнь я вспоминал.

Софья Петренко

НАСЛЕДСТВО

Мой отец был сражен,
Защищая тебя, Революция.
Не осталось следа —
Жил ли, не жил балтийский матрос?
Кровь впитала тельняшка,
Шинель его черная, куцая,
А дыханье последнее
Мартовский ветер разнес.

Ничего не осталось?
А я,
Я — кровинка его и наследница?
По булыжнику в рваных опорках бреду.
То пуржит, то дождит,
То пылящая улица стелется.
Тут огрызок найду
Иль в канаве сорву лебеду.

Я глотаю слюну.
Рты жующие важны и скупы.
Я волчонком гляжу,
Слов просительных не говоря.

Мне моряк в бескозырке
На ладошку в чесоточных стружьях
Отвалил половину
Солдатского сухаря.

Не пропала в теплушках,
В махорочной хмари вокзала
Плоть и совесть твоя,
И, как ты, я вставала в ружье.
Я наследство твое —
Революцию — защищала
На крутых рубежах
И форпостах ее.

Мой родимый,
Мой юный,
Мы давно разменялись годами
И давно будто рядом
В строю неделимом идем.
И трепещет высоко
Багряное знамя над нами,
И сердца полыхают огнем.

Владимир Осинин

* * *

Мы отходили — колесили,
Почти с отчаяньем в груди.
И разоренной пол-России
Уже осталось позади.

И устрашали нас не пули,
Не скрежет стали под Москвой,
А то, что будто обманули
Себя мы сами в час такой.

Вдруг правда встала перед нами,
По-матерински обняла
И вровень с темными лесами
Геройским духом вознесла.

Мы можем в чем-то ошибаться,
По льду житейскому скользя,
Но только ниже опускаться
Нам никогда уже нельзя.

Юрий Мельников

САЛЮТ МИРУ

За Кенигсбергом это было:
Весенний вечер,
тишина...

Нас вдруг
мгновенно охватила
Весть,
Что окончилась война.

И мы
Всю ночь тогда не спали,
Стреляли в небо столько раз!
И миру
так салютовали,
Что звезды сыпались
на нас.

Светлана Кузнецова

* * *

Милый друг, веселясь и горя
На сплошной вековой мерзлоте,
Так раскованно вдруг говорю я
О роскошной своей простоте.

Мне не только глядеть не полезно,—
Чтобы выжить, не надо мне знать,
Как упрямо ложится железо
На сибирскую трудную гать.

СНЕГУРОЧКА

Какая тьма меня тогда слепила,
Когда, забыв про все, в родном дому
Сама себя лепила и слепила,
Не нужной и не милой никому?

Слепила, повела крутою бровью,
Свою округу оценила вновь.
Невелика вина перед любовью,
Поскольку мне неведома любовь.

Невелика вина перед друзьями,
Она во мне несколько не болит.

* * *

Снег неустанен, и снег неуклонен.
Пала на округ родной пелена.
Можешь сегодня быть мною доволен,
Ибо печальна и ибо одна.

Нет на столе ни закуски, ни водки,
Нет непрочитанной книги в дому.
Замыслы робки и помыслы кротки,
Все это вместе как счастье приму.

Хватит! Помучила вдоволь певучесть
На перепутьях, от века глухих,

* * *

Горьковатый дымок дымокура
Над единственной в мире рекой...
Скоро ль память облезет, как шкура,
Осудив на блаженный покой?
От заката к восходу старея,
Каждой скорбью бессчетно скорбя,

Потому что невиданно краток
И невиданно беден мой миг,
Не измерен в якутских каратах,
Не исчислен страницами книг.

Этот миг от тумана густого
До небесной сквозной чистоты,
От сибирского дна золотого
До высокой моей нищеты.

Друзья, пируйте с новыми князьями,
А мне теперь обида не велит.

Тепло литого золота истратив
На холод и сверканье серебра,
Не собирать мне более собратьев
Не затевать весеннего костра.

Цветок любимый на морозе вянет.
От изморози в комнате светло.
...Но почему меня так властно тянет
Текущее зеркальное стекло?

Коль не сибирская злая живучесть,
Я никогда б не осилила их.

Хватит! Надежные заперты двери.
Сыграна жизнь, и в итоге — ничья.
Где-то пусть сами спасаются звери,
Кто от капкана, а кто от ружья.

Не образумит меня укоризна,
Не утвердит меня в прежних правах.
Стынет прекрасное слово Отчизна
Сладкою льдинкой на горьких губах.

Я молю свою память скорее
Износиться, истратить себя.
Чтобы сердце, как птица в неволе,
Позабыло про роскошь рябин,
Чтобы руки не помнили боле
Тот медвежий лихой карабин.

* * *

Пропела труба и зазывно и звонко.
Хотите — поверьте, хотите — проверьте,
Открытие «я» осеняет ребенка
В момент постиженья им ужаса смерти.
Я смертен... Но я же живу, существую,
И так мое «я» на других непохоже...
Меня похоронят? Живого? Живую?
Не верю! — когда-то шептала я тоже.
Шептала ночами, зарывшись в подушку,
Укрывшись от страхов ночных с головою.
Я жизнь прожила, доломала игрушку
И вот ухожу за осенней листвою.
С собой уношу я лишь память ночлега,
Отчетливость сна и неясность яви

Да полные пригоршни талого снега,
Что лег на последней озябшей отаве.
Я, свыкшись с уходом, себя открываю
Вторично, гораздо больнее и злее,
Как бабочке, крылья душе обрываю,
Нисколько, бедняжку, ее не жалея.
Зачем ей порхать, если в землю ложиться?
Земною жила, доживай как земная, —
Мне с этим единством удобнее сжиться,
Чем с тем, что возможна ей участь иная.
Познания наши — познания ребенка,
Хотите — поверьте, хотите — проверьте.
Пропела труба и зазывно и звонко
На белой поляне в преддверии смерти.

Олег Кочетков

ИМЯ

Холодит и беспокоит ветер
Сумрачное, редкое жнивье.
Ты зачем на этом белом свете —
Имя древнерусское мое?
Что тебе от этого простора,
И земли, продутой сквозняком?
Где тебе с отсрочкой или скоро
Уготован горестный укром.
Что тебе от этого напева
Вечность обнимающих ветров?

Где твое мучительное древо,
У каких исчезнувших дворов?
Даль знобит и дышит так глубоко!
Всяк здесь равен: мертвый и живой.
Почему ж тебе так одиноко —
Перед этой ширью ветровой?
На какую и на чью потребу
Ты в миру блуждаешь — не понять...
Раз произнесенное под небом —
Ты летишь, летишь к нему опять...

ПАМЯТЬ

Лежал в чистом поле, касаясь
Дыханием тяжким заката.
Стонал, что-то вспомнить пытаюсь...
Казалось ему, что когда-то
Он так же лежал, умирая,
В траве, на безлесой равнине,
И пеплилось солнце, сгорая.
И мысли о доме, о сыне
Вот так же под сердцем болели,
В предсмертную скорбь воплотившись;
И так же ромашки алели,
К дыханью его прислонившись,
И так же ресницы смежила
Тумана ослизлая стылость.
Лежал он, а в памяти живо
Вся жизнь перед ним пронесилась:
Как в поле ходил за сохой,
Как верил коню да булату.
Он слева пошарил рукою:
«Где меч?» — И нащупал... гранату.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И МОЛОДЫЕ
КРИТИКИ*Полемиические заметки*

В глазах критиков младшего поколения, вступившего в литературу в 70-е годы, традиция предстает как не об о х о д и м о е условие подлинного поэтического творчества. Еще каких-нибудь лет десять назад лозунг традиции настойчиво выдвигали только критики определенного «направления»; ныне же о безусловном значении поэтической традиции постоянно говорят если не все, то по крайней мере подавляющее большинство критиков новой генерации.

Чтобы не быть голословным, назову хотя бы несколько имен, в 70-х годах так или иначе утвердившихся в критике поэзии: Александра Истогина, Валентин Курбатов, Анатолий Пикач, Леонид Таганов, Владимир Федоров, Игорь Шайтанов. Один из наиболее значительных представителей этого поколения, Сергей Небольсин, убедительно доказывает, что «верность традиции отчетливо обнаруживает в себе явную гарантию высокого качества... Современный авторитетный на Западе литературовед говорит о бесперспективности развития традиции. «Традиционная поэзия... — читаем у Дж. Эллена, — зашла в тупик. Надо быть гением, чтобы произвести в этих формах что-нибудь достойное внимания». Но, — метко заключает Сергей Небольсин, — именно этим скептик сам себя опровергает. Он против воли свидетельствует о необычайно важном. Да, т р а д и ц и я буквально требует г е н и а л ь н о с т и. Именно она помогает опознать межумочность в искусстве. И... иногда именно поэтому путем широко рекламируемой новизны идет посредственность».

Понятие «гениальность» возникло в этой полемике (то есть явилось у обоих авторов) от остроты проблемы; вернее будет сказать, что развивать традицию могут только п о д л и н н ы е поэты. Развивать традицию — это ведь в сущности значит вбирать в свое творчество предшествующую историю поэзии и наращивать собственный художественный мир на столь богатейшей и глубочайшей основе.

* * *

Современные критики младшего поколения так или иначе сознают это. Анатолий Пикач пишет, например, следующее: «Мир Вознесенского насквозь конструктивен. Его метафоры с м о н т и р о в а н ы... Вознесенский очень рано отделился от «школы» не только Маяковского, но и — Пастернака». Независимо от Пикача о том же говорит другой молодой критик — Павел Нерлер: «Генеалогия вегинской поэтики почти очевидна. Вместе (а точнее вслед) с Вознесенским, Соснорой он пребывает на той ветви русского поэтического древа, которая через Кирсанова, Асеева и некоторых других тянется к Маяковскому, но до него почти не доходит, замыкаясь всего чаще именно на Кирсанове... Петр Вегин никогда не задавал тона, он как бы аккомпанировал Вознесенскому, но в последние годы уровни поэтов сблизились»¹.

¹ Павел Нерлер здесь едва ли справедлив; общий уровень стиха Вознесенского и сейчас несомненно выше, чем у его «соратников».

Уже сама по себе г л у б и н а традиции предстает в глазах критиков как гарантия поэтической ценности, и это совершенно правильно. Если «ветвь» (а точнее, монтажная конструкция) стиха всецело «замыкается» на стихах некоторых авторов 1920-х годов, вопрос о ценности приобретает проблематический характер. Это превосходно показал в статье о том же Вознесенском критик старшего поколения Владимир Гусев. Он, в отличие от критической молодежи, ни в коей мере не «бранил» Вознесенского; он поставил перед собой задачу раскрыть, если угодно, его «д р а м у».

Вознесенский, писал Владимир Гусев, «поэт того прошлого, которое на некий исторический миг овладело некоторыми умами «типично XX века»; того прошлого, которому почудилось, что можно — без простой теплоты, без давней традиции, без прямой любви, без «неопосредованного» чувства, без открытой гармонии, без ясного, свободного разума, без природы, без неба, — а лишь на одной новизне, на скорости, на углах и четких линиях, на технике, на фантастике, на механике, на крутой энергии, на (узко понимаемой) «практике», на (механически понимаемой) науке».

Был момент, когда сам XX век давал некоторые основания для такой трактовки жизни.

Но если и был, то давно прошел.

Да и был ли...»

И в самом деле: такого «XX века» в глубоком смысле н е б ы л о, ибо традиция не умирает никогда. Но был момент, когда многим представлялось, что традиция все же прервалась. К этому моменту и восходит генеалогия Вознесенского.

Именно это вызывает недовольство молодых критиков. Рассуждая о стихах, которые представляют им воплощением поэтической ценности, эти критики обычно стремятся так или иначе утвердить их место в большой традиции отечественной и мировой поэзии.

Так, например, Нерлер пишет о чрезвычайно высоко им ценимом авторе следующее: «Арсений Тарковский — прежде всего поэт, или, по Блоку, — сын гармонии. То сочетание слова и звука, смысла и интонации, которое мы находим в его стихах, не просто гармонично — оно образцово гармонично... Нам, современникам поэта, не пристало гадать о месте, которое займет Арсений Тарковский в живой летописи русской литературы. Но уже сейчас многие его стихотворения просеяты в антологию». Поскольку Нерлер ссылается на «пушкинскую речь» Блока, его слова неизбежно и недвусмысленно воспринимаются как провозглашение Арсения Тарковского вернейшим наследником пушкинской традиции; кроме того, критик явно имеет в виду здесь антологию, в которой свои «места» занимают также Пушкин, Боратынский, Тютчев...

Я убежден, что Нерлер (и вместе с ним ряд других молодых критиков — почему и стоит об этом говорить подробно) совершает заведомую ошибку, усматривая в стихе Тарковского воплощение т а к о й традиции. «Генеалогия» стиха Арсения Тарковского (если воспользоваться терминами Нерлера) «замыкается» в том

же самом периоде литературы, что и «генеалогия» Вознесенского (то есть, говоря точно, во второй половине 1920-х годов) — хотя замыкается она в существенно иной «школе».

Но прежде чем мы обратимся к этой генеалогии, следует подчеркнуть, что речь идет именно о проблеме традиции, а не об общей характеристике стиха Тарковского (и других упоминаемых в этой статье авторов). В стихе Тарковского, без сомнения, есть свои немалые достоинства, привлекающие ныне внимание довольно широких читательских кругов. Полемический пафос этой статьи обращен к статьям критиков, которые не продуманно или даже попросту легкомысленно оперируют большими и сложными понятиями («классическая традиция», «пушкинская гармония», «духовная высота» и т. п.), понятиями, для действительного освоения которых необходимы и тщательное конкретное исследование истории поэзии, и широкий размах теоретических обобщений.

Выявить «генеалогию» стиха Тарковского гораздо труднее, нежели определить «истoki» стиха Вознесенского. Все знают, что в поэзии 1920-х годов большую роль играли представители акмеизма, футуризма (вернее — «лефовства»), имажинизма, конструктивизма и т. п. течений. Но мало или даже совсем не известно, что во второй половине двадцатых годов в какой-то период возобладала поэты, которые стремились быть «неоклассиками». Само это название выдвинула еще в 1918 году группа стихотворцев, основанная позднее, в 1922 году, издательство «Неоклассики». В том же 1922 году вышел альманах группы «Лирический круг», в котором провозглашалась идея современной «классики».

В манифесте «неоклассиков» предлагалось писать стихи «на базисе чистого классицизма, обогащенного всеми достижениями новых и новейших литературных школ, без уклонения в их крайности и аномальности», а «классики» («Лирический круг») вторили этому так: «В русле классической традиции бережно вводятся и тревога футуристических ритмов, и тяжесть кубистических массивов, и огненность экспрессионистских бессмыслиц. Ими молодеет традиция».

К середине 1920-х годов «неоклассические» стремления охватили очень широкий круг стихотворцев. Достаточно сказать, что один из лидеров группы «Лирический круг», Георгий Шенгели, в 1925 году стал председателем Всероссийского союза поэтов (ранее этот пост занимали футурист Каменский, имажинист Шершеневич и т. п.). В изданиях Всероссийского союза поэтов, а также в стихотворных книгах известного издательства «Никитинские субботники» (писатели, объединенные вокруг него, так или иначе тяготели к «классике») с 1925 года явно господствовала «неоклассическая» школа. Это особенно очевидно выступает в альманахах Всероссийского союза поэтов «Стык» (1925) и «Новые стихи» (1926—1927) и издательства «Никитинские субботники», «Свисток» (1926) и «Две зари» (1927), где, кстати сказать, и состоялась одна из первых публикаций двадцатилетнего тогда Арсения Тарковского.

В декларации, предвещающей второй выпуск альманаха «Новые стихи» (в ряде отношений аналогичного современному «Дню поэзии»), говорилось: «В русской поэзии намечается знаменательный процесс сплава отдельных литературных школ в единое течение...»

Я процитировал несколько «неоклассических» манифестов, но во всех них решительно выдвигается одна и та же главная цель — соединение, «сплав» отдельных направлений, школ, тенденций тогдашней поэзии в своего рода «гармоническое» единство, которое мыслится как «возрождение» классики. И это

совершенно верно отражало стихотворную практику «неоклассиков».

Но получалось ли в результате нечто действительно родственное классике? Видный критик поэзии второй половины 1920-х годов А. Лежнев определял ее главное течение как «лефоакмеизм», то есть именно как «сплав», казалось бы, заведомо несовместимых тенденций. И это определение гораздо более адекватно, чем термин «неоклассика».

Именно в «комплексной» школе лефоакмеизма сложился в конце 20-х годов стих Арсения Тарковского — и так и развивался в последующие десятилетия в этом духе. Необходимо обратить внимание на тот очевидный факт, что стих, например, Заболоцкого и Пастернака пережил в 30—40-х годах громадные коренные изменения (обусловленные в конечном счете развитием самого отечественного бытия и сознания): мы без всякого труда отличим стихотворения этих поэтов, созданные в 1920-х годах и, с другой стороны, в 1950-х годах. Между тем стихи Тарковского любого периода (от 1920-х до 1970-х годов) более или менее однотипны.

Говоря об Арсении Тарковском, современные критики, как правило, подчеркивают именно «комплексный» характер его стиха. Б. Рунин писал в апофеозной по тону статье: «Лирика А. Тарковского с естественностью возникла на пересечении традиций... которые благодаря ему образовали неповторимый сплав (выделено мною. — В. К.). В его стихах слышатся отголоски и более ранних, и более поздних литературных событий. Порой мы ощущаем в его творчестве что-то торжественно державинское, порой улавливаем драматические ноты тютчевской философичности, а некоторые ассоциативные нити уводят нас уже к Мандельштаму, Пастернаку, Заболоцкому».

Тут надо сделать два уточнения. Во-первых, «отголоски» — это слишком неопределенное слово; те или иные «отголоски» можно найти у любого поэта, но далеко не каждому поэту подходит определение «сплав». Во-вторых, «что-то торжественное» пришло в стихи Тарковского скорее всего от Мандельштама, а «ноты философичности» — от Заболоцкого.

Александр Кушнер писал недавно: «На Пастернака, Заболоцкого, Мандельштама оглядывается в своей точной и сдержанной манере Тарковский. Встречаются у него явные совпадения с ними... Но не эта ли учеба молодого поэта у старших подняла зрелого Тарковского на высоту лучших его стихов?»

Очень характерно здесь утверждение «старшинства» Заболоцкого, хотя поэт всего лишь на четыре года старше Тарковского, а печататься начал даже одновременно с ним — в 1926 году! Но «ошибку» Кушнера вполне можно понять. Заболоцкий как поэт совершенно суверенен и потому всегда остается «старшим». (Павел Антокольский вспоминал о послевоенном времени: «Заболоцкий был моложе меня на целых семь лет, но... он казался самым старшим».) В стихе Тарковского недостает именно суверенности. И Перлер (как и ряд других критиков) заблуждается в своем стремлении понять комплексную, «лефоакмеистическую» природу этого стиха как нечто «классическое». Между прочим, очень характерно процитированное выше суждение Перлера об «образцовой гармоничности» стиха Тарковского. Впечатление «образцовости» (настоящей классике вовсе не свойственное) объясняется чисто внутрстиховой, так сказать, лабораторной выработкой «сплава» разных стилевых тенденций — от лефовства до акмеизма.

И совершенно напрасно вспоминает Перлер в своей статье пушкинскую речь Блока. Очень уместно было бы вспомнить как раз совсем иное блоковское выступление 1918 года, где он с замечательной точностью уло-

выл самое зарождение того, что позднее было названо лефоакмеизмом. Блок рассказывает о стихах молодого человека, «представляющих популярную смесь ф у т у р и с т и ч е с к и х восклицаний с символическими шепотами... По простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять — двадцать человек, которые ценят и знают его стихи». Далее этот юноша говорит о себе и своей среде: «Мы живем только стихами».

Блок очень точно обрисовал здесь только лишь нарождавшееся явление, которое затем довольно широко распространилось и выразилось в целой школе лефоакмеизма, считавшего себя неким возрожденным классицизмом.

* * *

Итак, мы постарались проследить действительную генеалогию Арсения Тарковского. Конечно, тема здесь лишь намечена (подробнее я разбираю вопрос о «неоклассике» на страницах альманаха «Поэзия», выпуск 31). Занявшись вплотную этим вопросом, Нерлер и его единомышленники, создающие ныне своего рода культ Арсения Тарковского как чуть ли не единственного наследника Пушкина, многое, я уверен, поняли бы иначе.

Следует, в частности, обратить внимание на тот факт, что попытка некоего «возрождения» классической традиции во второй половине 20-х годов была в сущности п р е ж д е в р е м е н н о й и никак не могла состояться. С другой стороны, невозможно было достигнуть указанной цели на собственно л и т е р а т у р н о м пути.

Для возрождения классической традиции, которое совершалось в зрелом творчестве Заболоцкого, Пастернака, Твардовского, необходимо было, если угодно, глубочайшее духовное п о т р я с е н и е — подобное тому, которое описано в своего рода программном стихотворении Заболоцкого «Это было давно». «Потрясение», испытанное Заболоцким, не только привело к окончательному коренному преобразованию его поэзии, но и внутренне отделило его от большинства людей его круга.

Очень характерны два фрагмента из мемуаров, рассказывающих о зиме 1946—1947 годов:

«Часто зимой я ездила с Николаем Алексеевичем в Москву... Ходил поезд с грязными и закопченными ледяными вагонами, в которых сидели главным образом укутанные молочницы с бидонами, жуя хлеб и лузгая семечки».

В рассказе мемуаристки нет даже намека на стремление понять, что эти «молочницы» в большинстве своем — военные вдовы, обремененные малолетними детьми, что они с трудом добывают корм для своих коров, что они встают до света и с бидонами за спиной идут несколько километров до станции и т. д.

Но вот о том же самом рассказывает сын Заболоцкого: «Как-то мы ездили в Москву всей семьей, и отец говорил нам о людях, которые каждый день рано утром спешат в город: «Думать за них должен я, в этом призвание истинного писателя».

Великая Отечественная война имела несомненно решающее значение для возрождения классической традиции. Это замечательно выразилось в статье Твардовского «Пушкин» (1949):

«Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина... Но... в дни Отечественной войны, в дни острой, незабываемой боли за родную землю... я, как, должно быть, и многие другие люди моего поколения, увидел, что до сих пор еще не знал Пушкина. Я вдруг почувствовал в полную меру своей души ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова...»

И все это обращалось сегодняшним днем, потому что восторг вызывался не той или иной блестящей строкой, а тем, что все это — родина, все это мое неотъемлемое достояние, гордость и честь, вера и слава и не может быть на земле силы, которая могла бы отринуть это».

Заболоцкий писал 20 июня 1945 года из поселка под Карагандой о «Слове о полку Игореве»: «Я вошел в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения... В пустыне веков, где камня на камне не оставалось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот... собор нашей древней славы... и будет стоять веками, доколе будет жива культура русская.

Есть в классической латыни литые, звенящие, как металлы, строки, но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: какое счастье, боже мой, быть русским человеком!»

Традиция в самом деле способна возрождаться только лишь на пути таких глубочайших и целостных потрясений духа. Никакие стилевые «сплавы» здесь не помогут...

И столь характерное для ряда молодых критиков представление, согласно которому стихи Тарковского являются наиболее истинным продолжением пушкинской традиции, сложилось в конечном счете на основе недостаточного знания истории поэзии за последние полвека.

Статья Нерлера, о которой шла речь, называется «Высокая нота». Духовная в ы с о т а, «высокость» эстетики, этики и самой поэтической мысли — это в самом деле одно из неотъемлемых качеств классической традиции. Дело, конечно, вовсе не в том, что эта традиция связана с какой-либо идеализацией мира. Дело идет об определенной высоте самого в з г л я д а на «предмет» — пусть даже заведомо «низменный» предмет.

Нерлер, как и другие молодые критики, знает об этой необходимой духовной высоте, завоеванной классикой, но усматривает ее продолжение в строках, где ее явно нет.

«В таком замечательном стихотворении, как «Первые свидания», — пишет П. Нерлер, — вслед за вдохновенным описанием преображенного любовью мира... Тарковский взял бессмысленно высокую ноту, нашел тот е д и н с т в е н н ы й образ, те единственные слова, которые не просто не «уронили» стихотворение, но подняли его на новый, неожиданный уровень:

...Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке».

На самом же деле в этом образе «возвышено» то, чего нельзя было возвышать. Блок писал, что «кровапролитие становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием». А в стихах Тарковского дело идет вовсе не о «священном безумии», но о том, что вполне можно назвать пошлым, бытовым, обиходным «безумием». И возвышать э т о безумие — значит заведомо утратить высоту взгляда, высоту мысли (которая так ясно воплощена в суждении Блока) и одновременно (поскольку речь идет о художественном образе) нравственно-эстетическую высоту.

Между прочим, естественно было бы услышать похожую «ноту» у Мандельштама (на него-то Тарковский вполне мог бы, по слову А. Кушнера, «оглянуться») — Мандельштама, который писал именно о тоскливой пошлости того «безумия», чья

Власть отвратительна, как руки брадобрея...

Здесь, кстати, естественно напрашивается прямая переключка с «б р и т в о ю», но уже не в «романтическом», а именно в «отвратительном» ключе...

Чтобы отчетливее выявить проблему недостатка «высоты» взгляда, имеет смысл обратиться к аналогичному (хотя тематически совсем иному) «срыву» в стихах Вознесенского, о «высоте» которого современные молодые критики имеют, кажется, объективное представление. В свое время он написал на шумевшие стихи «Стриптиз», где попытался представить этот чисто коммерческий модный аттракцион в духе некой вселенской мистерии:

...Апокалипсисом воеет саксофон!
Проклинаю твой, Вселенная, масштаб,
Марсианское сплыве на мостах,
Проклинаю, обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз...

Казалось бы, Вознесенский должен был как-то учесть хотя бы уроки знаменитого фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1959), где стриптиз изображен именно как «т о с к л и в о - п о ш л ы й» феномен зрелищного бизнеса. Но высоту взгляда нельзя заимствовать...

Словом, Нерлер ошибается, усматривая кардинальные различия между Вознесенским и Тарковским с точки зрения и проблемы традиции вообще, и проблемы «высоты».

К сожалению, попытка «находить» духовную высоту там, где ее нет, вообще характерны для некоторых современных критиков младшего поколения. Вот, скажем, С. Чупринин дал своей статье о стихах Юнны Мориц название «Над уровнем жизни». Он утверждает, что «у поэта, настигнутого вдохновением, словно бы всякий раз прорастают крылья... Прорастают затем, чтобы широким и свободным взмахом вознести душу и талант над уровнем бедной и брэнной бытности, в разреженные высоты...».

Но вот стихи Юнны Мориц из книги «Третий глаз» (1980), говорящие, казалось бы, именно о стремлении к «высоте»:

Я думаю о будущем не так,
Как думают о выручке воскресной...
Я думаю о будущем своем
Не как пирующий купец венецианский...

Что это за странная «высота», точкой отсчета для которой служат «воскресная выручка» и «пир венецианского купца»¹, связанный, очевидно, опять-таки с крупной «выручкой»? Это можно понять лишь в том смысле, что автор ставит перед собой задачу продемонстрировать весь громадный «волнистый путь» от «бедной», даже жалкой «бытности» воскресных выручек к тому, что критик С. Чупринин назвал «разреженными высотами».

Да, автор явно стремится достичь высоты. Он провозглашает, что «не где-нибудь» там, откуда появляется «воскресная выручка», но

Над океанской бездной мы живем
И счастья ждем от бездны океанской.

¹ Хотя здесь неизбежно вспоминается известная комедия самого Шекспира. Это еще не способно родить представления о «высоком».

Над ней клокочет наш волнистый путь,
Трещат под ветром дрогнувшие снасти.
Над этой бездной — а не где-нибудь! —
О будущем подумать в нашей власти.
О будущем подумать, глядя вдаль,
И вглубь, и ввысь, в глаза планет далеких.
Поэзия — дешевка, лгунья, шваль! —
Без этих взглядов, дальних и высоких.

Итак, предлагается совершить на «нашем волнистом пути» гигантский прыжок от воскресных выручек и пиров венецианского купца (способных породить, очевидно, лишь такую «поэзию», которая заслуживает имени «дешевки» и «швали») к поистине вселенскому будущему. Автор еще раз подчеркивает:

Я думаю о будущем не так,
Как думают о выручке воскресной.
Я думаю о нем, как белый маг
О тайнописи думает небесной.

Но каков же итог «волнистого пути»? В чем воплотится «тайнопись» будущего? Заключительные строки стихов «Я думаю о будущем...» дают вполне ясную, недвусмысленную формулу:

Раздастся трубный голос добрых сил —
И свет, и воздух будет наша прибыль.

Таким образом, конечная «высота» отличается от исходного низкого уровня «воскресной выручки» только лишь, так сказать, о б ъ е м о м «прибыли». В предельно «высоком» будущем в состав «прибыли» должны войти «и свет, и воздух».

Цело в том, однако, что свет и воздух (и, между прочим, также вода и земля, то есть остальные основные стихии) не могут быть «прибылью». Они способны быть благом для человека лишь до тех пор, пока они «ничьи» (божья — как говорили в старину). Если они становятся элементом чьей-то «прибыли» — это означает катастрофу в отношениях человека и Природы (не говоря уже об отношениях между людьми).

И уж конечно в представлении о том, что в «идеальном» будущем свет и воздух должны быть чьей-то «п р и б ы л ь ю», нет никакой «высоты». Это всего лишь гипертрофированный вариант идеала «воскресной выручки» и «пира венецианского купца»...

* * *

В заключение оговорюсь еще раз, что речь шла в этой статье прежде всего о к р и т и к а х, несобственно провозглашающих истинными продолжателями великой классической традиции (с присущей ей гармонией и духовной высотой) тех или иных сегодняшних авторов, а не о самих этих авторах, занимающих конечно же свое — каждый особое — место в современном литературном процессе. К этому следует добавить, что я отнюдь не покушаюсь на право любого критика восхищаться любыми стихами, но мне представляются весьма неплодотворными и, в сущности, дезориентирующими читателя статьи, в которых современные стихи голословно причисляются к великой классической традиции и тем самым становятся в один ряд с наследием Пушкина, Тютчева, Блока...

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О
ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Когда противопоставляют лирическую поэзию гражданской, то первая всегда выступает как поэзия второго сорта, как поэзия, имеющая в жизни общества меньшее значение, чем вторая. А на самом деле оба вида поэзии важны в современном обществе, но важны по-разному. Объяснить это не просто.

Поэзия, как и всякое искусство, имеет своей функцией некую «элевацию», крайне важную в нравственном и художественном значениях. Оба эти значения в искусстве, впрочем, сливаются: этика и эстетика едины во всяком искусстве.

В поэзии материал — это слово. Поэзия борется со словом, с его тяжестью, косностью, преодолевает его ограниченность — ограниченность его значений, его звучания, ограниченность его «материальности» в целом. Так в танце балерина преодолевает тяжесть собственного тела, достигает «элевации». В живописи художник преодолевает однозначность цвета и косность линии. В скульптуре преодолевается сопротивляемость мрамора, бронзы, дерева... В каждом искусстве художник заставляет забыть о материале искусства или, напротив, заставляет удивляться тому, как преодолевается его материальность. Художник как бы борется с материалом, из которого творит, и в этой борьбе обязан вести борьбу с легкостью и виртуозностью (о виртуозности помнят только в музыке, и то только в исполнительском мастерстве).

Во имя чего ведется эта борьба с материалом? Художник вскрывает, обнаруживает, «вырачивает» в материальном духовность. Он одухотворяет материал. Духовное начало, вскрытое в материале, — это вторая ступень в творчестве. Первая — форма, вторая — содержание. Это очень приблизительное деление, ибо нет формы без содержания и содержания без формы. Но примите это условное деление произведения искусства на форму и содержание как «рабочую гипотезу», как временную «лестницу истолкования».

В поэзии за словом (формой, материей) обнаруживается нечто такое, что не может быть определено словом, выражено словом, что больше чем слово, что стоит над ним и обнаруживается только в совокупности слов. Это содержание поэзии, которое создается сочетанием слов и особенно действует своею «бесплотностью», своей неуловимой для рационального объяснения силой, невозможностью переменить, переставить, заменить слова. «Только так и никак иначе» готова в слове проявиться его сверхсловесная духовность.

У Пушкина есть стихи, в которых нет метафор, эпитетов, того, что мы называем образностью, но магия его слов так необыкновенна, что в них ничего нельзя переменить, и «духовность» их выявлена с необыкновенной элевацией. Помните:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

И это не единственные стихи Пушкина подобного художественного аскетизма. Помните и эти стихи:

...Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня...

Я не продолжаю: стихи эти всякий знает наизусть. Это чудо, чудо преображения слова, потому что в них читается гораздо больше того, что выражают отдельные слова.

К какой же сфере относится эта вторая ступень лирической поэзии? На чем строится ее содержание? Лирическая поэзия становится искусством, строя свое содержание на основе жизни поэта — вбирая эту жизнь, перерабатывая ее, одухотворяя.

В лирической поэзии происходит не только преодоление слова, но и преодоление жизни.

Лирическая поэзия — это искусство художественного преображения жизни. В поэзии художник, творец через свою жизнь входит в область духа, в какое-то наджизненное пространство, где преодолевается не только материальная тяжесть слова, но и ограниченность человеческой жизни. В лирической поэзии прошлое и будущее сливаются с настоящим. Помните лирическую поэзию Пушкина. Основная тема его лирики — воспоминание, но воспоминание как часть настоящего и будущего — близкого и просветленного конца.

Это сгущение всего своего жизненного времени у Пушкина в коротком лирическом стихотворении — настоящее чудо. Его произведения можно сравнить только с явлениями ядерной физики, где строение ядра атома бесконечно сложно и одновременно просто, чем-то напоминая строение вселенной.

И вот тут мы подходим к самому главному. Преображая собственную жизнь, собственные жизненные впечатления, поэт творит и целеную силу своей поэзии. В этой целебной, даже сверхцелебной, силе — ее колоссальнейшее значение в современной жизни. В современном мире техники, науки, сложных человеческих отношений, слабости традиции — дух человека необыкновенно раним.

Ему ежедневно нужна помощь, поэтическое утешение, поэтическое преображение даже самых мелочных жизненных ситуаций, в которые он неожиданно попадает. Стихи заменяют ему молитвы, примиряют его с тем, с чем нужно примириться, и, как музыка, помогают ему действовать, когда это совершенно необходимо.

Стихами поэт создает для себя и одновременно для читающего и слушающего его «модель реагирования» на окружающее (да простит мне читатель это модное и слишком часто повторяющееся слово — «модель»). Эта «модель реагирования», которую дают стихи, помогает человеку нравственно и эстетически. Она-то и «лечит» человека. Поэтому-то человек и ищет себе поэта, близкого ему по духу, твердит его стихи. С ними бодрствует, с ними засыпает вечером, их вспоминает поутру.

Счастлив тот, кто нашел для себя «свои», любимые стихи.

Чувствую, что пора перейти к современной поэзии. Конечно, после Пушкина это очень трудно.

Трудно говорить после стихов Пушкина о ком-либо

другом. Но все же читатель не может не интересоваться работой своих современников.

В последний год я нашел для себя близкие стихи в творчестве Арсения Тарковского, особенно в его сборнике «Зимний день».

Приведу пример. У Арсения Тарковского есть замечательные стихи «Григорий Сковорода». Вот эти:

Не искал ни жилища, ни пища,
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
Изо всех государей Псалтыри.

Почему написаны эти строки? Догадываюсь: потому что в их теме А. Тарковский обнаружил что-то ему бесконечно родное и, я бы сказал, «утраченное».

Что моя догадка не просто догадка, а понимание его стихов, я могу показать. Вот другие стихи, поставленные в сборнике «Зимний день» рядом с процитированными выше. Это стихи «Где целовали стень курганы». В них есть такие строки:

Я жил, невольно подражая
Григорию Сковороде.
Я грыз его благословенный,
Священный каменный сухарь,
Но по лицу моей вселенной
Он до меня прошел, как царь.

Григорий Сковорода в поэзии А. А. Тарковского — это только образ, образ наджизненного смысла человеческого существования самого поэта, смысла, выраженного в мотивах скитальчества, царственной нищеты и бесконечной степи, углубленной в тысячелетия:

Где спали каменные бабы
В календаре былых времен...

Тема «нищеты» проходит через многие стихи А. А. Тарковского. Это не нищета бедности, разумеется, а нищета нужды в чем-то большем, образ духовной неудовлетворенности, образ скитальчества духа. Поэтому-то в поэзии А. А. Тарковского «нищета» — и царственная, и древняя.

А. А. Тарковский живет всеми временами своей жизни, всем своим жизненным «скитальческим» путем, начиная с далекого детства. И поэтому его родной Елизаветград, где он родился и учился в гимназии, продолжает быть одним из мест обитания его сегодняшней поэзии:

Еще в ушах стоит и звон и гром,
У, как трезвонил вагоновожатый!
Туда ходил трамвай, и там была
Неспешная и мелкая река,
Вся в камыше и ряске.

Я и Вала
Сидим верхом на пушке у ворот
В Казенный сад, где двухсотлетний дуб,
Мороженщики, будка с лимонадом
И в спней раковине музыканты.

С рассказа в прошедшем времени поэт незаметно перешел к настоящему. Вся жизнь для него сложилась в одно вневременное целое. И детство, проведенное в Елизаветграде, счастливые мгновения, когда он сидел с брагом на пушках крепости «Святой Екатерины», для него не прошлое, а лишь «одна восьмая жизни», которую слышно «как из-под подушки», но все же слышно —

В полбарабана, в полтрубы, в полфлейты
И в четверть сна, в одну восьмую жизни.

По существу в поэзии А. А. Тарковского нет ни настоящего, ни ушедшего в неизвестность прошлого, а есть единое, полное глубокого смысла духовное явление, откуда протягиваются нити в будущее, — не только в то, которого еще нет, но и в то будущее, которое уже было. Чтобы понять это, вдумайтесь в продолжение этих стихов, где он говорит о себе и о своем погибшем в молодости брате Вале:

Мы оба
(в летних шляпах на резинке,
В сандалиях, в матросках с якорями)
Еще не знаем, кто из нас в живых
Останется, кого из нас убьют,
О судьбах наших нет еще и речи...

«Нет речи» в тот момент, когда они оба сидят счастливыми верхом на пушках, но для А. А. Тарковского-поэта судьба человека едина, и это главное, о чем он думает в своих стихах:

Я гляжу из-под ладони
На тебя, судьба моя,
Не готовый к обороне,
Будто в Книге Бытия.

Не «готов к обороне» в Книге Бытия — это Авель. И главное в судьбе Авеля — смерть. О ней-то, никогда не называя ее, и пишет поэт. Это итог и сжатие жизни в немислимое уплотнение. И хотя в поэзии А. А. Тарковского ожидаемый им конец жизни так часто присутствует, присутствует даже в названии последней книги его стихов «Зимний день», ибо зима для него конец существования, — поэзия А. А. Тарковского глубоко оптимистична.

Оптимизм в банальном значении — это вера в благополучный исход любой жизненной передраги или даже серьезного несчастья, может быть, даже подсознательная убежденность в нескопачности своей жизни. А. А. Тарковский не такой «оптимист», совсем не такой. Не называя смерть смертью, он знает, что она придет для каждого, знает всей душой, знает всей своей поэзией (ибо поэзия — это познание, и при этом самое мудрое). Но знание это не внушает ему страха, так как он понимает значительность всего происходящего в жизни. «Странничество», «нищета», как вечная потребность в чем-то вышем, — это все явления богатства его судьбы, судьбы, в которой сливается прошлое с настоящим и будущим, которая вся — произведение искусства, а потому бесценна, потому-то и бессмертна, потому-то и счастлива, царственна, объединяет его со всей бескопечной землей, по которой он бредет:

Юность моя отошла от меня, и мешок
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я и хлеб
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой
Долей насытил свою терпеливую плоть.
Спал я, пока в изголовье моем остывал
Пепел царей и рабов и стояла в ногах
Полная чаша свинцовой азовской слезы.
Снилось мне все, что случится в грядущем со мной,
Утром очнулся и землю землею назвал,
Зною подставил еще не окрепшую грудь.

Вот почему, зная прошлое и снящееся ему будущее, он воздает хвалу земле, называя ее землей, странничеству, названному им странничеством, и нищете, названной им царственной: за ее взыскующую требовательность к земле и вселенной:

Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных
Глазам — за свет и слезы их!
Хвала всему, что было, есть и будет!

Поэзия настраивает нас воспринимать нашу жизнь и все окружающее в едином поэтическом ключе. Читатель в какой-то мере ставит себя на место поэта. Читатель с любимым поэтом, как с поводырем, проходит по жизненным трудностям, смысла которых он не видел бы один. Поэт дает нам эстетический и нравственный настрой, ключ к нашей собственной жизни, помогает с достоинством переносить невзгоды. Поэзия вра-

чает, делает нас лучше, чище, способствует возвышению души — даже в самых «невысоких» и прозаических обстоятельствах. И с этой точки зрения поэзия А. А. Тарковского дает своему читателю удивительной чистоты врачевальное искусство.

В этом острый общественный смысл лирической поэзии.

Андрей Чернов

ПАЛЕОГРАФИЯ

От «устава» до «полуустава» —
Путь неблизкий. Век, а то и два.
Может быть, рука писать устала?
Измельчали, может быть, слова?
Веке так в шестнадцатом впервые
Время вздрогнуло — пошло быстрее.
Лишь потом — машины паровые,
Весь набор коробки скоростей...
И не вязью, но чернильной брызью
По полям, по рясе, просто — в лоб.
Скоропись не попевала рысью.
Литера печатала галоп.
Бог надтреснет. Вольтерьянство минет.
Вольный плащ Гарольда отшумит.
Ученик перо в лицее чинит.
Он еще такое учинит...

* * *

От того, сколько ты прстоишь у окна
И просмотришь мне вслед из окна,
Не зависит из будущих бед — ни одна,
Из грядущих обид — ни одна.

Так зачем же мне знать, грея ветер щекой,
Что, к стеклу прижимаясь щекой,
Из-под самых небес ты мне машешь рукой,
Просто машешь и машешь рукой.

Анатолий Заяц

* * *

Этим летом
Средь ясной погоды
Я брожу над мерцанием рек.
И живу под надзором природы
Я, беспечный такой человек.

И, внимая
Зеленому гимну,

Слышно мне в голубом полусне,
Будто я никогда не погибну
На какой-то ужасной войне.

И поет жаворонок над нивой,
Что под самой красивой звездой
Будет родина вечно счастливой,
А любовь до конца молодой.

Борис Пастернак 1890—1960

«Я родился в Москве, 29 января ст. стиля 1890 г. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи Леониду Осиповичу Пастернаку и матери, превосходной пианистке.

Образование получил в Московской 5-й классической гимназии и на историко-филологическом факультете Московского университета, какой и окончил по философскому отделению в 1913 году. К литературе пришел поздно, все школьные годы отдав музыке и пропедши в ней полный курс композиции», — вот что счел нужным сказать Пастернак в своей автобиографии 1924 года.

За каждым из этих слов стоит цепь реальных событий, пережитых и преображенных в опыт художника.

Пожизненное восхищение творчеством отца первично и непосредственно сказалось в детских рисунках. Отроческое увлечение длилось недолго, оборвавшись осенью 1903 года. Рисунки сохранились среди бумаг Леонида Пастернака, неоднократно говорившего впоследствии, что из сына, захоти он этого, мог бы выйти живописец.

Этот маленький альбомчик, размером 9×15 см, содержит 34 наброска, аккуратно датированных автором. На обратной стороне обложки детским почерком выведено: «Мне 13 лет».

На вклейке «Дня поэзии» воспроизводится несколько детских рисунков Бориса Пастернака. Часть из них сделана в апреле — мае 1903 года в Петровском-Разумовском; рядом — пейзажи Оболенского, дачной местности под Обнинском, где Пастернак, услышав, как Скрябин сочиняет музыку, попал под его обаяние и, оставив рисование, шесть последующих лет посвятил музыкальной композиции. От этих занятий остались четыре законченные пьесы, самая серьезная из которых — соната для фортепиано — опубликована издательством «Советский композитор» для концертного исполнения в 1979 году.

Блестяще окончив университет со степенью кандидата философских наук, Пастернак пренебрег и философской карьерой. От долгого и трудного выбора пути, опыта потерь и отказов у него навсегда осталось чув-

ство, что «терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение».

Ничто из юношеских занятий Пастернака не пропало даром. Его стихи и проза несут в себе явные свидетельства рано развившегося пластического восприятия, профессионального владения музыкальной композицией и сложившейся в университетские годы ясности дисциплинированной мысли, наложенные на не слабеющую с годами восприимчивость и чувствительность.

В числе стихов, иллюстрирующих эти положения, пять ниже публикуемых не выбраны специально. Мы приводим их на том основании, что они еще не печатались.

Три ранних, написанных в 1912 году, недавно найдены среди бумаг университетского друга Пастернака К. Г. Локса, сохранных его ученицей С. В. Суховаловой. Наблюдательность художника и верность глаза, отметившие рисунки 1903 года, выразились достаточно ярко в этих мгновенных натуральных зарисовках площади Сан Марко в Венеции, мелкого дождя, освещенного везапным солнцем, или весенних улиц, зазвучавших после глухой зимы. Кажется, что те же пластические задачи он выполнил в другой технике.

Стихотворение «Жизнь» относится к циклу, который Пастернак назвал Фаустовским, написанному в 1919 году и частично включенному в сборник «Темы и вариации». Характерно, что тематическая живописность усилена в нем профессиональной, технологической терминологией.

Стихотворение «На страстной» отделено от предыдущих не только тридцатью годами жизни их автора, но и целой исторической эпохой. Несомненно и мастерство, с которым оно написано, простота средств и ясность передачи пластической, подвижной цельности городской природы, погруженной в таинственную и предельно напряженную атмосферу.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК

PIAZZA S. MARCO

Я лежу с моей жизнью неслышной,
С облаками, которых не смять.
Море встало и вышло, как мать,
Колыбельная чья — уже лишняя.

Потому что водоем вдовец
Приделится рифы и россыпи.
Говор дна — это скрип половиц
Под его похоронною постелью.

В серый месяц, как в старые латы,
Не вмещается лай собак.
отекают туманом телята,
И уходит в степь рыбак.

О какой он рослый в споре
С облаками. Как — он рослый?
Вскоре ты услышишь: море
Перевесят его весла.

* * *

Бесцветный дождь... как гибнущий патриций,
Чье сердце смерклося в дар повествований...
Да солнце... песнью капель без названья
И плачем плит заплачено сторицей.

Ах, дождь и солнце... странные собратья!
Один на месте, а другой без места...
Один с землею в пылкости объятья,
А где другого спетая невеста?

И дождь стоит и думает без шапки
С грустящей степью, степью за плечами.
А солнце ставит дни, как ставят бабки,
Чтобы сбивать их грязными лучами.

БЕТХОВЕН МОСТОВЫХ

Какой речистою зарей
В проталинах пылает камень!
Но кто-то в улице — второй
Каменьев задувает пламень.

Так движет иногда полы
Сосед, донесшись из-под бревен.
И вдруг... сонаты кандалы
Повлек по площади Бетховен.

Окно закрыли. Смыт побег.
Одна весна лишь над висками.
Кресты и клики пересек
Филармонический экзамен.

ЖИЗНЬ

Ты справлена в славу, осыпана хвоей,
Закапана воском и шарком
Паркетов и фрейлин, тупею в упое
От запаха краски подарков.

Со дней переплетов под лампой о крысах,
Орехах, балах, колымагах
Не выдохся спирт колеров и не высох
Туман клеевой на бумагах.

И Фаустов кафтан и атласность корсажа
Шелков Маргаритина лифа
Что влаге младенческих глаз Битепажа
Пахучая сказкой олифа.

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтыри.

Еще кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колелется земли уклад:
Они хоронят бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
 На паперти толпе калек,
 Как будто вышел человек,
 И вынес, и открыл ковчег,
 И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
 И, нарыдавшись вдосталь,
 Доходят тише изнутри
 На пустыри под фонари
 Псалтырь или апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
 Заслышав слух весенний,
 Что только-только распогодь,
 Смерть можно будет побороть
 Усильем воскресенья.

Ниже воспроизводятся страницы рукописей Бориса Пастернака разных лет. Он подчинял бытие работе без перышливости и не упуская деталей. Писал летящим, разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея.

Приводимые факсимиле — пример того, что Пастернак всю жизнь продолжал не только писать, но и рисовать листы своих рукописей.

Е. П.

Мисси!

*Ты справлена в славу, осмыслена в доброту
 Закалана в окопах и шарканьях
 Паркетных и гребельных, тупых в узлах
 Осьмь запаха краски подарочных*

*Со злом переступила над машиной о красной
 Ореховой, балач, колумелач
 Не выдохая спирты колеров, и не выдох
 Шурманя кисельной на думачак.*

*А! Флажолетов Карийан, и атласной
 Кто сажал
 Шелков Маргаритина мизра
 Митя вела младенчески над толькой
 Пахучая сказочка андид.*

*В простоту. В отъез
 (Вот, простоту) в на урван,
 И на земле, где вы жавались,
 И выжили только выжили.
 Мои горы вы были так же света
 Как их небесах и лавина.
 Но и вы были так же света,
 Как только в рамках думачак.*

*Мои горы, в выжили: в выжили
 Обрывает в ар, где все в камнях
 И выжили в думачак мизра мизра,
 И в думачак думачак мизра
 Мизра думачак. Мизра думачак: не робота
 И выжили в мизра, к мизра
 И выжили в мизра, мизра мизра,
 Как только в рамках думачак.*

*Словами. Миссиями думачак
 Думачак мизра, как на мизра
 Как на мизра, — мизра мизра
 И в мизра мизра мизра
 И выжили так мизра мизра.*

*Мои горы, мои горы мизра думачак.
 Мизра думачак, мизра думачак,
 Как только в рамках думачак.*

Миссия, мизра думачак 1950.

Миссия

Твои знаменити некрави
Не што по дрмаат вонсе,
Не како заводат архива,
Над рурките ти пресаме.

Как гледаат в тумана нестаканост
И во неј не различаат ни зми,
Малински земна неизвесност
Пурка крајот твој шат.

Друге по животу снесу
Пројдуи твој туре ја нешто посто,
Но пора неке од победо
Твој сам не дојде од стигане

Твој е животу ни ефикасност
Не отсуствуваша од што,
И овие животу животу и твојо,
Животу и твојо го жива.

5 мај 1956

Варлам Шаламов

* * *

Нет, он сегодня не учитель,
Нет, он сегодня не поэт,—
Он скопидом и расточитель
Того, чего уж в мире нет.

Что называют откровеньем,
Что мы утратили давно.
То, что нам в детстве на мгновенье
Когда-то было вручено.

Что потеряли по дороге,
Едва вступив на крестный путь,
И что мы так просили бога
Нам обязательно вернуть.

И открываются шкатулки,
Грохочут крышки сундуков,
На площади и в переулки
Бросают вороха стихов.

Пока добычей святотатства
Не стало это колдовство,
Но меры нет его богатству
И не успеть раздать всего.

И на пол падают напрасно,
И вовсе некому поднять
Признаний исповедей страстных,
Его прозрений благодать.

И в слов бушующем потоке
Признание искреннее есть.
Как мало жизнь вместила в строки,
Как много — не успело влезть.

В том, что бросают мимоходом,
Бывают лучшие слова,
И оттого-то с каждым годом
Густей седеет голова...

МОСКВА

Торопливой толпы теснота
В новом городе, снова просторном,
Где блестящая зелень щита
Для дыхания его благотворна.

Мой рабочий ночной кабинет,
Это мир его — бранный и тленный,
Окончания которому нет
В галактической дали вселенной.

Раздвигающаяся твердь
Повтореньем ракетных аккордов,
Побеждающий самую смерть
Вездесущий, всезнающий город.

Мой рабочий ночной кабинет —
Плавка руд с содержанием грома.
Даже письменный стол, как макет,
Как макет твоего космодрома.

Валентина Мальми

* * *

Ветра уже, как прежде, не горчат,
и только за полями, за лесами
как будто гуси-лебеди кричат,
да нет же — это вьюги заплясали!

Душа притихшей радости полна
и состраданья ко всему живому,

и грозный свет, что пролила луна,
скатился по холму, как по шелому.

Я рада, что неспешная вода
не леденит, а просветляет душу,—
пускай за лесом зреют холода,
вынашивая звончатую стужу!

* * *

В парке старая липа скрипела,
и, в потемках присев на скамью,
всю-то ночь одиночество цело
про любовь и разлуку мою.

И душа в эту ночь захотела,
чтобы я написала ему:
про тебя одиночество цело
и тихонько смеялось во тьму.

У меня — ни обиды, ни боли,
но в одном ты мне должен помочь:
приезжай — забери его, что ли...
Вдруг повадится петь — что ни ночь!

* * *

Когда не верю ни на грош,
что от судьбы не отвертеться,
зачем безвременная дрожь
мое охватывает сердце?

Еще дорога далека,
и горизонты неделимы,
и берега, и облака,
и все огни преодолимы.

Еще я чувствую пока
надежность в недруге и друге,
еще крепка твоя рука,
еще ни слова о разлуке,

но я тянусь уже за тот
предел, где некогда померкнут
дорога, берег, горизонт,
и облако, и друг, и недруг...

Михаил Поздняев

* * *

Еще темнее стало,
еще темнее — так,
что не видать состава,
ползущего по рельсам,
как ток по проводам.

Еще темнее... Там,
за марлевой шторой,
во тьме — проходит скорый
«Москва — Владивосток»,
как будто кто проводит
по рельсам наждаком.

Еще темнее — так,
что не видать ни зги.

И только слышен стук
стальных колес на стыках,
да скрип рессор вагонных
под спящим ездоком,
да ложечки в стакане
вибрирующий звук.

Звук ложечки казенной,
дюралевый пунктир —
единственный, последний
во тьме ориентир,
дающий ощутить
хрипящее дыханье
страны, за тепловозом
летащей по пятам.

Владимир Державин

1908—1975

Владимир Державин. . .

«Основоположник принципиально новой советской школы художественного перевода поэзии Востока» (К. Яшен), первоклассный мастер, вложивший огромный труд в воссоздание национального богатства братских народов: эпоса — армянского («Давид Са-сунский»), латышского («Лачплесис»), эстонского («Калевипоэг»), якутского («Олонхо»), «. . . явление недо-люжинное, невольно привлекающее к себе» (П. Антокольский).

Да, все это так, но у этого замечательного мастера перевода есть и собственная поэтическая судьба. . . Именно о ней — в первую очередь — размышляешь сегодня в связи с выходом маленькой книжки оригинальных стихов В. Державина «Снеговая корчага». В нее вошли стихи из первого — и единственного при жизни поэта — сборника «Стихотворения» (1936).

Сорок с лишним лет — срок немалый для поэзии, столь ошутимо мепяющейся на наших глазах, и о немногих стихах, появившихся в те же годы, что и державинские, можно сказать, что и сегодня они служат «живому обновленью чуду». Одни интересны для нас только с точки зрения темы, тогда господствовавшей, — покорение Севера, природы, другие — попыткой привить «Нобуж» — «науку об уплотнении жизни» — к стволу поэзии, третьи — как факт времени, истории. . .

Стихи Владимира Державина, не исчерпываясь ни одним из этих понятий, интересны еще и как стихи, искусство со своим на редкость цельным и оригинальным художественным миром. Этот мир вобрал в себя пласты древней русской культуры, сказки и легенды, неповторимые, уже исчезающие словечки чистой русской речи, которые он впитал — с детства — от няни-крестьянки в старинном городке Кологрив Костромской губернии, где прошли его детские годы.

И какое при всем этом пиршество красок: «пласты желтых туч», «спреданий голоса — на алых лоша-дях» (не оттуда ли и алый конь Петрова-Водкина?),

Февраль «с застежкой золотой», «розовые поэзии под инеем сквозным». . .

Мало будет сказать, что в поэте Державине жил живописец Державин. Художник по образованию — в 1925—1930-е годы он учился во ВХУТЕМАСе, одаренный ученик Р. Фалька, он смело раздвинул границы поэтического образа, обогатил его новыми сочетаниями «слов и красок»: «Еще высок закат за Араратом, но уж туманится хрустальный небосвод, где, как вино — насквозь горя гранатом, — громада воздуха поставлена на лед. А вечер, как потоп, растет и гасит розы снегов на склонах водомерных круч. Хребет Гярни в тени. Лишь главы Алагеза одни цветут поверх померкших туч».

Не случайно к этому поэтическому миру с таким интересом приглядывался в свое время Горький (примечательно, что случайно уцелевшая картина Державина, написанная в стиле гравюры на листе ватмана, — «Данте и Вергилий в аду», подарена им Горькому в благодарность за помощь в голодные годы и находится сейчас в музее имени Горького). Его стихотворением «Кубок» восхищались Пастернак и Ахматова. Ефим Чествяков, с которым в детстве поэта связывала нежная дружба, оставил портрет своего маленького друга.

Есть смысл и нам сегодня внимательнее присмотреться к этому миру. Глубже заглянуть в «Снеговую корчагу». Стихи 30-х годов — с некоторыми из них вы здесь познакомитесь — давно не переиздавались и стали библиографической редкостью. В архиве поэта осталось много неопубликованных оригинальных произведений. Собранные воедино — в книгу, они, эти произведения, хочется надеяться, подтвердят правоту слов Павла Антокольского, сказанных к 70-летию со дня рождения автора «Снеговой корчаги»: «Державин был известен как переводчик с самых разных языков, а между тем он, как говорится, поэт божьей милостью».

ИННА РОСТОВЦЕВА

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

I

Поет в лесу труба туманной влаги.
Тальник в росе в лицо с размаху хлещет.
И влипший в грязь древесный жар в овраге
Из тьмы, ногами выворочен, блещет.
И лес — пролог к неизреченной саге —
Над головою ходит и трепещет.
И вдруг между стволов просвет нежданный
И облаков дождливых отсвет рданный.

II

Катясь, кольцо серебряное суток
Приблизилось к прекрасному покою.
Как тающего льда мембрана, чуток
Стеклянный щит, звенящий под ногою

Над миром тем. Лесные окна уток
Поют осенней, кованой водою.
И хора балалаечного в чаще
Стегают струны лопнувшие чаще.

III

Утиных вод шербленая чеканка
Как сталь тверда. Прозрачным слоем — копоть
От выстрелов. Цыганская стоянка —
И холст, лохмотьями уставший хлопать
В кружащем медном пеньи полустанка
Верст за пять. . . Ночи оханье и ропот
Между стволами белыми (иль кони
Жуют овес, бряцающий в попоне?).

1930

РАЗГОВОР ДЕТЕЙ

Дождик кричал за окном.
В капельках бегали люди.
Легкое солнце светило.
Маленький сад зеленел.

М а л ь ч и к

Если бы в капельку влез,
Никогда бы не стал умыться,
Никогда бы не чистил зубов,
А прыгал бы с башни на башню,
В облаках кувыряясь!

Д е в о ч к а

А я бы гуляла в огромной траве —
В ней кузнечики больше коров.
Я бы их ловила сеткой,
В которой висят земля и небо.
Я ее видела во сне,
Когда училась летать.

С о в с е м м а л е н ь к и й
м а л ь ч и к с с о с е д н е г о
д в о р а

У меня есть дома песчинка.
У вас такой нет.
В ней большой мужик с топором.
Большой рукомойник и мыло.
Я умею надувать пузыри.

Б о л ь ш а я д е в о ч к а
Как всё о смешном говорят
Эти глупые малыши!

* * *

Нырять над крышей ворона
Сквозь желтый вечерний дым,
И елей синяя хвоя
Светлей под снегом сквозным.

Им виден заброшенной дачи
Шпаклеванный вьюгой накат,
И лыжнику лоб обагрывает
Из медной бабьи закат.

Это все отражается из физики!
Все мальчишки в меня влюблены,
Но я никого из них не люблю.
Кажется, многое очень смешно,
И очень все интересно.
Я пройду, и никто не узнает,
Никому ничего не скажу.
Никогда не буду смеяться...

Дождик замолчал, и капельки высохли.
День прошел. Год прошел.
Восемь лет.
Сорок лет...
Жили.

Все забыли.

Умерли.

От океанов ночь наступала в кимвалах.
Утро смеялось сквозь листья водой...
И снова по улицам бегали люди,
И дети, как дождик, галдели,
Теснясь на дырявом балкончике.
А жизнь, что сквозь слух деревянный
Натруженных временем лип
Оградным железом вросла в древесину,
Говорила им мокроогненной зеленью,
Смутным ропотом о полдень
И, темнея от гнева, шумела сказаньем в ночи.

1932

Овраг бултыхает бутылью
Ручья под тройной, ледяной
Корою и дышит, как память,
Коричневой глубиной.

И дышит любовь, что погибла
Давно, непомерно давно.
Лишь блещет сквозь черную воду,
Как уголья, красное дно.

1935

Геннадий Ступин

* * *

Еду, еду весь день, а леса ни на миг не качаются.
Всё березы, осины сквозные и ели мохнатые...
И деревья особой, военной породы встречаются —
Из бетона и камня, они не шумят, не качаются...
Это братских могил обелиски и серые статуи.

Корни-кости у них глубоко. Не прикрытые ветками,
Их стволы не гниют никогда, на крови возвращенные.
Словно взрывы беззвучные, окаменевшие — резкие,
По сравнению с другими деревьями, в общем-то, редкие,
Но с другими краями в сравнении — просто бессчетные.

О Россия! Дороги, леса и леса бесконечные!
И солдаты, идущие в них и под ними лежащие...
Необъятная Русь, и деревья бессчетные вечные —
Обелиски и статуи мимо летящие, встречные,
Из земной, временной глубины прямо в душу глядящие!..

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Как будто глубокая осень,
Весна холодна и грустна.
И нечему таять, и озимь
Очнется не вся ото сна...

Такою неожиданной тревогой
Сегодняшний день омрачен.
И год високосный, и много,
Иль кажется так, похорон.

* * *

Есть отчего мне быть угрюмым:
Подвержен мраку белый свет
И у вселенской смутной думы
Конца и разрешенья нет.

И нет для разума забвенья,
И времени бездушен ход,
Пространство замкнуто, движенья
Безвыходен круговорот.

И смерть слепа и неотступна,
А жизнь случайна и кратка —

Ужели и впрямь год от года
Сечется бессмертная нить?
Стареет родная природа,
Болеет — и не излечить?

Но вижу на будничных лицах,
Читаю в мелькании глаз,
Что если беда и случится —
Не с нами, не вдруг, не сейчас...

Зачем же дразнит в ней подспудно
Смысл, пронизающий века?

Зачем в моем он сердце бьется,
Мерцает жилкой на виске,
Коль очень скоро оборвется
И канет в темном далеке?

О, мука бесконечной думы
В мелькании мгновенных лет...
Есть отчего мне быть угрюмым:
Я, смертный, вечный вижу свет!

Павел Грушко

* * *

Попроще просят, пооткрытей.
Я проще бы — и сам не прочь,
да разве просто свет наитий
словесную обрящет плоть!

И злаки — вызревают в муках,
одолевая сорняки.
А сколько поиска в излуках
неровно вьющейся реки!

Судьба всему и вся выносит
свой приговор не просто так.
(А тот, кто как попроще просит, —
уж этот вовсе не проstack.)

Головоломна легкость моста,
путь мысли, ищущей слова.
И жизнь досталась мне так просто,
что просто кругом голова...

Эльмира Котляр

* * *

И это ты?
Ничего не осталось от красоты!
Ни молодого обаяния,
ни сияния,
ни улыбки милой,
той, что была твоею силой.
Одни глаза
как гроза!

Юрий Разумовский

* * *

Это было, наверно, давно...
Подожел и присел у огня
И поднес мне плохое вино
Человек, не любивший меня.

Он шутил и кривлялся, как бес,
Все святое браня и кляня...
О, как ловко он в душу залез,
Человек, не любивший меня.

Это он оттолкнул всех друзей,
Что мне были родней, чем родня,
И рассорил с любимой моей,
Человек, не любивший меня.

Олеся Николаева

* * *

Когда из больницы Филатовской
забрали меня наконец,—
со мною был дух ординаторской
и лампочки голой свинец.

Я шла среди мартовской сырости,
в поклоне горбата плечо,—
успешно успевшая вырасти,
но в мир не вписавшись еще.

СЛЕПЫЕ

Я была на собрание слепых.
Вот несколько строк скупых:
слепые дружны,
друг другу нужны.
В зальчике у них теснота,
но такая сердечная теплота!..
Слова горячие,
души зрячие.

Он со мною кутил по ночам,
Мелочишкой последней звеня,
И к безделью меня приучал
Человек, не любивший меня.

Он твердил мне: — Талант — пустяки.
Надо только вскочить на коня...—
И внушал мне пустые стихи
Человек, не любивший меня.

Я давно бы расправился с ним,—
Он не прожил бы даже и дня,—
Если б не был он мною самим,
Человек, не любивший меня.

Там что-то творилось с прохожими,
там свет по-иному зажгли,
как будто бы мертвые ожили
и в вечность толпою пошли.

И будто единою арфою
пронизаны были они
и звались Марией и Марфою
и как-то еще в эти дни...

ПАМЯТЬ

1

Я закрыл глаза
И думал,
Что мама тоже ничего не видит.
Просил:
— Найди меня, мама,
Найди...—
Она трепала мои белесые волосы
И говорила:
— Ты здесь, мой сыночек,
Ты здесь...—
Мама закрыла глаза.
Мама закрыла глаза.
Я иду по земле.
Я ищу свою маму.
То в березовой роще мелькнет,
То в рассветной сиреневой дымке,
То зарницей засветится в поле...
Когда
Ветер треплет мои поседевшие волосы,
Слышу:
— Я здесь, мой сыночек,
Я здесь.

2

Глаза у мамы
Большие, открытые, карие...
Прополол на могиле цветы,
Отвел их руками,
Поверил,
Что взгляд материнский пробьется
Лучом бесконечного света
Сквозь черную землю,
Но слышу
Голос спокойный и тихий:
— Не ищи глаза мои, сыночек,
Они, глаза мои, теперь повсюду.
Я вижу все...

3

Над могилой березка... Родная,
Дух березы отрадно вдыхать.
Голос слышится твой: — Не одна я.—
О, моя беспокойная мать,
Суждено нам, быть может, веками
Заселять нашу радость в цветы,
Овладев молодыми корнями
Восходящей к сердцам красоты.

Алла Тер-Акопян

* * *

Жить в радости, не углубляясь в недра, —
пожалуй, так верней.
Твоя душа текучей формы ветра:
ей не пустить корней.

Мечись по свету, трепетен и светел,
шумы издалека.
Ты — зрелый ветер,
ну а всякий ветер
не втиснуть в берега.

Остыну —
стану думать, как о брате,

в грядущем.

А пока
короткая иллюзия объятий
прохладна и горька.

«Разлука — блажь», — заметишь мне
и дашь ты
пучочек трын-травы.
Но не войти
в один и тот же ветер дважды
и в жизнь одну.
Увы...

Валерий Хатюшин

* * *

Как это было? — понять не могу.
Шел я по темным следам на снегу.

Глубже и глубже я в снег утопал.
Кто проходил здесь? А может, пропал?

Вдруг оглянулся, как будто на зов, —
не было больше за мною следов.

Там, за спиною моею, была
черная вьюга и снежная мгла...

* * *

Тая обиды про запас,
бывает, связи рвем с друзьями,
но жизнь всегда сближает нас
с людьми, которых стоим сами.
Мы лжи боимся, как чумы,
но для других честны всегда ли?
И вспомним, что когда-то мы
чужих надежд не оправдали...

Во зле никто не обвинит,
но ожидания напрасны,
что случай вдруг соединит
с людьми, которые прекрасны.
Мы перед совестью своей
за все ль останемся спокойны?
А жизнь приблизит к нам друзей,
которых будем мы достойны.

СКОРОСТЬ

...А время гонит лошадей.

А. С. Пушкин

День на земле такой короткий,
но никому печали нет,
что укорачиваем сроки
и без того недолгих лет.
С утра себя бросая в стремя
стальных грохочущих коней,
мы гоним время, гоним время,
чтоб день закончить поскорей.
Спешим без радости, без толку
и даже сетуем на то,

что время длится слишком долго,
не рад от этого никто.
Куда важней нам наша прихоть,
мы Землю гоним на износ,
ее раскручивая лихо
могучей тягою колес.
Но в гуще уличного шума,
в потоке бешеных машин
нам даже некогда подумать,
спросить себя: куда спешим?

Владимир Сергеев

НЕ СУДИТЕ...

Не судите женщину, —
не смейте, —
ни слова ее
и ни дела,
женщину,
которая на свете
без любви
и дня б не прожила.

В том огне
огню не раствориться.
Знать, была влюбленная
не зря,
даже если стала
небылицей
той любви студеной
заря.

Верю я
в счастливых дней соседство.
И гляди —
придет ее черед.
Что ты скажешь! —
К бешеному сердцу
никакая грязь
не пристает!

Час придет —
и снова,
чью-то душу
раскалив любовью
добела,
все бывшее
за собой разрушит,
будто жизнь
не начата была.

Тамара Жирмунская

ПРОСЬБА

Не смерти боюсь, а недуга,
хирурга, чей скальпель остер,
в глазах осторожного друга
боюсь прочесть приговор.
Не смерти боюсь, а больницы,
процеженной, скудной еды,
технички, что глухо бранится,
линолеум драя до дыр.
Не смерти боюсь, а палаты
с унылыми койками в ряд,
с мышинным халатом,
халаты,

как вражьи штандарты, висят...
Я сызмала знаю, что смертна.
На мне, как на каждом, печать
невечности.
Смерть милосердна.
Что просьбами ей докучать!
Не гибели одноминутной,
удела немногих людей,
палату прошу
поуютней
и няньку прошу
подобрей.

* * *

А. В. М.

Калитка. Клумба. Дерь сырой
с настурцией и ноготками.
Старушек подмосковных рой,
покрытых светлыми платками.

Два синих, в звездах, куполка
без пышности старорежимной,
нацеленных на облака
с надеждою непостижимой.

И за бурьяном пустыря
прекрасной женщины могила,
которую не знала я,
а если б знала, то любила.

Все подготовлено уже
каким-то мастером умелым.
И есть куда лететь душе,
когда она простится с телом.

Дмитрий Смирнов

* * *

В борьбе стихий рождалась жизнь земная,
Сквозь тьму к огню пробился человек...
Все те азы за партой познавая,
Мы торопили свой ребячий век.
Взрослея, мы влюблялись до рыданий
И целовались где-нибудь в тени,
Но радость поцелуев и свиданий
Все ж выдавали светлых глаз огни.
Как это понимал тогда учитель!
Как радовался счастьем этих встреч!
Сердечных тайн негаданный хранитель
Старался наши чувства уберечь.
Но жизнь потом решила все иначе —
Другие звезды нам сердца зажгли.
Полет любви, что в юности был начат,
Вдруг оборвался и пропал вдали...
Года великой жизненной разлуки
Пробили толщу всяческих преград
И провели сквозь рай семейной муки
И через бедствий одолимый ад...
...Весть омрачила сразу наши души...
На строгих лицах свежей скорби тень.
Учитель умер. Боль щемит и душит.
Уводит память в самый давний день,
Когда, ребячьей дорожа любовью,
Он искренне и чутко наблюдал —
Быть может, чувства озарятся новью...
Учитель крепко верил в идеал.
...Обитый гроб. Сквозь вздох слова. Могила.
Тупых лопат обычные дела.
Вдруг смерть его нас вновь соединила,
Сигнал сердцам для встречи подала.

Вадим Рабинович

* * *

Для дела размечены краткие дни,
Наверно, до самой могилы.
Осталось ли место еще для любви
В душе моей, черствой и стылой?

Я письма твои осторожно беру
И, словно чужие, читаю.
Смогу ли обрадоваться поутру
Грачиному первому граю?

Смогу ли еще удивиться пчеле,
На первый подснежник упавшей,
Когда на горячем бледном челе
Морщины усердий вчерашних?

Смогу ли, когда превращен в автомат,
В машину с душой железной,
Услышать всей кожей пронзительный хлад
Звезды, пролетевшей над бездной?

Едва ли. Едва ли! Жизнь мимо прошла.
Над тощей строкою колдуя,
Опомнившись, книжные брошу дела
И в полночь к тебе прибегу я.

По мокрому снегу, по черной воде,
Разбрызгав апрельскую слякоть.
Под милые окна... И руки к тебе
Протягивать буду и плакать.

* * *

Кланяюсь до земли Небу —
только свети.
Кланяюсь до земли Памяти —
не покидай.
Кланяюсь до земли Щедрости —
не иссякай.
Кланяюсь до земли сыну —
только живи!
Кланяюсь до земли —
Любви!

ОСТРОВ

У меня есть остров!
Там не растут пальмы,
там не живут попугаи,
там тишина... тишина...
У каждого остров свой, обитаемый:
Память!
И растет там горькое дерево,
черное дерево — ВОЙНА!
Вместо веток и листьев —
обожженные руки
и прозрачные пальчики
не доживших до нас детей.
А плоды — голубые, полные муки,
голубые глаза переживших себя
матерей.
Ти-ши-на...
Тишина, у которой есть голос

и есть очевидцы.
У которой есть гордость
и память сама.
И которой ночами бессонными снится,
как у танков уставшие траки гремят.
Память, память! Бессонная алая птица,
как вспорхнет, так легчайшие перья горят
не сгорая.
Но как молнией — лица
ушедших солдат озаряя,
озаряя тот остров, где тишина,
тишина между адом,
тишина между раем.
Если б можно забыть ад крошечный!
Война...
Остров стал бы необитаем!

* * *

Судьба старалась! Полной мерой
она отмеривала груз.
Подсчитывать свои потери?
О, я их знаю наизусть!

А все ж судьба старалась зря.
Пережила! И вот могу
увидеть песню на снегу —
как снегиря.

ОХОТА

Крыльцо ломая скобами сапог,
тугие двери вышибив, как пробки,
он влез в избу — и пять минут не мог
морозный воздух выдавить из глотки.
Из чашки теплой водки хватанув,
сел на скамейку и — каков мерзавец! —
сказал с нарочной ласкою: «Ну-ну...
Гуляете? А зверь-то здесь... Красавец!»
Мы вытолкнулись кучей на крыльцо.
Синела ночь — студеная до звона.
И лес еловых сумерек кольцо
теснил почти до самого кордона.
И — высоко, далеко — в полумгле
кололись звезды в запредельном хрусте.
И было так безмолвно на земле,
что все в душе расторгнулось для грусти.

Прости мне бегство, девочка моя,
из той невероятной части мира,
где всплеск очей — навстречу мне — маяк,
где я — почти подобие кумира.
Но — трус! — я низвержения боюсь.
Достойнее не быть — чем быть разбитым.
Прости мои неверие и грусть —
старинные сердечные обиды.
Я затаился, чтобы меж морщин
лесных оврагов, пойм и перелогов
забыть тебя, себя — среди мужчин,
в духовной спячке, как медведь в берлоге.

И странно — я взаправду ликовал
в ладу с другими, влипшими в ворота,
когда из тьмы — бездонной, как провал, —
вдруг выделил светлеющее что-то.
То вольный лось — протяжный чуткий зверь —
скоблил зубами мерзлую осину.
Под белизной нащупывая твердь,
бил в бубен снега — гулко, тяжело, сильно.
Скрипел добытым выщипанным мхом.
И вновь дробил деревья, ставя риски.
И так взошел медлительно на холм,
как будто жил — и наслаждался риском.
Застыл — в непостижимой красоте
потусторонним лунным изваяньем.
И вдруг пропал, растаял в пустоте.
А мы с трудом управились с дыханьем.
Загомонили: «Вот уж ай-лю-лю!..»
Заторопились в дом, в тепло постоя.
И кто-то крикнул: «Я его люблю!»
И всем разлил — за встречу с красотой.
Мы вышли. Охотничий припас
проверили. Картечи нарубили.
И что-то без конца светилось в нас.

Ах, как его мы в эту ночь любили!
Ах, как тебя во снах я обнимал —
под шубой, псом и порохом пропахшей.
То ликовал, то горько целовал...
А ты смеялась: «Вот ты где, пропащий!»
И так ласкала мой тревожный сон,
так простиралась трогательно, тронно,
что крестик твой (а может, медальон)
меж двух вершинок я ладонью тронул —
и обмер от смертельной красоты.
И засветилось в подсознание темном:
я — лось бегущий, мой охотник — ты...
Или не так... Наоборот... Не помню...

Я пробудился — в холоде, в поту.
Был снег в окне, зарей омытом, розов.
И слышалось за целую версту,
как сосны разрывались от морозов.
«К столу, к чайку, ребята!..»

Началось!

И вот в чаду, в чистилище рассвета
ворвался лось — тяжелый мощный лось.
Хрустел туман. Со свистом бились ветви.
Как он бежал! Он с каждым шагом рос.
Щелчки копыт сливались в мерный рокот.
Почти что вровень с кронами берез
неслись, качались два массивных рога.

А мы стояли. Отдаленный лай
скользил по следу призрачной тению.
И грузных сосен желтые тела
над нами сотрясались от волненья.
Как сойки, перещелкнулись курки.
К унтам упали теплые перчатки.
Мы ждали — заложив в стволы клыки
из пороха, латуни и свинчатки.
В проем ветвей заснеженных, как в люк,
сосед возник — то скалясь, то зевая:
«Каков красавец! Я его люблю!»
«И потому, — мелькнуло, — убиваешь...»

А он летел! И так был легок шаг,
что наст звенел, но оставался целым —
лишь прогибался, будто полый шар...
А мы стояли бесконечной цепью.
И каждый целил точно в левый бок,
в то место, где пульсировала кожа.
И каждый — выждав — выстрелил...

И все же —

он проскочил и камнем канул в бор.

• Не помню что — но что-то в глубь меня
втекло как раздражающий осадок.

Ярился егерь, псов трубой маня.
Сосед орал — с восторгом и досадой:
«Черт побери! Природа метче нас!
Облава, ружья, псы — да что в нас толку!
Какое к хрену! Он — подумать только! —
он т а к бежал, что цел остался наст!»
И два патрона — новых два — достал:
«Но я его, однако, доконаю!..»
Я посмотрел — и разом, вдруг устал.
И прочь побрел по выбитым кустам,
в снега и дали душу пеленая.

Так резко пахло мхом и беленой,
знакомым чем-то: летним, разогретым,
что я в изнеможенье, как больной,
лег под сосну — больной тоской по лету.
Но — лежа в стылом мире на спине
и углубляясь в летние аллеи, —
я ведал в сокровенной глубине,

Вадим Ковда

СОН

Дети маленькие мои,
дорогие сынок и дочка,
сгустки совести и любви,
вот я вижу вас над лесочком:

взявшись за руки, все в свету,
в солнце, в запахах трав духмяных,

что по тебе — лишь по тебе болею.
А как не ведать, ежели кусты,
меж двух холмов простершиеся с грустью,
чернели — как нательные кресты
в ночной ложбинке меж двуснежной грудью.

Что ж делать нам? Как лось — не тронув
наст —
бежать? Куда? Тесна юдоль земная.
Не убежать. Природа метче нас.
Мы все-таки друг друга доконаем.
Зима, мой друг. О том моя тоска,
что ведь обман — и праздничность, и яркость,
за коими охотничий оскал,
настойчивая преданность и ярость.
Мы вознесем друг друга в высоту
и свергнем вниз — захлебываясь болью...
Какая грусть! Так страстно красоту
искать, чтоб убивать ее любовью.

Галина Теплова

* * *

Моя любовь земная не навек.
Ее прервет последнее дыханье.
Но взор ее из затененных век
Не исказят предсмертные страданья.

Едва угаснет мимолетный свет,
Земную радость вечной утолю.
И голос мой взойдет среди комет:
— Я счастлива! Я плачу! Я люблю!

* * *

Нет, мне не жаль, что этот день угас,
Не жаль того, что солнце закатилось
За дальний лес, и в этот кроткий час
Моя печаль, как сумерки, сгустилась.
Поникла тихой тенью у стола.
Одним-одна. Без дум, без слез, без сил.

...Не жаль мне дней, в которых я жила, —
Мгновенья жаль, в котором ты любил.

Светлана Соложенкина

* * *

Повсюду музыка жила:
в золе, внутри узла,
в яичной скорлупе пыла
по океану зла.

Но мы расслышать не смогли.
Когда душа мала,

пылинкой кажется в пыли
вся музыка земли.

Под ветром дребезжит стекло...
Нет отзвука ни в ком!
Что музыкою быть могло,
то стало сквозняком.

* * *

На закате улетела роща
красной птицей...
Одинок закат сентябрьский, рощет,
темноты боится.

А чего бояться? Будет тихо,
будет звездно.
Потеплей укроют аистихи
деток в гнездах...

Мир уютен, хоть и грозен к ночи.
Светел лунный лучик...
Ничего теперь душа не хочет.
Все она получит.

В час предвечный — спрячу под подушку
ту звезду, с которой с детства дружим...
Словно бы любимую игрушку,
ставшую ненужной.

Борис Рахманин

* * *

Проезжал я по этой дороге не раз,
Узнавал уже контуры маленьких станций...
Здесь картошку купил, не успел рассчитаться,
прыгнул в тамбур и скрылся у бабки из глаз.
Ну а здесь вот
я женщину видел одну,
все кого-то искала, искала глазами...
Я увидел ее, задохнулся и замер...
В дверь бы надо мне — я же прижался к окну.
Минул год, и едва лишь дождался весны —

вновь на полку я влез, не снимая ботинок...
Вот и бабка с картошкой...
— Эй, бабка, возьми
за картошку свою юбилейный полтинник!
Дальше еду — и снова знакомый овраг,
роща темная, речка стучится о скалы...
Только женщину ту я не встречу никак.
Видно, все же нашла она
то, что искала...

Феликс Чуев

* * *

Опять во сне — начало без конца,
и, ослепленный музыкою солнца,
я должен долететь, спасти отца,
а мне спасти никак не удается.

Не то сугробы зимние, не то
белеет мрамор кладбища Гаваны,

или бугры заснеженных авто,
или могилы русского Ивана.

А небо обжигает все сильнее,
бросаясь на меня рубахой пенной,
и я взбегаю по ступенькам дней,
по черно-белым клавишам Вселенной.

Нина Королева

БЕЛОКРЫЛАЯ СИБИРЬ

Ах, Сибирь моя — золотое дно...
Белокрылая в зимах пламенных,
Там снегирь звездой постучал
В окно...
К сиротинushкам, в окно мамино.
Там стрелой блестит речка строгая.
Там метель вольна — птицелов лихой...
Там тропа моя не пологая.
До тайги грибной там подать рукой.
Там кукушкины слезы веселы —
Ах, цветочек мой фиолетовый!

А там зореньки встают с песнями,
Травы там полны разноцветами...
Там лучи в лугах земляничные,
День июньский там как олень
Высок...
А там радуги как наличники.
Там судьба моя как больной росток...
Там вздыхает лес болью давнею.
Соловьиная трель шелковая.
А дороженька туда дальняя,
Не гони коня неподкованным!

Александр Говоров

УТРО

Это утро — не в подъем
Ни стиху, ни песне.
Ах, свидание с грачом
Пахаря на пашне.

Аханье — не то совсем,
Оханье — не в жилу.
Мне ли?
Вам ли?
Всеми? —

Да,
 всем —
Душу свою живу.

Так легка и так свежа
Радость неземная...

Ох, ты утро!
Ах, душа! —
Чуткая, живая...

* * *

— Укрепи мне, разум, сердце —
Иначе не проживешь.
На великое нацелься,
Малое и так возьмешь.

В самом деле,
Неужели
Ослабели руки вдруг,
Или только в сильном теле
Может быть высокий дух?

Всей своей духовной мощью
Убеждал себя в одном:
— Укрепи! —
 взывал я ночью.
— Укрепи! —
 взываю днем.
Укрепи мне, разум, сердце —
Иначе все ни к чему...

На великое нацелься,
Малое и так возьму.

Людмила Копылова

* * *

Звери, которые видели нас
(еж нас однажды в саду разбудил).
Птицы, которые слышали нас
(дрозд нас оклевышем вишни кормил).
Да, я забыла — еще и лиса
в поле по житю неслась без оглядки.

РЕМЕСЛО

За весной, где светло, за цветеньем —
осень с вечным ее затемненьем.
Так задвинула небо — ни щелки
для дневной серебрястой иголки.
Но Левша на Руси не зевает —

Лоси волнами текли сквозь леса.
Крот выпирал, точно репа, из грядки.

Разве мы можем расстаться теперь,
если нас видели птица и зверь?

чем-то тоньше иглы поддевает
небеса в темнотище свинцовой.

Вот и свет — как с иголочки новый.

Петр Серебряков

* * *

Какой густой туман,
какой сырой и серый,
в пяти шагах не видно фонарей.
Весна,
опять весна,
и все закономерно:
и мокрый снег, и лужи на дворе.

Какой густой туман!
Вы помните в газете,
петитом на четвертой полосе:
шофер в тумане при неверном свете
разбился на обочине шоссе.

Какой густой туман!
Неопытный водитель...
Слыхали вы про это стороной...
Весна, опять весна.
Вам сколько лет, простите? —
Встречаетесь с тридцатую весной...

Встречаясь,
вы привычно пьете кофе,
ругаете туман и жидкий снег.
Вам не попасть весною в катастрофу.
Вы очень осторожный человек...

Нина Эскович

ИЮНЬСКАЯ ПШЕНИЦА

Дождик, ей на блестящие пятки
наступая, ходит женихом.
Любит солнце салочки и прятки,
«чур не я» и прячется бегом.

Снова тень, но хоть бы и темница,
туча, гром, сплошные облака,—

синевой простегана пшеница,
синева в расшиве колоска.

Возле тракта поле в лихорадке.
Растуманы, росы с молоком
проводжали девочки-солдатки...
Молодое, что ты и о ком?

Возле тракта, где похолоднее, —
ниже ростом лапушка, бледней.
А по центру правит Виринея
изумрудной лавою коней.

Изумрудной, с тенью и тревогой!
От войны июнь неотделим.
Синей-синей ниточкою волглой
память-поле тянется за ним.

СИРЕНЬ

Я знаю, я в твоём воображенье —
дремучий лес для маленьких детей.
Но так и быть,
сама приму решение,
а ты не мной, а ты собой владей.

Не для меня была игра в лошадки,
где обсыпали сахаром коня.
В снегу забор и на жердинах
шапки
январские — твои, не для меня.

В морозный час,
когда едва-едва лишь
биенье солнца слышится на льду,
пообещал: сирени наломаешь —
из года в год цвела в твоём саду.

Моя печаль касается сирени.
Пусть мне она с кустом принадлежит,
и знойных дней,
и раннего старенья
у пыльного шоссе не избежит.

Но если вдруг,
в хорошую погоду,
не я приду на шум ее ветвей, —
она сбежит почти моей походкой
в дремучий лес для маленьких детей.

Валентин Кузнецов

ВОДОПАД

Я — вода! Водопад. Я раскалываюсь
О каменные острия,
Рассыпаясь на мелкую крошку.
Вот кто я.
Извиваясь змеей, по низинам бегу,
По дороге шумлю
И журчу по дорожкам.
Рассекаюсь я на два холста,
Или на два летящих потока.
Если вижу бревно,
Обтекаю его.
Пусть торчит, как дурак, на виду.
Я спешу. Ждет меня

Пересохшая с лета протока.
Я танцую на лицах цветов,
На ладонях листвы
И на спинах деревьев.
Затихая, как пес,
Перед скопищем звезд,
Я щекой прижимаюсь к деревьям.
Я в рубашке,
Которую вам не купить
Ни на рынке и ни в магазине.
Вы устали. Вам хочется пить.
Приходите ко мне. Я в низине.
Зачерпните меня

Истомившимся ртом,
Ставьте тело свое
Под прохладные струи.
Я свежа и добра,
Я внезапна, как гром.
Я живу. Грохочу. Я балуюсь.
Я — вода! Водопад. Не подвластная
Людям стихия.
Но бывает и так: жажда бьет наповал,
Жажда вас увидеть, дорогие!
Мне совсем нелегко
Жить у сильных плотин.
Вы меня заковали
В бетон и железо.
Ну а мне бы хоть ягодку
Красных рябин
Покатать на губах
У осеннего леса.
Там, где много воды,
Там и много беды,
Я смирю себя, люди, не бойтесь.
Я в пустыню уйду,
Там раскину сады.

Вы живите и песенки пойте.
Только помните, люди,
Что я вам нужна:
Для питья и мытья и для прочего
Дела.
Если буду чиста — с вами буду
Нежна,
Задущу вас черемухой белой.
Я засыплю вас звоном
Колосьев и пчел.
Всю меня, хоть до капли, берите!
Но в больших городах,
Возле маленьких сел
Вы меня никогда не травите.
Я — вода! Из меня вам веревок
Не свить.
Не ходить,
Не летать по зеленому
Свету.
Вам одно остается:
Меня полюбить!
И другого вам выхода —
Нету!

Егор Митасов

* * *

Видать, таков он по природе:
Всегда смеется к непогоде.
И перед самою войной
Весь день смеялся он, чудной.
Косясь, глядел куда-то в небо
И в небо тыкал коркой хлеба.

Что мог он видеть там тогда?
Сияли звезды, как всегда.
Прошло немало лет с тех пор...
Передо мной все тот же взор.
Такая даль! Такая грусть!
Он вновь смеется. Я боюсь...

* * *

Ты запомнилась мне над тетрадками.
У копилки, ссутулясь, сидишь.
Под военной шинелью с заплатками
В сорок третьем ночами не спишь.

Ты учила считать и писать
И любить нашу русскую землю,

И, прощаясь, просила как мать:
«Не забудьте родную деревню».

Взгорья кажутся ниже с тех пор...
Вот тобой облюбленный камень.
Опоздал непослушный Егор
Сдать тебе свой последний экзамен.

ОТЕЦ

Вижу: ты сутулый и небритый,
И давно не знаешься с родней.
По дороге, трактором разбитой,
Тяжело плетешься не домой.

От тебя на почте нет покоя,
Сорняком порос наш огород,
То сидишь подолгу над рекою,
То стоишь, понурый, у ворот.

Так уж вышло — виноваты оба,
Не сумели мать мы уберечь,—
Помню я, как ты стоял у гроба,
Как тебе хотелось рядом лечь.

Осень, холода — заботы года,
Старый, ты охочий до тепла,

СВАДЬБА

(Из прошлого)

Без вина, без веселья, без брани,
Завернули невесту в рядно,
Усадили в мякинные сани,
Мать, вздохнув, окрестила окно.

Как-никак за поповского внука,
За глухого горбатую дочь.
Только Найда, пузатая сука,
Проскулила в морозную ночь.

Перехватив горло дымохода,—
Дом наш на окраине села.

Близко никого — ни нас, ни мамы,
И сельчан разбудит грай ворон.
Расплывутся строчки телеграммы,
И ударит сердце медный звон.

А наутро бесились вороны,
Над рекою толпился народ:
Не доехали молодожены —
В темноте провалились под лед.

Говорят, отслужили им тайно
Панихиду в поповском дому...
То ли лед обломился случайно,
То ли бог рассудил — ни к чему?..

Александр Никифоров

1916—1975

ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ

Ты давно привык ко всему дневному,
Горы видел ты, по морям ты плавал.
Как ни долог путь — все конец настанет...
Что здесь такого?

Но, как ночь придет да рассыплет звезды,
Вмиг захватит дух бездна мирозданья.
И немеешь ты, угнетен, подавлен
Страшным величием.

ПОЙДЕМ, ДУША, ПОИЩЕМ

Мы с душой давно пустились в путь...
Как бы от стихов нам отдохнуть?

Что стихи? Ни ягод, ни коры с них...
Раскрываю древних, например.
Кто сказал: «Ищите бескорыстных»?
Кто же мог сказать, как не Гомер!

Этого не грех принять на веру:
Он, незрячий, видел, что к чему.
Неприлично возражать Гомеру,
Да и что тут возражать ему?

Отдохнем: желудок просит пицци.
Вот картошку испечем в золе...
И пойдем... Пойдем, душа, поищем,
Нет ли бескорыстных на земле?

* * *

Люблю, молчком таясь у древа,
Среди тревожной тишины
Следить, как из степного чрева
Выходит голова луны.
В счастливом чепчике кровавом
Она встает светить дубравам,
Страдая в муках родовых,

В поту студеном рос живых
Степь напрягла холмы и доли,
И стонет — то озноб, то жар,
Но отделился грузный шар,
Новорожденный, круглый, голый,
На рощи глянул: чудный вид!
А степь намучилась и спит.

Людмила Щипахина

* * *

Это бремя изысканных пыток и кар,
Вечный зов,
 что приник к изголовью...
А еще называют — божественный дар!
А еще называют — любовью!

В три ручья растекаются слезы из глаз.
Скован разум единственной властью.
Свет померк. Ослепительный полдень погас.
А еще называется — счастье!

От ненастной погоды продрогла душа.
Так вокруг нее грустно и пусто.
Лишь метель забывает, на окна дыша...
А еще называется — чувство!

Я еще ухитрюсь и выжить и жить.
От вечерней зари до рассвета

Отмеряешь семь раз неразрывную нить.
Семь веков — ожидаю ответа.

Между нами ущелья немислимых гор,
Бесконечность глухого пространства,
Тени прошлого, как занесенный топор...
А еще говорят — постоянство!

Две прозревших души, два луча средь зимы,
Две слезинки, две капельки боли
В том неистовом хаосе света и тьмы.
А еще называют — судьбою!

По горящим углям протоптала я путь,
Принимаю ту участь блаженно,
Чтобы — только обнять,
Чтобы — только взглянуть
И подумать,
Что жизнь — совершенна.

Юрий Сорокин

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

Он рано ушел. Боль родимого края
Незримой осадой сжала виски.
Давно на могиле истлели венки.
Нетленна стихов его правда простая.
Ему здесь спокойно. В Москве на Девичьем
И мертвые спорят еще о былом,
А здесь лишь березы да сосны кругом
И марши заменены гомоном птичьим.
Есть в русском народе обычай такой —
В родную деревню навек возвратиться,
Где тихая речка на солнце струится
И вечность главенствует над суетой.

Николай Клюев 1884—1937

Стихи Николая Алексеевича Клюева получили высокую оценку таких видных деятелей русской и советской литературы и культуры, как А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, А. Луначарский и др. Широко известно теперь, какое мощное влияние оказали на Александра Блока письма Клюева.

Клюев много размышлял в своих стихах и прозе о России, о русском искусстве, о назначении поэта. Эти темы стали центральными в его зрелом творчестве. Поэт обладал большими и разнообразными знаниями — от русского фольклора и древнерусской рукописной книжности до трудов западноевропейских философов, от прекрасной ориентации в современной ему отечественной литературе до индийских Вед (в этой связи, как указал в письме к автору этих строк В. Н. Орлов, очень интересным обещает быть сопоставление мироощущения Клюева и Рериха — художников, уходящих корнями своего творчества в славянскую Русь). Тем не менее Клюев, как правило, публично этих познаний не демонстрировал. В одном из его писем содержится примечательное признание: «Я очень стесняюсь говорить про себя людям, так как чаще всего они норовят залезть сапогами в душу...»

Эти слова — ключевая характеристика личности поэта. Клюев ревниво оберегал свое «я» от всяческих «сапог», спасаясь от вторжения чужих ему по духу людей тем, что надевал на себя перед ними маску (и стилизованный костюм) «мужика». И не вина, а беда его в том, что большинство принимало эту маску за настоящее его лицо. «Законспирированность» внутреннего мира Клюева в конце концов обернулась против него самого, стала настоящей драмой поэта.

К счастью, ему все же довелось изведать подлинное духовное раскрепощение, которое сопровождалось мощным подъемом творческой энергии. Это произошло в первые послереволюционные годы.

Весной 1918 года Клюев переезжает на постоянное жительство в Вытегру (ныне — районный центр Вологодской области), вступает там в ряды РКП(б) и, как сообщала губернская газета, «принимает в ее (партийной) работе самое активное участие. На вечере, посвященном памяти Маркса, поэт поставил свою пьесу из революционной жизни «Красная Пасха»... Там же он произнес остроумное «Малое слово от уст брата-большевика», восторженно встреченное аудиторией». Поэт активно участвовал в партийной жизни Вытегры. Частые выступления Клюева на митингах всегда были событием в жизни города — уездная газета «Звезда Вытегры», сообщая о них, никогда не обходилась без эпитетов превосходной степени. Земляки горячо и искренне приветствовали поэта, и именно в такой обстановке Клюев забыл о своей маске, которую ему приходилось носить в «столицах», — в Вытегре тех лет она ему была ни к чему.

«Звезда Вытегры» щедро предоставляла свои немногочисленные страницы для публикации произведений поэта. Первый исследователь и библиограф Клюева Александр Константинович Грунтов, собравший уникальные сведения о поэте, особенно много внимания уделил жизни и творчеству Клюева в Вытегорском крае. Среди его многолетних размышлений — проза поэта, напечатанная в очень малодоступных изданиях, в частности в «Звезде Вытегры». В этих статьях 1919 года прославление революции и ее бойцов соседствует с исполненными неподдельного гнева инвективами по адресу Дьявола-Капитала, всемирной буржу-

азии, проклятого царского времени, «романовской» церкви.

Поэт много думал и о том, что для народа необходима новая культура, немислимая без «неувядаемого цвета» русского народного искусства, корнями своими уходящего в русскую старину. Вот как говорил Клюев на съезде учителей в Вытегре в 1920 году (новонайденный текст) о народном искусстве и его роли в Советской России:

«Искусство, подлинное искусство во всем: и в своеобразном узоре наших изб, и в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу...»

Надо быть повнимательней ко всем этим ценностям, и тогда станет ясным, что в Советской Руси, где правда должна стать фактом жизни, должны признать великое значение культуры, порожденной тягой к небу, отвращением к лжи и мещанству, должны признать ее связь с культурой Советов...

Здесь вокруг нас на каждом шагу спутниками нашей жизни являются великие облагораживающие душу ценности.

Надо их заметить, понять, полюбить, надо привить культ к ним».

Поэт всеми силами стремился принять участие в строительстве новой культуры народа. Однако определенную часть деятелей Пролеткульта, а чуть позже — валостовцев и рапповских критиков, грешивших вульгарным социологизмом, не устраивала ориентация клюевской поэзии на фольклор и древнерусскую рукописную традицию с ее религиозными корнями. Уже в 1922 году (после выхода книг Клюева «Львиный хлеб», «Четвертый Рим», «Мать Суббота») появился ряд статей, в которых поэт прямо объявлялся врагом нового строя и зачислялся по ведомству правобуржуазной литературы. В 1924 году была даже издана книга «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)», кончавшаяся словами: «Клюев — умер». В такой обстановке поэту становилось все труднее и труднее работать, особенно к концу 20-х годов, когда «Литературная энциклопедия» безосновательно объявила его «отцом кулацкой литературы». И все же именно конец 20-х — начало 30-х годов ознаменовались новым подъемом в его творчестве.

23 апреля 1932 года вышло известное постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Судя по всему, именно под его впечатлением поэт написал стихотворение «Я гневаюсь на вас и горестно браню...», в котором поминал близили критиков пролеткультовско-рапповского толка, далеких от понимания подлинного искусства:

Я отвращаюсь вас, что вы не так красивы!
Что зная гордое, где плещется заря,
От песен застите крылом нетопыря...

Удивительные слова нашел Клюев для характеристики своих собратьев-поэтов — Ахматовой, Клычкова, Павла Васильева, так же, как и он, подвергшихся вульгарно-социологическому остракизму. Теперь стала известной оценка, данная А. А. Ахматовой клюевским строкам о ней: «...Лучшее, что сказано о моих стихах».

В предлагаемой вниманию читателя подборке стихов и прозы Клюева к произведениям вытегорского периода относятся стихотворения «Листопадно ковро-

вые шали...» и «Я знаю, родятся песни...» и статья «Медвежья цифирь». Первое стихотворение и статья ни в один из авторских сборников поэта не входили и печатаются по текстам «Звезды Вытегры» (1919, №№ 45 и 105). Второе стихотворение, входившее в сборник Клюева «Львиный хлеб» (1922), печатается по последней авторской редакции, опубликованной в журнале «Рус-

ский современник» (1924, № 1). Автобиографическая заметка дается по журналу «Красная панорама» (1926, № 30). Стихотворение «Я гневаюсь на вас и горестно браню...» печатается по списку, сверенному с автографом (ИМЛИ, ф. 178).

С. И. СУББОТИН

* * *

Листопадно ковровые шали
Спеленали осеннюю землю.
До полуночи ели рыдали,
На закате же, слезные, дремлют.

И еловая тень на дороге —
Чернокрылое, вещее знамя.
Она ленивыми, злыми устами
Провещает о яростном боге.

* * *

Я знаю, родятся песни —
Телки у пегих лосих,—
И не будут звезды чудесней,
Чем Россия и вятский стих!

Города Изюмец, Чернигов
В словозвучьи сладость таят...
Пусть в стихе запылают Выгов,
Расцветет хороводный сад.

По заставкам Волга, Онега
С парусами, с дымом костров!..
За морями стучит телега,
Беспощадных мча седоков.

Черный уголь, кудесный радий,
Пар-возница, гулѣха-сталь
Едут к нам, чтобы в Китеж-граде
Обрвать взюм и миндаль,

О, внимлите: провидящий филин,
Гад могильный и выводок волчий,—
День улыбчивый, дремой ослеп,
Станет брашном пирующей ночи.

Стать бы тучкою, малой синицей,
Отлететь в голубую обитель...
А завод горделиво дымится,—
Листопадной земли победитель.

(1919)

Чтобы радужного Рублева
Усадить за хитрый букварь...
На столетье замкнется снова
С драгоценной поклажей ларь.

В девяносто девятое лето
Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещей строк.

Захлестнет певучая пена
Холмогорье и Целебей,
Решетом наловится Вена
Серебристых слов-карасей!

Я взгляну могильной березкой
На безбрежность песенных нив,
Благовонной зеленой слезкой
Безымянный прах окропив.

(1920)

* * *

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса,
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья!
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломней,—

Пегасу русскому в каменоломне
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховеи ниву,
Чтоб не цвела она золототканно
Утехой брачною республике желанной!
Чтобы гумно, где Пушкин и Кольцов,
С Есениным в венке из васильков,
Бодягой поросло, унылым плауном,
В разлуке с песногривым скакуном,
И с молотьбой стиха свежее борозды
И непомернее смарагдовой звезды,
Что смотрит в озеро, как чаша, колдовское,
Рождая струнный плеск и вещей сказок роп!

Но у ретивого копыта
Недаром золотом облиты,
Он вышил сон каменоломный
И ржет на Каме, под Коломной
И на балтийских берегах!..
Овсянки, явственны ль в стихах
Вам соловьиные раскаты
И пал ли Клюев бородатый,
Как дуб, перунами сраженный,
С дуплом, где Сирия огневейный
Клад стережет — бериллы, яхонт?..
И от тверских дубленых пахот,
С антютиком¹ лесным под мышкой,
Клычков размыкал ли излишки
Своих стихов — еловых почек,
И выплакал ли зори-очи
До мертвых костяных прорех
На грай вороний, черный смех?!
Ахматова — жасминный куст,
Обжженный асфальтом серым,
Тропу утратила ль к пещерам,
Где Данте шел и воздух густ,
И нимфа лен прядет хрустальный?
Средь русских женщин Анной дальней
Она как облачко сквозит
Вечерней проседью ракии!
Полыни сноп, степное юдо,
Полуказак, полукентавр,
В чьей песне бранный гром литавр,
Багдадский шелк и перлы грудой,
Васильев, — омель с Иртыша,
Он выбрал щуку и ерша
Себе в друзья, — на песню право,
Чтоб цвести в поэзии купавой, —
Не с вами правнук Ермака!
На стук степного батожка,
На ржанье сосунка кентавра
Я осетром разинул жабры,
Чтоб гость в моей подводной келье
Испил раскольничьего зелья,
В легенде став единорогом,

¹ Антютик (от анчутка) — леший, сказочный персонаж романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь».

И по родным полынным логом
Жил гривы заревом, отгулами копыт!
Так нагадал осетр, и вспенил перлы кит!

Я гневаюсь на вас, гнусавые вороны,
Что ни свирель ручья, ни сосен перезвоны,
Ни молодость в кудрях, как речка в купыре,
Вас не баюкают в багряном октябре,
Когда кленовый лист лохмотьями огня
Летит с лесистых скал, кимвалами звеня,
И ветер-конь в дождливом чепраке
Взлетает на утес, вздыбится налегке,
Под молнии зурну копытом выбить пламя,
И вновь низринуться, чтобы клетать с орлами
Иль ржать над пропастью потоком пенногри-
вым.

Я отвращаюсь вас, что вы не так красивы!
Что знамя гордое, где плещется заря,
От песен застите крылом нетопыря,
Крапивою полуслов, бурьяном междометий,
Не чуя пиршества столетий,
Как бороды моей певучую грозу,—
Базальтовый обвал — художника слезу
О лилии с полей Иерихона!
Я содрогаюсь вас, убогие вороны,
Что серы вы, в стихе не лирохвосты,
Бумажные размножили погосты
И вывели ежей, улиток, саранчу!..
За будни львом на вас рычу
И за мои неожиданные седины
Отмщаю тягой лебединой!—
Всё на восток, в шафран и медь,
В кораллы розы нумидийской,
Чтоб под ракитой российской
Коринфской арфой отзвенеть
И от Печенеги до Бийска
Завьюжить песенную цветь,
Где конь пасется диковинный,
Питаюсь ягодой наливной,
Травой-улыбой, приворотом,
Что по фантазии болотам
И на сердечном глыбком дне
Звенят, как пчелы по весне!
Меж трав волшебных Анатолий ¹,—
Мой песноглаз, судьба-цветок,
Ему ковер индийских строк,
Рязанский лыковый уток,
С арабским бисером — до боли!
Чу! Ржет неистовый скакун
Прибоем слав о гребни дюн
Победно-трубных, как органы,
Где юность празднуют титаны!

1932

¹ Анатолий — Яр-Кравченко Анатолий Никифорович (род. в 1911 г.), друг поэта, ныне — народный художник РСФСР.

⟨АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА⟩

Говаривал мне мой покойный тятенька, что его отец, а мой — дед, медвежьей пляской сыт был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель шином ходил. Подручным деду был Федор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярманки в Белозерске, в Кирилловской стороне, до двухсот целковых деду за год приносили.

Так мой дед Тимофей и жил. Дочерей, а моих теток, за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бирсерной накладкой по вороту.

Разоренье и смерть дедова от указа пришла. Вышел указ: медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить... Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стерло ее в прах.

Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аukat в сердце моем, в моих снах и созвучиях... Я — мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая и волос мягкий. Ростом я два аршина восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное,

без слюны и без лая, глазом же я зорек и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный. Не пьяница я и не табакур, но к сиропному пристрастен: к тверскому прянику, к изюму синему в цеженом меду, к суслу, к слоеному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко всякому леденцу.

В обиходе я тих и опрятен. Горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и лоснится. Лавка дресвяным песком да берестой натерта — моржовому зубу белей не быти...

Жизнь моя — тропа Батыева: от студеного Коневца (головы коня) до порфирного быка Сивы пролегла она. Много на ней слез и тайн запечатленных. Труды мои на русских путях, жизнь на земле, тюрьма, встреча с городом, с его бумажными и каменными людьми, революция — выражены много в моих книгах, где каждое слово оправдано опытом, где все пронизано Рублевским певчим заветом, смысловой графьей, просквозило ассисом любви и усыновления.

Из всех земных явлений я больше люблю огонь. Любимые мои поэты — Роман Сладкопевец, Верлен и царь Давид. Самая желанная птица — жаворонок, время года — листопад, цвет — нежно-синий, камень — сапфир. Василек — цветок мой, флейта — моя музыка.

⟨1926⟩

МЕДВЕЖЬЯ ЦИФИРЬ

Приблизительно восстановленное слово, сказанное поэтом Николаем Клюевым в Вытегорском красноармейском клубе «Свобода» перед пьесой «Мы победим»

I

Много есть на белом свете разных чудес, и не все одинаково под солнцем. Теплые, далекие земли, где вечно лето, где сладкие воды и духмяные рощи, где лебеди черные, а вороны белые, где люди ходят, как в раю, нагими, раскрасив себе тело пестрыми красками, горы из красного и голубого камня, вершины которых упираются в небесные звезды, бесчисленные города, многообразные племена и паречия, бескрайние моря-океаны, где невиданные подводные юда, тысячеверстные, дикие, травяные поля, где не слышно голоса человеческого, где простор лишь буйнокрылому орлу да ковыль-траве шумучей, жалобной.

Все это чудеса вечные, не человеческой ру-

кой сделанные. Но есть в мире одно чудо из чудес: пресветлое озеро, зовется оно Сердцем человеческим, Живоносною Тайною кличется.

Пролегла к нему тропиночка малая, малохожженная, малозримая.

Кто прощеной слезой плакать умеет, кто родительскую могилку в Христов день целовать сможет, кто котечочка глупого, карнаухого из полья пожарного по сожаленью вызовет — тому золотая тропиночка не заказана. Глубоко и самоцветно сердечное озеро, а живет на нем, гнездо из мороков вьет, лебедь-дева, птица волшебная.

Вскинет лебедь крылом, жемчугом водяным окатится, человеку же, у которого сердце-озе-

ро, сладко станет. Замутит человека дума небывалая о том, чего на свете нет: о крыльях сокольных за плечами, о подвиге красном, разинском...

Известно, дума слово родит, из слов потайных, сердечных песня слагается, вот как ручеек — источника лесная: не видно его в моховищах да в кореньях клыкастых, а поет он, бубенчиком подорожным тенькает:

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думать...

Али по-другому:

Не одна во поле дороженька пролегалла,
Частым ельником, березничком зарастала...

У кого уши не от бадьи дубовой, тот и ручеек учует, как он на своем струистом языке песню поет.

От старины выискивались люди с душевным ухом: слышат такие люди, как пырей растет, как зерно житное в земле лопается — норовит к солнцу из родимой келейки пробиться, — как текут «слезы незримые, слезы людские...». Называл же русский народ таких людей досюль баянами за то, что они баяли баско, складно да учестливо, ныне же тех людей величают поэтами, а буде такой человек не песней пересказ ведет, не складкой бает, а запросто плавным разговором всю живность письменно выложить сможет, — то писателем с надбавкой «художественный», не от слова «худож», а от понятия «прекрасно», «усладительно», «умственно».

Покуль не было на Руси грамотных баянов, то сказ велся ими устно, переходим был.

В белом полукафтани, в лисьем, с алой макушкой колпаке, при поясе, с хитрой медной насечкой, ходил баян по немереным родным волостям, погостам, да городищам, и был он гостем чайным, желанным, не токмо избянным мужицким али темным боярским, но и палатным княженецким, а почасту и государевым. Не завсегда баян в понитке ходил, а иногда и в терлике бархатном щеголял, в сапогах выворотных козловых, с мореным красным закаблучьем — «меж носов-носов хоть стрела лети, под каблук-каблук — хоть яйцо кати...».

Что думал народ, в чем его правда да сила муромская — все баяны стихом выражали, за ретивое кажинного человека красным умильным словом задеть ухитрялись; вот эта-то хитрость песенная, пересказная, ныне искусством зовется...

II

Давно уже чуткие люди, люди, у которых душа собачьей шерстью заживо не обрастала, розмысел имели, что не одними словами сла-

дость сердечную можно выявить, но и красками, если кто сумеет эту сладость на картине вырисовать, музыкой, если кто домыслит струну или голос так подобрать, чтобы, когда заиграешь, человека слеза-радость прршибла.

И многим другим можно свою душу рассказать: по дереву можно резьбу навести — винограде райское, город, какого на свете нету, чтобы человека в безвестный край потянуло и в трудах да мозоля хоть на единую минуточку ему легче стало. Хоромину повыстроить можно так искусно, чтобы она на потайный сад смахивала, в индийскую землю манила или думу какую, мысль с мудростью в себе таила, как, к примеру, церковь на нашем Вытегорском погосте: рублена она без мала триста годов назад, и рубку ее можно смело назвать искусством строительным, по-ученому же зодчеством.

Почему? Да потому, что в ней потайный смысл сидит: строитель ее хопя был и мужик, а нутром баян-художник.

Допрежде рубки он не барыши, как нынешние бездушные подрядчики да инженеры, высчитывал, а планту раскинул, осеннюю, темную ноченьку напролет продумал, как бы ему из вытегорских бревен мысль свою выстроить?

И выстроил.

Церковь пятой круга, в круге же ни начала, ни конца проглядеть нельзя — это Бог безначальный и бесконечный.

Двадцать четыре главы строитель на кокошниках резных к тверди вознес — двадцать четыре часа суточных, которые все славят Господа.

Семь навесов крылечных семь небес обозначают, вышний же рундук гору Фавор знаменует, — на ней же Христос солнцем предста.

Если бы крепко блюли вытегоры заповедь — зарок своей церкви, то разумели бы, что она есть произведение искусства.

Триста годов назад, когда мужику еще было где ухорониться от царских воевод да от помещиков, народ понимал искусство больше, чем в нынешнее время.

Но приказная плеть, кабак Государев, проклятая сигарка вытравили, выггли из народной души чувство красоты, прощеную слезку, сладкую тягу в страну индийскую...

А тут еще немец за русское золото тальянку вместо гуслей подсунил — и умерла тихасмирна беседушка, стих духмяный, малиновый. За ним погасли и краски, и строительство народное.

Народился богатей-жулик, мазурик-трактирщик, буржуй треокаянный.

Сбланили они мужика немецким спинджаком, галошами да фуранькой с лакировкой,

заманили в города, закабалили обманом по фабрикам да по заводам; ведомо же, что в 16-ти часовой упряжке не до красоты, не до думы потайной.

И взревел досюльный баян по-звериному:

Шел я верхом, шел я низом,—
У милашки дом с карнизом.
Не садись, милой, напротив —
Мея наблевать воротит. . .

III

Радовались богатеи, что народ душу свою обронил, зверем стал и окромя матюга все слова из себя повытряхнул.

Ну, думали они, мужик таперяча с потрохами и с печенкой нап,— скотина скотиной, вбивай его, как сваи, в землю да вавилонны ставь. А чтобы сердце у подлого народипка не отмякло, заберем-ка мы всякое искусство в свои руки,— набьем на него цену, чтобы оно никому, окромя нас, по кошельку не было.

А чтобы поэты да писатели, строители и музыканты вольности какой себе не позволяли, пристрастим их романовской гостиницей с решеткой.

И стращали.

Великого писателя Достоевского присудили к виселице, но петлю заменили каторгой. Великого поэта Пушкина мучили ссылкой и довели до пули, убили Лермонтова, прокляли Толстого, нищетой и голодом вогнали в гроб Кольцова и Никитина. И много множество живущих сынов человеческих погибло от неправедного строя на русской земле!

И по ком надо служить всенародную панихиду, с плачем и с рыданием, так это по распятому народному искусству. Проклятие, проклятие вечное тем, кто перебил голени народному слову, кто желчью и оцетом напоил русскую душу!

Но, пережив положение в гроб родного искусства, мы видим и ангельские силы на гробе его. Мы, чудом уцелевшие от жандармского сапога, ваши родные поэты и художники, были свидетелями того, как в 25-й день октября 1917 года потряслась земля, как сломались печати и замертво пали стражи гроба. Огненная рука революции отвалила пещерный камень и... Он воскрес — наш сладчайший жених,— чудотворное народное сердце.

Воскрес и сокрылся, явясь на краткое мгновение только верным и избранным.

И никто не слышал звука его шагов.

И вновь душа наша сжигается скорбью смертной...

Где ты, возлюбленный наш? —

Песня крылатая, всенародная?

Быть может, шумишь ты белой березынькой под вольным олонецким ветром, али в бабкином веретене поешь ты, ниткой полуночной, дремотной тянешься, иль от стрекота пулеметов, обеспоащавших землю родимую, закатилось ты за горы высокие, за синие реки, за корбы медвежьи, непроходимые...

Кто знает. Только сердце пусто.

И мука наша лютая.

Чует рабоче-крестьянская власть, что красота спасет мир.

Прилагает она заботу к заботе, труд к труду, чтоб залучить воскресшего жениха к себе на красный пир.

Царские палаты отводятся для гостя-искусства, лучшие хоромы в городах и селах. И стекается туда работающий бедный народ, чтобы хоть одним глазком взглянуть на свою из гроба восставшую душу. Чтобы не озвереть в кровавой борьбе, не отчаяться в крестных испытаниях, в черном горе и обиде своей.

И в настоящий вечерний час, когда там на фронте умножаются ряды мучеников за торжество народной души, здесь ваши братья постараются, насколько хватит их умения, показать вам малую крупицу воскресшей красоты. Она услышится вами в некоторых словах, которые скажутся с этих подмоствок. Перед вами пройдет действие — жизнь рабочих людей — борцов за Красоту, за Землю и Волю.

В этом действе нет ничего смешного, оно со смыслом, и тот, кто будет гоготать, выдаст головой себя, как пустого человека.

В действе под одним человеком надо разуметь многих. Вы увидите рабочего Сергея, смертельно больного, который умирает в борьбе,— это весь рабочий народ, который приносит себя на заклание за правду в жизни; старуху, пьющую богомолку,— это наша церковность подвижная да блудная.

Парикмахера — это соблазненная буржуазией часть народа, который за модную жилетку променял свое первородство. Услышите музыку за океанами — это голос всемирной соли, не умолкающий над залитой праведной кровью землей.

Понимая так, вы уйдете отсюда обновленными, со сладкой слезинкой на глазах, которая дороже всех соковок мира.

Дерзайте же, друзья мои!

Сгорим, а не сдадимся!

1919

· Публикация А. К. Грунтова и С. И. Субботина

Осип Мандельштам 1891—1938

О. Э. Мандельштам, подобно многим поэтам его поколения, писал также прозу и критические статьи. Одно из поздних прозаических его произведений, «Путешествие в Армению», за последние пятнадцать лет дважды переиздавалось. Основная критическая работа Мандельштама, наиболее полное изложение его поэтики — «Разговор о Данте», написанная почти полвека назад, увидела свет в 1967 году. В 1928 году Мандельштам издал отдельной книгой (сб. «О поэзии») часть литературно-критических статей разных лет. Остальное рассеяно по газетно-журнальной периодике, а в значительной части и во все не опубликовано. В целом же критическое наследие Мандельштама еще ждет своего издания.

Публикуемые статьи — «О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз»)» и «Письмо о русской поэзии» — отражают живую литературную полемику эпохи. В этих статьях Мандельштам открыто заявляет о своем отношении к литературе, о том, что ему чуждо, а что близко и дорого в поэзии.

Первая статья посвящена петроградскому «Альманху Муз», содержащему посмертную публикацию одного из стихотворений И. Анненского и стихи и поэмы А. Ахматовой, В. Брюсова, Н. Гумилева, В. Иванова, Г. Иванова, Р. Ивнева, М. Кузмина, В. Пяста, М. Цветаевой, Т. Чурилина и др. Работу над статьей Мандельштам начал не ранее сентября 1916 года (дата выхода альманаха), и она осталась, по-видимому, незаконченной. Статья публикуется по фотокопии черновой рукописи. Часть зачеркнутого автором текста приводится в квадратных скобках.

«Письмо о русской поэзии» было напечатано 21 января 1922 года в газете «Советский Юг» (Ростов-на-Дону). Публикуется по газетному тексту с некоторыми исправлениями.

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

(К выходу «Альманаха Муз»)

Вышел альманах с произведениями двадцати пяти современных поэтов. По этому случаю можно бы сказать, как полагается, о высоком техническом уровне современной поэзии, упомянуть о том, что все теперь умеют писать стихи, и пожалеть, как у нынешних искусственно и мертво выходит. Однако я ничего подобного не скажу: [какая фальшивая шарманка!] почему-то критики очень любят предаваться грустным размышлениям, где только увидят кучу стихов. Очень немного им нужно, чтоб показалось «высоким уровнем», а огульным упреком в искусственности они избавляют себя от труда, часто непосильного, разбираться в сложностях искусства. Чтобы раз навсегда прекратились эти лицемерные жалобы равнодушных и посторонних людей на мнимое оскудение поэзии, будто бы заставшей в «александрийском совершенстве», полезно [припомнить следующие истины:] разъяснить, что такое «прогресс» в поэзии. Никакого «высокого уровня» у современников в сравнении с прошлым нет. Большинство стихов и теперь просто плохи, как были плохи всегда большинство стихов. Плохие

стихи имеют свою преемственность — если хотите, они совершенствуются, поспешая за хорошими, своеобразно перерабатывая и искажая их. Теперь пишут плохо по-новому — вот и вся разница! [Где ж тут прогресс?] Да и какой вообще может быть прогресс в поэзии в смысле улучшения [поступательного движения]? Какая бессмыслица прогресс в искусстве! Разве Пушкин усовершенствовал в а л Державина, то есть в некотором роде отменил его? Державинской или ломоносовской оды никто теперь не напишет, несмотря на все наши «завоевания». Оглядываясь назад, можно представить путь поэзии как непоправимую, невознаградимую утрату. Столько же новшеств, сколько потерянных секретов: пропорции непревзойденного Страдивариуса и рецепт для краски старинных художников лишают всякого смысла разговоры о прогрессе в искусстве.

«Альманах Муз» составлен крайне разнообразно: в нем представлены многочисленные разновидности плохих и хороших стихов: ни о каком среднем уровне и говорить не прихо-

дится, так как некоторым участникам сборника как до звезды небесной далеко до других.

Из поэтов старшего поколения представлены В. Брюсов и Вячеслав Иванов, стихи коих уже могли бы возбуждать благородную печаль о том, что теперь так не пишут. В стихах В. Иванова какая-то пресыщенность [собственной поэзией], всё заранее известно. Поэт [до такой степени у себя дома в собственных образах, что ленится творить, а только повторяет, как заученный урок] достиг, очевидно, того величия, когда ему позволено и сонному прикасаться к кифаре, чуть касаясь ее перстами:

Но грустны, как забытые сны,
Мне явленные лики весны.

Валерий Брюсов обладает свойством быть энергичным и в наиболее слабых своих стихах. Два стихотворения Брюсова в «Альманахе Муз» принадлежат к самой неприятной его манере и воскрешают весьма суетное литературное настроение, к счастью, отошедшее вместе с определенной эпохой. Нескромное прославление стихосложения врывается в довольно бледный пейзаж:

В строфы виденье навек вплетено.

А в другом:

Березы пышным стягом
Спешат пред вещим магом
Склонить главу свою. . .

«Вещим магом» [символизма] теперь никого не удивишь. Мишурная мантия ложного символизма совершенно вылиняла [в российских бурях], потеряла всякий вид и [находится сейчас в почетном архиве вместе с «Ваалом» Надсона] по справедливости вызывает веселую улыбку поэтической молодежи.

Пленителен [ясный] классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гётевское слияние «формы» и «содержания», [осозная самую личность поэта, его «я», как чистую форму] убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывая из забвения (классицизм):

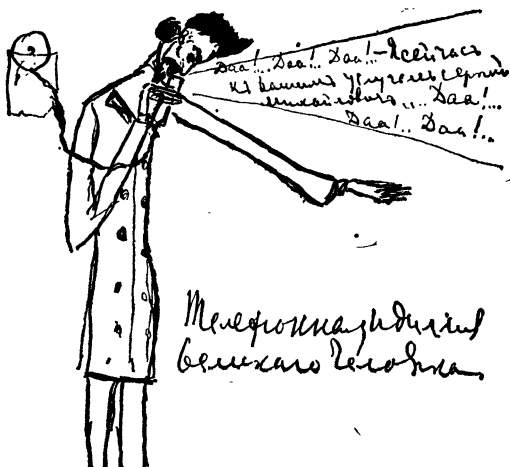
Наверно, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.

Однако кларизм Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды,

Рисунки поэтов

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) специального художественного образования не имел, но рисовал на протяжении всей жизни. Работал карандашом, акварелью, тушью, создавал иллюстрации к своим произведениям.

В ЦГАЛИ хранится серия карикатур Белого на Валерия Брюсова, шутливо изображающих «великого человека» в разных жизненных ситуациях. Два рисунка из этой серии мы воспроизводим.



какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает.

Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне так же естественен, как прожилки кленового листа:

И в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песне Песней.

[Отметим, как властительно, по-тютчевски звучит начало третьего стихотворения:

Из памяти твоей я выну этот день. . . —

что довольно необычно для автора, охотно заостряющего свои стихи эпиграмматическими окончаниями.

ПИСЬМО О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В блестящее время парижских, брюссельских, нижегородских и прочих всемирных выставок существовал обычай возводить архитектурные постройки в стиле чего угодно, но обязательно грандиозно.

Сооружения эти, олицетворявшие художества, кустарную промышленность, сельское хозяйство и пр., недолго держались в своем эфемерном величии: выставка кончалась, и деревянные планки свозили на телегах.

Грандиозные создания русского символизма напоминают мне эти выставочные сооружения. Иногда мне кажется, что Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый специально построены для каких-то всемирных выставок и вот-вот приедут их разбирать. По существу, они уже разобраны. От Бальмонта с его горящими зданиями, мировыми поэмами, сверхчеловеческими дерзновениями и демонической самовлюбленностью осталось несколько скромных хороших стихотворений. Брюсов еще стоит, он пережил «выставку», но все знают, что это такое. От космической поэзии Вячеслава Иванова, где «даже минерал произносит несколько слов»*, осталась маленькая византийская часоуказка, где собрано уцелевшее великолепие многих сгоревших храмов, и, наконец, Белый... здесь мне придется отказаться от моей архитектурной параллели: Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства — теософией.

* Перифраза выражения Ф. М. Достоевского из романа «Бесы» (см. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Л., 1974, т. 10 с. 9).— *Прим. публикаторов.*

Почти через все стихи Ахматовой проходит забота о своем голосе.]

Однако стихи «Альманаха» мало характерны для «новой» Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора. В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиратической важности, [суровой и почти] религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед ж е н ы. Помните: «смиренная, одетая убого, но видом величаящая жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.

(1916)

«Куда вам, нынешним, до стариков», — вздыхают любители большого стиля, воспитанные на выставочных павильонах, — «то-то были поэты, какие темы, какой размах, какая эрудиция!..»

Любителям русского символизма невдомек, что это огромный махровый гриб на болоте девятилетних годов, нарядный и множеством риз облеченный.

В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга домашних напевов Фета и Голенищева-Кутузова, приобщилась к широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала себе мирового значения. Все было внове для молодых сотрудников «Весов», Брюсова, Эллы, Зинаиды Гиппиус. До сих пор еще, перечитывая старые «Бесы», захватывает дух от радостного удивления и волнующей лихорадки открытия, которой была одержима эта эпоха. Вселенская мысль, никогда не умирившаяся даже в русской помещичье-дворянской поэзии, но после Пушкина ставшая подспудной в глухих созданиях Тютчева и Владимира Соловьева, шумным половодьем смысла домашнюю рухлядь: русской поэтической мысли снова открылся Запад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков вражды и противоречий. Русский символизм не что иное, как запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли:

— Мы помним все — парижских улиц ад
И венецьянские прохлады,

Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна мощные громады... —

юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности, перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которое смещало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное болезненной водяной мировых тем. При таком положении нарушается самый интересный в поэзии процесс, рост поэтической личности, — сразу взяли самую высокую, напряженную ноту, оглушили себя сами и не использовали голоса как органическую способность развития.

Самое удобное измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда жарко. Блок развивался нормально, — из мальчика, начитавшегося Соловьева и Фета, он стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина — в просвещении стать с веком наравне.

Блоком мы измеряли прошлое, как землемер разграфляет тонкой сеткой на участки не-

обозримые поля. Через Блока мы видели и Пушкина, и Гёте, и Боратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении.

Всегда будет чрезвычайно любопытным и загадочным, откуда пришел поэт Блок... Он пришел из дебрей германской натурфилософии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева, и — странно — он чем-то возвращает нас в семидесятые годы Некрасова, когда в трактирах ужинали юбиляры, а на театре пел Гарция.

Кузмин пришел от волжских берегов, с раскольничьими песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой от концерта в Palazzo Pitti Джорджоне до последних поэм Дебюсси.

Клюев пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонцкого сказителя.

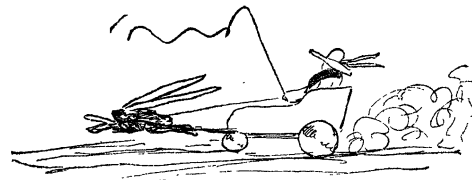
Наконец, Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа 19 века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной

Рисунки поэтов

Письма и записки А. А. Блока к жене, Л. Д. Менделеевой-Блок, сопровождаются шуточными рисунками поэта. Три из них воспроизводятся здесь.



Анна и Самуил
Эблендъ великодушный
визит.



КАКЪ МЫ ПЬДНМЪ ВЪ ГОСТИ.

Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова.

Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.

Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологической пылцы с одного цветка на другой.

Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко.

Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья. Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма, — он с достоинством нес свой жребий отказа — отречения. Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания, непререкаемого и абсолютного (необходимая предпосылка трагедий), и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, вместо того, чтобы спустить на воду корабль всена-

родной трагедии, бросает в водопад куклу, потому что

Сердцу обиды куклы
Обиды своей жалчей.

Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом символизма, поэзией московских школ, главным образом имажинистов, — тоже наивное явление, только хищническое и дикарское, — на этот раз не перед духовными ценностями культуры, а ее механическими игрушками. Любой швейцар старого московского дома с лифтом и центральным отоплением культурнее имажиниста, который никак не может привыкнуть к лифту и пропеллеру. Молодые московские дикари открыли еще одну америку — метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений.

Бесконечно менее интересный и почтенный, чем символизм, но родственный ему, имажинизм не последнее, должно быть, явление в русской литературе. Хищническая экстенсивная поэзия на нашей почве будет возрождаться до тех пор, пока ее сделает невозможной русская культура. Право же, дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и всякая бесхозяйственность.

(1922)

ВОСЬМИСТИШИЯ

Подборка восьмистиший О. Мандельштама полностью публикуется впервые, на основе фотокопий авторизованных списков из архива поэта. В неопубликованном комментарии к стихотворениям 1930—1937 годов вдова поэта, Н. Я. Мандельштам, писала, что эти восьмистишия, как и «Армения», «представляют собой не цикл в буквальном смысле слова, а подборку стихов». Основная часть их была создана в ноябре 1933 года, но Мандельштам записал их лишь в январе 1934 года (2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и 7-е восьмистишия). В феврале того же года, после окончания стихов на смерть Андрея Белого, было добавлено «отколовшееся» от них 9-е восьмистишие и записано 8-е, связанное с созданным почти двумя годами раньше стихотворением «Ламарк». Спустя еще полтора года, в Воронеже, были записаны 10-е и 11-е восьмистишия и новый вариант 2-го. Мандельштам не считал, что новым вариантом отменяется старый, и оставил их оба, именно в таком, не хронологическом порядке. Подобное отношение к вариантам, понимание их не как черновика и беловика, а скорее как «вариаций на тему», намечалось и раньше, но закрепилось у Мандельштама в 30-х годах («Стихи о русской поэзии», «Заблудился я в небе — что делать?..»).

Порядок стихов был определен при жизни поэта лишь для 1-го, 2-го и 3-го восьмистиший. Для остальных мы руководствуемся той последовательностью, в которой они были записаны автором. Двойные даты под каждым стихотворением указывают: первая — время создания восьмистишия, вторая — время его окончательной записи.

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, Москва — июль 1935, Воронеж

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

3

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок —
Единый во внутренней тьме —
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам —
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

4

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умирашка,
Такая большая — сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван —
Сложи свои крылья — боюсь!

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

5

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот

И в бездревесности кружились листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

6

Скажи мне, чертежник пустыни,
Сыпучих песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

7

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые,
И я догадался сейчас:
Быть может, мы Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933 — январь 1934, Москва

8

Шестого чувства крохотный придаток
Иль ящерицы теменной глазок —
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок —
Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть —
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь.

Май 1932 — февраль 1934, Москва

9

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.

Январь — февраль 1934, Москва

В игольчатых чумных бокалах
 Мы пьем наваяденье причин,
 Касаемся крючьями малых,
 Как легкая смерть, величин.
 И там, где сцепились бирюльки,
 Ребенок молчанье хранит —
 Большая вселенная в люльке
 У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, Москва — июль 1935, Воронеж

И я выхожу из пространства
 В запущенный сад величин
 И мнимое рву постоянство
 И самосознание причин.
 И твой, бесконечность, учебник
 Читаю один, без людей, —
 Безлиственный, дикий лечебник,
 Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933, Москва — июль 1935, Воронеж

*Публикация и вступительные заметки С. В. Василенко
 и Ю. Л. Фрейдина*

Сергей Шервинский

ИЗ КАТУЛЛА

17

О Колония, хочешь ты на мосту своем длинном
 Порезвиться, поплясать, да боишься решиться:
 Стар мостишко, совсем ослаб, да и строен из дряни,
 Бедный рухнет того гляди в тину кверху ногами.
 Пусть же мост, как желаешь ты, ветхий сменится крепким
 И окажется даже впрок для священных плясаний.
 Я, Колония, между тем, власть хочу насмеяться:
 Есть у нас гражданин один — вот кого бы охотно
 Я в болотную хлябь швырнул с головой и ногами;
 Только там, непременно там, где болотина шире,
 Где зловонная гуще грязь и бездоннее тина.
 Больно он не остер умом, понимает не больше,
 Чем двухлетний малыш, отцом убаюканный сладко.
 Есть жена у него, притом в лучшем возрасте жизни,
 Избалованней и нежней, чем любимый козленок:
 Вот и надо б за ней следить, как за спелой гроздью,
 А ленивец лежит себе, как в канаве ольшина,
 Чей у корня подрублен ствол топором лигурийца,
 И не знает, жива ль она или все уж пропало.
 Точно так же и мой чурбан: спит — не слышит, не видит.
 Вот его и хотел бы я с вашей сбросить мостины —
 Тут, авось, уж встряхнется он, как хлебнет из болота,
 И оставит в густой грязи непробудную спячку,
 Как во вмятине вязкой мул оставляет подкову.

44

Сабинская ль, Тибурская ль моя мыза —
 Сабинская для тех, кто уколоть любит,
 Тибурская ж для тех, кто мне польстить хочет, —
 Сабинская ль, Тибурская ль она, славно
 Я за городом здесь живу в моей вилле.
 Из груди выгнать я успел лихой кашель,

В котором виноват желудок мой: сам же
На днях объелся я роскошных блюд всяких
У Сентия, когда был зван к нему слушать
Речь против Акция, его памфлет скучный,
Напитанный отравой и чумой злобы.
Меня трепал озноб и частый бил кашель,
Пока я не бежал сюда под кров мирный
Крапивой и покоем исцелять хвори.
Но я за все грехи наказан все ж мало
И впредь не рассержусь, коль мне придет Сентий
Свой мерзкий хлам — решусь терпеть снова,
Но пусть он насморк с кашлем сам теперь схватит,
Пускай его, а не меня, озноб треплет,
Пусть у него, не у меня, стучат зубы,
Тогда приду и слушать дрянь его — буду.

Зоя Велихова

* * *

Что мне близорукие писцы,
Чье повествованье бездыханно!
Знаю наизусть все изразцы
В пышных термах Диаклетиана.

И когда в ливийский прах пустынь
Двигались победно легионы,
Слушала певучую латынь
В портике, от зноя удаленном.

Я жила у Сены в год глухой.
И по высочайшему велению
Улочкою длинной и кривой
Весть несла, таясь безликой тенью.

Риск девизом сделала, шутя.
Мы навеки с теми днями квиты.
Узкая перчатка до локтя
В трапезной монастыря забыта.

Где просторы тихих деревень
Веют неразгаданной тоскою,
На току опять мелькал весь день
Сарафан мой с красною каймою.

И хотя безжалостна молва,
Взгляд твой снова на гуляньях волен.
До сих пор слышны твои слова
В гуле златоглавых колоколен.

Ледяного месяца стекло
Высоко взошло, и дали строги.
Все, что въяве не произошло,
Обожгло, и так свежи ожоги.

И теперь о том, что не сбылось,
Никогда уже не пожалею.
Что печаль тому, кто воздух грез
Называл свободою своею!

Игорь Мазнин

* * *

Отшумев, замолчала листва
И забылась во сне до рассвета...
Не сказать, как бессильны слова,
Как пронзительно слово поэта.

Не мое, не собратьев моих,
А того безымянного брата,
Что сегодня, как Пимен когда-то,
Над последним сказаньем затих...

* * *

Уходит звук, но остается
Предположение о нем:
И в том — что эхом отзовется,
И в том — что памятью зовем.

И потому — под принуждением
Сугробов выше головы —
Мы то и дело бредим пенем
И слышим шорохи травы.

* * *

Только здесь нам и петь, и печалиться,
И любить, и работать, пока
Не возьмет нас седая молчаливица
За помятые жизнью бока.

И, глядишь, что задумано — сбудется,
Хоть не раньше, чем срок подойдет...
Только здесь наше слово забудется
И — не узнано — вновь прорастет.

Евгений Лебедев

* * *

Исповедую чистосердечно, что после
истины ничего другого не ценю дороже в
жизни моей, как услужение, на честности
и пользе основанное, досточтимым по гроб
мною соотечественникам.

В. Тредиаковский

От астраханских знойных сеней
Бежал он, к славе путь держа.
Подвижник. Сумасшедший. Гений.
Безбожник. Графоман. Ханжа.

В нем — мощь и немощь человека,
О светлой правде темный вздох,
Дух восемнадцатого века,
Судьбой застигнутый врасплох.

Он был из тех людей, которым
Одна отрада жизни всей —
Мир убедить. Но мир — не форум.
Но мир — кровавый Колизей.

Открой пути твои, о боже:
Меня ли звал ты? Я пришел.
Я мог быть зрителем и все же —
Скамьям арены предпочел.

Да не лишусь твоей опоры,
Твоею правдою гремя!
Вокруг одни лишь хищны взоры.
Все злые случаи — на мя!

Я днесь един, Россия-мати, —
Моя надежда, слава, боль!
В сей странный век случайной знати
Твоею флейтой быть позволь.

Я стану воспевать всядневно
Твое грядущее торжество!..

Но обло чудище стозевно
Уже рычало на него...

Его со смехом выносили.
А он — в бреду, в грязи, в крови —
Шептал, шептал, шептал России
Слова немислимой любви...

Иван Николукин

«БОЕВАЯ ГОРА»

Не листал я истории местной страниц,
Не искал я свидетелей, сведущих лиц.
Указатель в дороге попался с утра
На тот холм полевой:
«Боевая гора».

Подожди-ка, шофер, заглуши-ка мотор.
И взошел я на гору, точней, на бугор.
И вокруг шелестела колосьями рожь,
И ни облачка в небе, день чист и погож.
Села бабочка рядом, расправив крыла,
Да у самого уха жужжала пчела,
Жаворонков над полем оркестр разлился,
Тихо капнула с листика наземь роса.
И закрыл я глаза, и послушался мне
Гулкий рокот тревожный в тугой тишине.
И я понял, откуда надрывный тот гуд:
Снизу танки с крестами колонной идут.
А за ними шеренги, шеренги солдат,
Каждый держит из них на груди автомат...
Я последнюю пулю послал по врагам,
И винтовка моя прикипела к рукам.
Есть граната еще, штык трехгранный, приклад,
Я еще не один, и один я солдат!
Я живой еще, кто там мне целится в лоб?
Вырыт наскоро узок и мелок окоп,

Но земля подо мною,
Родная земля,
Но земля надо мною —
Родная земля...
И открыл я глаза, и почувствовал вдруг
Тихий страх изнутри, оглядевшись вокруг.
Это с кем же такая невидаль-беда?
Не с того ли я света вернулся сюда?
А прошло столько лет,
А прошло столько зим...
«Боевая гора», ты со мной или с ним?
А вокруг шелестела колосьями рожь,
И ни облачка в небе, день чист и погож.
Та же бабочка вьется, цветные крыла,
Вновь у самого уха жужжала пчела...

Будем хлеб этот есть с этой страшной горы,
Это мертвые нам преподносят дары,
Это я, с того света вернувшись стократ,
Говорю вам от имени павших солдат.
Ах, когда б не табличка в дороге с утра,
Кто бы знал, что ты есть,
«Боевая гора»,
Боевые поля, боевые отроги,
По которым нас мчат боевые дороги.

Виктор Поляков

МЕДАЛИ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Медали сорок первого
иных дорожке втрое —
высокой мерой мерила
страна своих героев.

Нещадной мерой мерила,
награды тяжелели:
медали сорок первого
носили на шинелях.

Аркадий Канюкин

* * *

Извелся, томясь и робея,
пока не услышал ответ:
на главную роль в эпопее
его утвердил худсовет.

Взбурлил и исяк величальный
словес телефонных трезвон.
Как после шумихи вокзальной
в пути обретает вагон

конвейерный климат дорожный,
так после напутствий с лихвой
актер, торжествуя тревожно,
в работу ушел с головой.

Он словно по шагу, по слогу
душой набирал высоту,
осваиваясь понемногу
в ульяновском четком быту.

Не только лишь общностью кровной,
но более тесно — родством
насыщенной жизни духовной
был спаян ульяновский дом.

Преодолевая смущенье,
актер примерял на свои
семейные дни — отношенья
и будни великой семьи.

Как будто карабкался в выси,
с безмерным трудом постигал
движение ленинской мысли,
неслыханных схваток накал.

И счастлив был радостью юной,
коль жестом схватить удалось
умение мыслить трибунно
и время провидеть писквозь.

Ильхам Бадалбейли

* * *

Прекрасный миг, в порыве умиления
Я не скажу тебе: «Остановись!»
Пусть длятся все прекрасные мгновенья,
Чтобы была прекрасной наша жизнь.

Пусть время, сотканное из мгновений,
Нам отмеряет дни, года, века...
В мгновенья просветленных вдохновений
Рождается волшебная строка.

Мгновенье, продолжайся, ты прекрасно!
Мгновенья встречи, длитесь без конца!
Пускай на свадьбы призывает властно
Нас пенье вдохновенное певца!

Пусть крик новорожденного младенца
Несется над землей из века в век!
Пускай мгновенья сладостные детства
Несет в себе до смерти человек!

Но в миг, когда не для потехи праздной,
Стрела летит, чтоб чью-то жизнь прервать, —

«Остановись, мгновенье, ты ужасно!» —
Мгновению хочу я закричать.

Когда с начинкой ядерной ракеты,
Пророча смерть, взлететь готовы ввысь,
Чтоб в краткий миг решить судьбу планеты,
Мгновению скажу: «Остановись!»

Когда врачи бессильны, нет спасенья
И вместе с жизнью угасает взгляд,
Мне хочется остановить мгновенье,
Мне хочется вернуть его назад.

Но время движется неудержимо,
В его мгновеньях — радость и печаль.
Я все приемлю — только бы не мимо,
Не пронеслось бы время невзначай.

Земля нас мчит в бушующем эфире,
Даря мгновенья встреч и горьких тризн,
Чтоб ни на миг не обрывалась в мире
Земная песня, что зовется — жизнь.

Ярослав Васильев

СТАРИК

Вмерзла в заводь ранняя звезда,
Ветер в поле сухо проскрипел.
Отошла осенняя страда.
Тяжелеют руки — не у дел.

Тяжелеют веки в темноте.
Да никак не спит старик.

Что он ищет, шарит в пустоте,
Что же сделал на своем веку?

Вот с трудом встает, глядит в окно:
То не дочь ли в небесах поет?
То не сын ли сеет там зерно?
Отчего ж к себе не позовет.

Александр Сенкевич

* * *

Что делать без друзей?

К чему тогда пиры
и жарких слов искусные узоры,
которыми расшиты разговоры,
как ферязи ивановой поры.
Мой стол накрыт и вымыты полы.
Я жду друзей. Они приедут скоро,
чтоб отогреть застуженное горло

глотком вина из старой пиалы.
Моей жене, что в юрте рождена,
та пиала в приданое дана.
На пиале по кругу письмамена:
«Тогда лишь будет дружба спасена,
когда в ответ на сказанную ложь
ты молча пьешь, и снова молча пьешь».

Владимир Бояринов

ЗЕМНЫЕ ВОРОТА

1

От солнца напротив,
В бору во сыром
Осанистый плотник
Играл топором.

Кипела работа:
У края земли
Резные ворота
До неба росли.

За ними — палаты,
Каленый причал.
Там плотник закаты
И зори встречал.

И солнце вставало
В положенный час
И стругом врывало,
В ворота стучась.

И петли скрипели,
И сокол кружил.
И плотник при деле
Безбоязно жил.

2

Но странная дума
Смущала давно. . .
Он вздрогнул от шума
И глянул в окно:

Как много народа!
Как сильно стучат!

— Откройте ворота,
Откройте! — кричат.

— Чего вы орете
У края земли?
Беда ли в народе,
С ума ли сошли?

Лишь солнцу стучаться
Пристало — ему
Назад возвращаться
Дано одному.

У плотника — слово,
У страждущих — страсть.
Сорвали засовы,
Потешились влать.

3

И снова светало
По строгим часам.
И плотник устало
Осину тесал.

Сидел на крыльчке,
Как прежде, один.
На каждой дощечке
Цифирь выводил:

«Рождение — завязь.
Забвение — смерть».

И щепки вонзались
В небесную твердь.

Марк Рихтерман
1942—1980

Марк Рихтерман родился в Москве. У него было техническое образование, он строил авиационные моторы. В ранней молодости он заболел неизлечимой болезнью, сведшей его в могилу в 1980 году. В последние годы его недолгой жизни на земле его удерживало служение поэзии. Он надолго пережил всех, кто одновременно с ним стал обитателем больничных палат. В конце жизни он был полупарализован, едва переступал с ноги на ногу, преодолевал боли, какие сломили бы всякого.

Жизнь Марка Рихтермана служит примером поразительного мужества и воли, направленных к одной из высочайших целей на земле — поэзии.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

* * *

Не могу простить природе
Мысль, навязанную мне,
И стремление к свободе,
Занесенное извне.

Ту отчаянную тягу,
Что в душе своей таю,
И никчемную отвагу,
И беспомощность мою.

Быть бы лучше, быть бы проще,
Быть бы деревом простым,

Поселенцем тихой рощи
В переменах лет и зим.

Там лавина листопада
Шла бы мирно надо мной,
И не ведал бы разлада
Я в судьбе своей чудной.

Птицы б мимо пролетали —
Не тянуло бы меня
В неразгаданные дали,
В ширь закатного огня.

* * *

Поэзия, не доводи до самой
Последней ноты, о, не доводи!
До той слепой бессонницы упрямой,
До резкого биения в груди,
Поэзия, не будь Прекрасной Дамой
И призраком не рыскай впереди.

Меня в пути коснулась ты случайно
На том пути, где запрещен возврат.
Поэзия, ты вымысел и тайна,
А я не виноват, не виноват,
Не для меня в ночной степи бескрайней
Огни твои сигнальные горят.

Мне просто нужно рассказать о боли,
Которую я сызмалства несу,
Мне нужно только это, и не боле,
Я мальчик с пальчик в девственном лесу,
Я, как Иосиф, заблудился в поле,
Но ни себя, ни братьев не спасу.

Иметь бы вдоволь калача ржаного,
Чтоб всех голодных в мире одарить,
Найти бы только три заветных слова,
Чтоб больше ничего не говорить,
Познать бы сущность в глубине былого,
Чтоб свет грядущий возблагодарить.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Звезды падают к нам на порог.
Жизнь, наверное, очень смертельна.
Так дадим поскорее зарок
Жить на этой земле неподдельно.

Будет сердце кровить и кровить,
И в делах, как всегда, неполадки.
Но не будем душою кривить,
Доживая вот эти остатки.

Со своей обгорелой судьбой
Нам не стоит в хвосте волочиться,
Мы так много узнали с тобой,
Что пора нам учить, не учиться.

И хоть это еще не итог,
Но уже это многое значит —
Звезды падают к нам на порог,
И грядущее в сны маячит.

Валентина Мариничева

* * *

В День Победы, в час Салюта,
я опять не буду знать,
мне куда себя девать:
десять, двадцать, тридцать лет
разрывает сердце болью
неземной — его — привет.

* * *

Все выше, голубее небеса.
Все ласковей, длиннее
солнца взгляд.
Снега задумались: пора в дорогу...
А человек — что ж он? —
добра и зла носитель?
то созидатель, то губитель,
то скопидом, то расточитель,

то мудр, то глуп.
А в помыслах то низок, то высок...
И все-таки всегда самонадеян.
Из этого есть что-то и во мне.
Но больше от беспомощности снега:
когда все ласковей, длиннее
солнца взгляд.

* * *

Запела бы о море, о лесах,
о таинстве ночных небес.
Да мало ли о чем.
Все эти песни отеснила
такая боль за человека,

что отдала бы все — и жизнь.
Его окликнуть не решусь:
без этой боли быть страшусь.
Душа умрет — лишившись боли:
как вечный узник — накануне воли.

* * *

Летает птица. Я — хожу.
Ей не завидую, гляжу —
на мирозданье, на ромашку...
И первому, кому нужна,
отдам последнюю рубашку.
И птица, очертив крылом
голубизну своих владений,
воскликнет клеточно: «Люблю!» —
сверкнув на солнце опереньем.

Иван Савельев

* * *

Высказывайтесь до конца,
Поэт, ученый и философ,
Чтоб лишних не было вопросов
От мудреца и от глупца.

Высказывайтесь — победит
Все то, что мучит не напрасно,—
Ведь только ясность, только ясность
Черты лица не исказит.

Да мы затем и отстояли
Мир красоты и доброты,
Чтоб безупречно совпадали
Лица и времени черты.

Лариса Сушкова

* * *

Сугробы облаков нетронуты и рыхлы,
Горячие лучи морозный воздух жгут.
Со скоростью высот пронесит белым вихрем
Отчаянную мысль — совсем остаться тут.

Избороздит душа без голода, без жажды
Воспетую давно, заманчивую твердь,
Наскучит это ей и кинется однажды —
В нечаянный просвет на милых поглядеть...

И тихо все вокруг, как после снегопада,
Под сводом голубым на утренней земле.

Космический покой открылся просто взгляду,
Но ты летишь в ядре, в охранных, в тепле.

За что тебе дана сегодня эта милость —
На версты в высоту ни ферм стальных, ни крыш?
Ведь Пушкину отсель взирать не доводилось.
А ты, потомок бледный, буднично глядишь.

Что временем своим случайно удостоен,
Что избран, вознесен в лучистый ореол?
Каких полей и доблестей ты воин?
Каких просторов мужества орел?..

* * *

Где синие тени, змеясь по уклонам,
Упали по свежему снегу всему —
Полощут березы под ветром влюбленным
Кожичи нежную бахрому.

И сгрудились сосны, приблизившись к логу,
Считая, что света уже через край.
И красный кустарник сжимает дорогу,
Потом отпускает, смеясь: убегай!

Такой уж день этот выдался — редкий:
Как будто увидела что впереди
И вскрикнула белка, застыла на ветке
И рыжие лапки свела на груди. . .

Марина Сафонова

* * *

Бед и счастья будет много.
Жизнь долга и коротка...
Манит трудная дорога —
Вдаль зовущая рука.
Мне идти по ней придется
С непокрытой головой.
Гром ли грянет,
Дождь прольется,
Плащ последний разорвется —
Не проклясть мне жребий свой.

Станет встречный-сладкоречий
Уговаривать-просить:

«Ты слаба. Брести далече,
Ран, болезней не залечишь...
А не проще ль своротить?»

Уходя,
с обидным смехом
Брошу я ему в ответ:
«Путь далекий — не потеха,
Грязь и холод — не помеха.
В жизни мне дороги этой
Ничего дороже — нет».

* * *

Семена, из которых стихов пробиваются строки,
Прорастают из сердца и долго таятся от глаз.
Набирают их стебли прозрачные горькие соки,
Вызревает бутон, как сверкающий крупный алмаз.
И когда отшлифуешь в сознании каждое слово,
И раскрыться бутону настанет
единственный срок,
На бумажном листе,
к испытанию жизнью готовый,
Распускается пламенный — хрупкий и гордый — цветок.

К КАРТИНЕ ВЕРМЕЕРА ДЕЛЬФТСКОГО (1632—1675) «ДЕВУШКА С ПИСЬМОМ»

Окно перед тобой открыто триста лет...
Десятки тысяч раз сменялись мрак и свет,
Шумел базаром день, и тихо ночь ступала.
А ты свое письмо печальное читала.

Беды не осознав, спокойна, как была...
Увидишь слово с м е р т ь — и перечтешь сначала.
Несчастья глубину постигнуть не смогла,
И в сердце нота зла еще не прозвучала.

Когда бы ты прочесть успела до конца,
Прекрасные черты рыданье исказило...
Но чтоб сберечь овал девичьего лица,
Твои часы рука творца остановила.

Юрий Денисов

* * *

Лететь в экспрессе затаив дыханье,
скользить глазами по березняку,
по синеве небес — до спазм в гортани,
до жгучих слез, не ведая заране,
куда себя заброшу, упеку;
стоять, к окну прижавшись, в ожиданье
чудес, каких не видел на веку;
ловить душой в предутреннем тумане
поля, двуколку, юркую реку,
копешку сена на лесной поляне
и ворона на взветренном суку.
Вдруг ощутить в себе полынью-тоску,
давно в душе дремавшее желанье —
сойти на полустанке, в глухомани,
пойти тропой, манящей вглубь, в тайгу,
и очутиться в незнакомом стане,
к медвежьему прибиться уголку
и в местной школе, встретив пониманье,
зимой под ветра свист и завыванье,
весной — под неумолчное «ку-ку!»,
уйдя от суеты и от метаний,
учить детей родному языку.

Татьяна Никологорская

* * *

Детству сына чисто поле
Прежде моря покажу.
«Посмотри, какое поле», —
Только сыну и скажу.
Будут жаворонки зваться
Песенкой неназванной,

Будут очи наливаются
Среднерусской синевой.
Только б детство в миг покоя
Мне к груди своей прижать,
Только б мне до чиста поля
Поскорее добежать.

Александр Булавин

* * *

Бор степей, околица деревни,
Поздний вечер, в избах ни огня.
В сумрачной тиши из-за деревьев,
Может, кто-то глянул на меня?

Вспомню мать перед ее кончиной,
В душу устремленные глаза.
Был я горя матери причиной.
Навернется поздняя слеза.

А из труб нигде не видно дыма,
Около избы густой кипрей.
Свет закатный, трепетный, родимый
Гаснет и уходит все быстрей.

Я боюсь молчания ночного,
Тьма встает глухая впереди.
День, побудь со мной еще немного,
Ну, побудь еще, не уходи.

Вадим Семернин

«МОРОЗ» ПО ЖЕСТИ

Памяти Николая Рубцова

Показали устюжане
Как-то мне «мороз» по жести.
У меня — мороз по коже:
До чего ж хорош!
Он как будто излучает
И тепло и холод вместе,
И любой играет гранью,
Как ни подойдешь.

Будто след коньков на речке,
Будто это — шаль метели,
Словно северным сияньем
Полыхнуло в ночь!

Словно тихий свет от печки,
Чьи заслонки покраснели,
Ловишь ты на расстоянье,
Не отходишь прочь.

Говорят, что в этом месте
Не «морозят» больше жести,
Говорят, секрет потерян —
Спорить не берусь...
Сколько в жизни ты теряла
Дорогого матерьяла:
И умельцев,
и кормильцев,
И поэтов, Русь!

Сергей Каратов

* * *

Не оставляйте женщину одну,
чтоб на нее не возводить вину
за смех и за ее беспечный вид,
что прикрывает горечь всех обид.

Обид за то, что нелегко одной,
за то, что жизнь проходит стороной,
за то, что вы в заботах и делах,
за то, что тени прячутся в углах.

Не оставляйте женщину одну
свободную, но все-таки в плену,
в плену чужих настороженных глаз,
что так ее преследуют подчас.

Чтоб не искать в своих домах следов,
чтоб не чинить по глупости судов,
чтоб не будить сомнения струну,
не оставляйте женщину одну.

Олег Хабаров

* * *

Эхо далекое мчится,
гнутся к земле ковыли...
Что-то мне нынче не спится, —
эхо вернулось любви.

Вот оно, вот оно, рядом,
село во ржи отдохнуть,
тише вы, добрые люди,
можете эхо спугнуть.

Эхо ласкает колосья,
шепчет им сказки свои,
и затаились березки,
грянули соловьи.

Александр Тихомиров
1941—1981

Не стало Саши Тихомирова. Погиб человек, для которого поэзия была смыслом и сутью существования, способом восприятия и запечатления действительности, средством общения с людьми и природой. Чем бы он ни занимался, а за время своей короткой жизни он перепробовал много занятий, Саша оставался прежде всего поэтом. Это очень трудно, но у него не было выбора, он не мог и не хотел жить иначе.

Бесконечно добрый, деликатный и мягкий, он был непреклонен только в том, что касалось поэзии и чести. Ничто не могло заставить его унизиться или поступить недостойно. В одном из своих еще не опубликованных стихотворений он писал: «Фантастичней видений поэта необъятная совесть его». По отношению к самому Тихомирову — это истинная правда.

У него была редкая способность, при своей совсем не легкой жизни, радоваться большому и малому: и весенней капели, и игре солнечного луча в зеленых листьях, и пению птиц, и самой малой травинке родной земли, которую он любил беззаветно, и удаче друга, и хорошей картине, и многому, многому другому. Со своей необъятной совестью поэта он щедро делился радостью с друзьями и читателями, которые тоже становились его друзьями, потому что невозможно было прочесть его стихи и не почувствовать друга.

Любознательный, азартный, он не раз работал в руководимой мной археологической экспедиции. Однажды, когда у нас не хватало рабочих рук, Саша съездил в Кипинев и привез оттуда всю секцию поэтов местной писательской организации, которую он уже успел влюбить в себя. Поэты и поэтессы вооружились лопатами, ножами и скальпелями. Они быстро справились с работой, и далеко за полночь затянулся потом импровизированный вечер поэзии. Кстати сказать, эта способность влюбить в себя людей была одной из самых его характерных черт.

Небольшая, но прекрасная книжка его «Зимние каникулы», вышедшая в 1973 году, да несколько подборок стихов в разных сборниках — вот и все, что пока у него опубликовано. Наш долг перед его памятью, перед читателем сделать всеобщим достоянием его творчество.

Член ЦП СССР, доктор исторических наук

Г. Б. ФЕДОРОВ

* * *

Опять пробуждения сладки —
И думать забыл о плохом!
Морозца утиные лапки
Кой-где на асфальте сухом.
Напротив витрин магазина,
На солнце, где вход в ателье,

Прозрачная дымка бензина,
Как барышня в синем белье!
И самая главная новость —
Всему я так искренне рад,
Как будто не ведала совесть
Страданий, сомнений, утрат. . .

* * *

Мир печальный, мир смешной
Я ль избавлю от порока?
Не гожусь на роль пророка —
Мощь не та! Но шут со мной. . .
Мало ль ходит среди нас
Истинно людей прекрасных —

Очень умных всякий раз,
Даже кое в чем опасных?
Я бы крикнул им «ура!»,
Мол, вперед, друзья, к победе. . .
Только поздно — спать пора!
Да и, знаете, — соседи. . .

* * *

Ах ты, милочка моя,
Не печалься, Лидка!
Вот могилочка моя —
Синяя калитка.

От росы сверкает крест,
Лавочка отволгла. . .
Пусть я тут один, как перст,
Буду долго-долго!

* * *

Вон от меня, отчаянье,—
Изыди!
Проваливай в свои тартарары...
Я не в обиде,
Слышишь,—
Не в обиде
На жизни непонятные дары.
Еще я мальчик,
Слышащий и зрячий,
Расхаживающий по траве горячей,
И что такое попадать во тьму —
Непостижимо сердцу моему!
Не тронь меня, отчаянье,—
Не надо!
Я буду защищаться до конца —
Да хоть бы той виньеткой винограда,

* * *

Ах, картошечки печеные,
Угольки по вечерам...
Ветки черные-крученые,
Смех и звезды,
Плеск и гам.
А что дальше-то,
Что станется —
Тут нечего гадать...
Я никто,
А ты — страдальица,
По глазам твоим видать.
Станешь, горем удивленная,
Прятать слезы по платкам,
Как царевна, уведенная
На съедение волкам.
Не в котлах тонуть кипучих мне
И не в водочном ковше,
А в твоих слезах горючих —
С тяжким камнем на душе.

* * *

Во сыром-бору — отчизне
Расцвечал цветок,
Непостижный подвиг жизни
Совершал, как мог.
Побледнел, упал на хвою —
И чудно ему,
Что хотел-то он на волю,
А попал в тюрьму.
Ты не вянь, не вянь, цветочек,
Если что не так —
Твой голубенький платочек
Прогоняет мрак.

В Молдавии
Над буквицей крыльца!
Ну вот... Опять стал слог витиеват.
Отчаянье,
Ты в этом виновато!
А ну скорей проваливайся в ад,
Космато,
Черновато
И хвостато!
Еще я в две шерстяночки одет,
Еще я с тонким шарфиком на шее,
Мне — восемь лет,
А может, девять лет,
И многим добрым людям
По душе я!

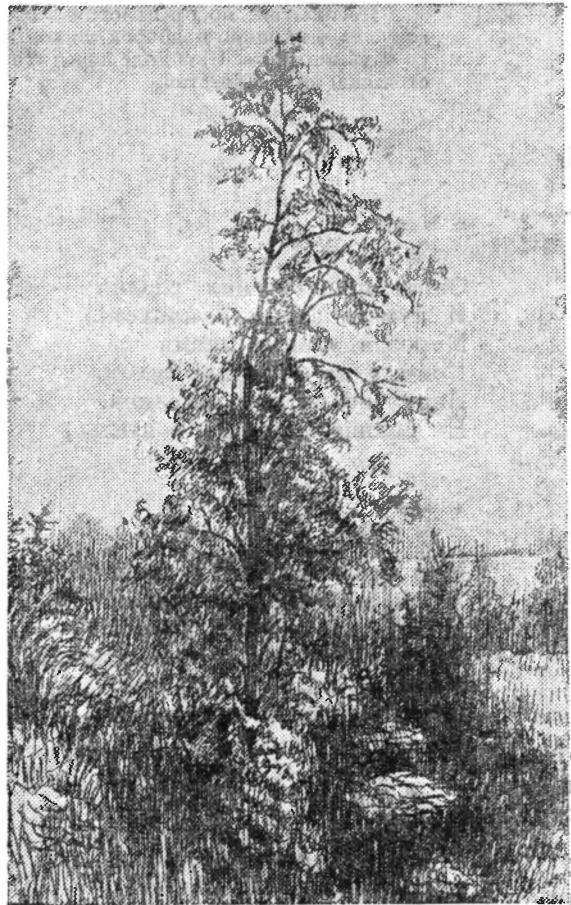


Рис. В. Симонёнка.

* * *

Мне шлют полузаметные кивки,
Как в урну деликатные плевки,
Презрение — у каждого лица,
Мерцают взоры ядовитым лаком. . .
А коридору
нет и нет конца!

. . . В сей миг печальный
Мой бы сын заплакал,
Когда б увидел своего отца.

* * *

Не желаю бессмертья земного,—
Хоть оно мне и по плечу.
Но я жажду бессмертья иного. . .
Надо думать, что получу!

Догадался по многим приметам,
Что идем мы на праздник большой,—
Станем добрым и мыслящим светом,
Что у каждого есть за душой.

Любовь Осипова

* * *

Малороссийской речи колдовской напев,
к нему припала, что к воде студеной,
от жадности давлюсь, глотаю иступленно
и обретаю слов звучанье, осмелев.

и над черниговской брусчаткой
парю, как одуванчиковый пух,
и в нежности мелодий сладких
вдруг растворяется на злость и резкость падкий
московский раздраженный слух.

Как устояла эта нежность
среди усобиц и вражды,

как одолели неизбежность
ее славянские черты,

ценой каких земных страданий,
ценой каких предсмертных мук?
Ни половецкою гортанью,
ни печенегов бранной бранью
растерзан не был этот звук.

Иду черниговской брусчаткой,
от нежности осатанев,
не чуя ног, походкой шаткой,
в крови моей шумит нещадный
славянский песенный посев.

* * *

Стою в горячей дорожной пыли,
мои волосы в пыльце зверобоя и таволги,
от запаха лип,
растущих на обочине леса,
мои ноздри раздуваются,
как у загнанного погоней коня.

Стою в горячей дорожной пыли
и босыми ногами чувствую, как напрягаются
мышцы земли от желания напоить соками
каждый ничтожный корешок.

Июльский сытый полдень
жаркой лапой залез ко мне в мозг
и украл сознание.

Моя голова наполнилась
жужжанием пчел, и я лишь одно способна
понять,
что участвую в непостижимой мистерии.

Стою ошалело в горячей дорожной пыли.

* * *

Под нашими ногами свистит морской песок
в прибрежном чернотале посвистывает птичка
черкнув о влажный коробок
твоя зажглась со свистом спичка
и за моей нагретой солнцем ситцевой спиной
свистит привычно электричка
и песенку о глупой Мэри насвистываешь ты
следа зеленым взглядом
как желтый шарик спрыгнув с высоты
на ниточке-луче со свистом пролетает рядом.

Свистящий звонко, легковесный день!
Люблю ли я тебя, ах, боже мой, конечно, да
и легкомысленно вода
вдруг повторила да да да
упала под ноги нам птицы тень
споткнулась я о пень
вот ерунда я не боюсь примет
в твоих глазах сменился черным зеленым свет
люблю ли я тебя, ах, боже мой, конечно, нет.

Геннадий Хомутов

ВОСПОМИНАНИЕ

Ивану Уханову

Еще у зимы все дороги кривы,
И солнце никак не поднимется выше.
И надо корове дожить до травы.
Мы подняли руку на крышу.
В солому вгрызаемся зубьями вил. . .
Она погнила, почернела, слежалась.
И душу сжимает внезапная жалость,
Когда обнажаются ребра стропил.
Все мать. . .
И виною рассказы ее
О жизни счастливой своей довоенной:
— Отец подымал этот дом пятистенный,
И крышу он сам водружал на жилье.
А я помогала, была занятой,
А крыли мы длинной соломой ржаною. . .
Я помню: солома была золотой,
А я молодую, еще — не вдовою. . .

БАБКА

Зима озорует, квартиру студит,
Зима без работы ни дня не сидит.
А мы кочережкой в печке шуруем,
И чай кипятим, и весь вечер пируем.
Тепла не жалеет железная печь.
А бабка моя не скупится на речь.
Но любит она после чая прилечь —
Сиди ожидай и ни в чем не перечь
Да слушай ее самотканую речь.
У нашей беседы под теплым крылом
Мы с ней вечера коротаем вдвоем,
И воспоминаний ее пересказ

Как речка по камням — течет без прикрас.
— Бабушка, слушай, ты очень стара?
— Нет, я не старая, а старинная.
Тихо горю, как свеча стеариновая,
Разница лишь — не сгораю дотла.
Да, я старинный уже человек.
Помню, как прошлый состарился век.
Мне сожалеть о нем нету причин.
Писать не учил и читать не учил.
Все для меня не хватало чернил. . .
С внучком своим, со своим посощком
В новый, в двадцатый пришла я пешком.

НИТЬ

Мне мать
 связала теплые носки
И варежки
 по деревенской моде.
Но туфли для носков таких узки,
А варежки при городском народе
Такие неуклюжие носить. . .
Без варежек мне лучше пофорсить.
А шерсть тепла.
 Она дождем была,

Сверкающим над летним полем.
Травой, что шелестела и плыла,
Овечкою,
 гуляющей на воле.
А эта шерсть в осеннем октябре
Из ушка прялки вытекала нитью. .
Мать помнила о лютном январе
И торопилась к этому событию. . .

Геннадий Калашников

* * *

Живу я в своей стороне
с железной дорогой в окне.

Не знаю: откуда, куда
железные прут поезда.

И целую ночь напролет
железный гудит самолет.

Под частым железным дождем
железобетонный наш дом.

Холодной весной высоко от земли
железные прутья из стен проросли.

Лидия Белова

* * *

Веди меня, веди по краю,
По кромке опочивших дней,
Я слушаю — и забываю
Бессилье радости своей.

Прозрением твоим бессонным
Превращена почти в испуг,
Всем телом, легким, невесомым,
Теку куда-то я, как звук.

Теку — зачем? Теку, не зная,
Что ничего не отболит;
И тяжесть грузная, земная
Все так же сердце тяжелит. . .

Не докричаться, не дозваться
Из зимней мертвой глухоты,

И ветки старые стучатся
В надежде, что услышишь ты.

Благословлю я это иго,
Коль скажешь ты, презрев дела,
Как я до этого вот мига,
Себя не помня, дожила?

Стой, время, жизни друг неверный,
Не обрекай меня на смерть.
В бессилье радости забвенной
Хочу теплом всем вкаменеть.

И, как при вспышке беглых молний,
Я, постарев на мысль твою,
Гляжу в лицо любви безмолвной
И в ней забвенье узнаю. . .

* * *

Жизнь прожить — студить росой и ранью;
На краю сознания и тепла
В перекал забытого сознания
Бросилась и душу не сожгла.

Как горела, как горела немо!
Как мне сердце вымел суховей.
Дай мне силы, жизнь, чтоб я сумела
Имя не забыть любви своей.

Нет, не мы, а сроки стали ветше,
Тишь моя подобна мятежу:

Дождь, со стороны твоей пришедший,
Дай я на ладонях поддержку. . .

— Остуди,— скажу ему,— ладони,
застудилась я давно в росе,
застуди тоску мою о доме,
о моей несбывшейся красе. . .

Все равно меня леса и пущи
Примут, эхо осени храня.
И увижу я сквозь день грядущий
Кроткие глаза бывшего дня.

Алла Ахундова

СОЛЬ

Мы посыпаяем солью хлеб
И солью утоляем жажду.
Мы — соль земли, но ей ущерб
Мы наносили не однажды.

Мы посыпаяем солью снег,
Из гололеда сделав слякоть. . .

Но соль слезы меж нежных век
Нас тоже заставляет плакать.

Труд — проступает солью пот.
Боль — соль насыпана на рану.
Кровь солона. И соль плывет
По мировому океану.

* * *

Деревья в сумерки смолкают.
Они уже явление тьмы,
Но мыслью солнечной сверкают
Их помраченные умы.

Корней и кроны полушарья
Ствола соединяет мост.
Быть может, мыслит этот мозг
И есть древесное сознание?

О чем они хранят молчанье,
Оберегая тайну тьмы?
И дышат так же, как и мы,
Но только ночью. . . Не случайно ль,

Что в новых сумерках рассвета
Их вдруг охватывает дрожь?..
И вздох внезапный, не от ветра,
На вспышку разума похож.

Владимир Карнец

* * *

Забудь про земные свободы,
Но ухо к земле приклони
И слушай подземные воды,
Шумящие здесь искони.

Ты слышишь — восходят из гари
Потомки родов и племен
От плотника до государя,
От Кня до наших времен?

Восходит под вечные своды
Все то, что спорело дотла,—

И нового века заводы,
И древних веков купола.

И в шуме грядущего гула,
Не слышанного отродясь,
С тобою и пахарь Микула,
И Красное Солнышко — князь.

И в будущей памяти, с ними,
Душа обретает и зрит
Отечество, отчество, имя
И свет, что над нами горит.

Геннадий Фролов

ИЮЛЬ-СЕНОЗОРНИК

Вьются пчелы, висит рукомойник,
Согревая на солнце бока.
И блуждает июль-сенозорник
В мгле левкоев, в глуши табака.

Это жизнь! Это радость соседства
Птичьих крыльев и дрожи листа.
Это ветра зеленое детство
На сухих и колючих кустах.

Это дымная горечь полыни,
Это сонная память отца,

Юность деда и прадеда — синий
Полевого озноб бубенца.

Милой матери губы протянешь
За улыбкой малины — бери!
И уснешь оттого, что устанешь,
И проснешься еще до зари.

Чтоб опять захлебнуться удачей —
Выйти первому в утро земли,
Легкий след оставляя в горячей,
Не остывшей и за ночь пыли.

Александр Смирнов

* * *

Я тоже был владельцем сада.
Все было как у всех — земля, ограда,
шалаш, костер, садовый инвентарь.
Как первый земледелец встарь,

забыв существование сна, еды,
я ночью выходил коснуться борозды,
погладить тонкий ствол, в запутанных
кустах
послушать лепетанье птах...

Но гибло все — деревья и кусты,
на клумбах бледные цветы,
едва поднявшись, увядали,
ряды ухоженные всходов не давали,

как если бы приток творящих сил
в земле враждебный дух остановил
неукротимой ворожкой.

Вконец измученный борьбой,
я бросил заступ и — ушел.
А сад поднялся... И расцвел!

Николай Капитанов

Перед вами — совершенно особенные страницы «Дня поэзии». Они предоставлены человеку, который ни в коей мере не является профессиональным поэтом. Он посвятил всю жизнь другому творчеству — техническому и достиг на своем пути настоящих высот. Н. Н. Капитанов — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РСФСР, руководитель сектора в одном из научно-исследовательских институтов. Как крупный специалист, он объехал полмира в научных командировках. Казалось бы, он вполне мог удовлетвориться достигнутым. И все же в какой-то момент — как говорится, уже на склоне лет — поэзия стала для него необходимостью.

Вначале была личная трагедия — смерть любимой дочери. «Болящий дух врачует песнопенье», — сказал Боратынский. Потом поэзия превратилась в постоянную заботу и радость. И это само по себе замечательно как лишнее свидетельство, доказательство жизненной необходимости поэзии.

Но, конечно, дело не только или, вернее, не столько в этом. Стихи Николая Капитанова замечательны (не побоюсь этого слова) тем, что в них обнаженно выступает первородная сила поэзии, о которой исключительно важно ныне помнить. Сейчас публикуются бессчетные стихи, сделанные по всем законам мастерства, но почти или совсем лишённые этой ничем не заменимой силы. Стихи, начисто оторванные от живого, «неэстетизированного» переживания. Стихам Николая Капитанова легко предъявить противоположные упреки. Они недосозданы, неуклюжи, подчас даже, если сказать резко, косноязычны. И все же многие профессионалы могут, я полагаю, остро позавидовать той подлинно поэтической энергии, которая дышит в этих несовершенных строках...

ВАДИМ КОЖИНОВ

* * *

«Могила, могила разрыта.
Стоим в изумленье над ней.
Стучались в нее копыта
Татаро-монгольских коней.
Над нею, где с облака льются
Потоки ветров до земли,

Пылали огни революций
И в космос ушли корабли...
Молю я ребенка родного:
«Хоть слово скажи... Навсегда...»
Но если б сказала хоть слово —
Земля б содрогнулась тогда.

* * *

Жизнь делится на то, что было при тебе,
И то, что началось, когда тебя не стало.
...Нагрянули морозы в сентябре.
Снег первый, горестный, спускается устало.
А на земле все так и все не так,
Чему-то рады взрослые и дети.
Проселками я вышел на большак,
А ты и здесь. В кругу девчонок встретил.

Но издали. Вблизи — не ты, не ты...
Меняюсь с ними взглядами немymi.
Из ужаса могильной тесноты
Выходят лишь могильщики живыми.
А я иду, неистово иду.
Деревья — мимо. Люди, тучи — мимо.
Другому не отдашь свою беду,
И жить мне с ней невыносимо.

* * *

День сменила задумчивость ночи
И меня по тропинке ведет,—
Под ногами кузнечик стрекочет,
В темном небе гудит самолет.
Серебром отдает лебеда,
Звездным блеском заполнены дали.
...Если б не было ночи,— тогда
Ничего б о вселенной не знали.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

А умели ж в двенадцатом веке
Храм и вал возвести на века.
Не размыли весенние реки
У валов земляные бока,

Все, что может гореть, сторало,
Все, что можно унести, унесли.
...Гордость с болью — по гребню вала
И в просторы русской земли.

* * *

Муравьи в дому осточертели.
Жили на здоровье бы в бору.
Нет! С людьми тягаться захотели!
Пейте ж подслащенную буру...

Я гляжу на жадную ораву,
Жалость душу тронула мою —
Потому ли, что они отраву
По-людски, не отрываясь, пьют?

Александр Николаев

НА ЗЛОБУ ДНЯ

С наивною чистосердечностью
ты упрекаешь, друг, меня,
что, не задумавшись над вечностью,
стихи пишу на злобу дня.

О, вечных споров бесконечность!
Как знать, каким из наших дел
запрограммирована вечность,
каким — совсем иной удел?

Жизнь поворачивает круто
прямую линию дорог,
и входит в вечность та минута,
которой сам ты пренебрег.

По фронтовым дорогам оба
прошли мы не одну версту,
на злобу отвечая злобой
и добротой на доброту.

Солдат
поступком человечным,
ребенка спасший из огня,
вошел в историю навечно,
войдя в стихи на злобу дня.

Кому-то, может, видеть странно
на пьедестале у него
дитя из вражеского стана,
а не из дома своего.

Считая заповедь святою:
«Не озлобись, не очерствей!» —
ответил воин добротой
на злобу тех военных дней.

И если выглянет косая
ракетой в тысячи смертей,
мы преградим ей путь,
спасая
чужих и собственных детей.

Да будет мир тому свидетель.
А что касается меня,
я воспеваю добродетель,
когда пишу на злобу дня.

Как мысль во взгляде человека,
как солнце в капельке росы,
так в злобе дня
вся злоба века
в иные видится часы.

МАЛЬЧИШЕСКИЕ КЛИЧКИ

По мальчишеской глупой привычке
звать друг друга не по именам,
мы давали обидные клички,
впрочем, клички давали и нам.

Я был тихим и дома и в школе,
видно, чем-то себя замарал,
если кличкой
обидной до боли
задразнили меня —
Генерал!

Обрекли на позор,
на страданье,
этим званьем меня наградив,
когда в армии не было званья
генерал,
а комкор и комдив.

Но реабилитирован скоро
был я волей трудящихся масс:
командармы, комдивы, комкоры
генералами стали у нас.

Заразившись всеобщей привычкой,
я не мог оставаться в долгу

и друзей припечатывал кличкой
так, как недругов нынче могу.

Да, признаться, что было, то было.
Но какой, не пойму, интерес
звать красивого мальчика — Рыло,
а отличника кликать — Балбес?

Как порой вы, мальчишки, жестоки!
И откуда жестокость,
бог весть.
Может, в кличках какие намеки,
предсказания, пророчества есть?

Но ведь я же не стал генералом,
лейтенант — весь мой воинский рост.
Впрочем, может быть, дело за малым,
просто сам не хватал с неба звезд.

С фотографии смотрят с укором,
чтоб позор мой давнишний воскрес,
Рыло, ставший известным актером,
ставший видным ученым Балбес.

А девчонка, что звал я разиней,
мне встречается в Доме кино.
Разъезжает в своем лимузине
продавщица отдела «Вино».

Валентин Берестов

УТРО В МИКРОРАЙОНЕ

Церквушка сельская меж корпусов столицы,
И крест, как прутик, в тонком клюве птицы.
Пел соловей в лесу внутриквартальном,
И чайка одинокая летела,
А вместе с нею тень на парапете
И белое видение в воде.

Кто раньше встал, успел понюхать ландыш,
И увидеть калужницу в цвету,
И помечтать, что мир переменялся,
Что в прошлое ушел обычай предков,—
Все редкое срывая по дороге,
Пропалывать природу от чудес.

НАДПИСЬ В КРАСНОЙ КНИГЕ

Пусть будущие поколения
Не скажут с болью сожаленья:
«Жил-был смешной пушной зверек,
Но мир его не уберек».

* * *

В запасе вечность у природы,
А у людей лишь дни и годы,
Чтобы взглянуть
На вечный путь
И разобраться, в чем тут суть.

Николай Глазков
1919—1979

* * *

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел ее издать.
Она валялась средь Расеи
И начала произрастать.

Поднялся рукописи колос
Над сорняковой пустотой.
Людей громада раскололась
В признание рукописи той.

Одни кричали: — Это хлеб,
И надо им засеять степи.—
Другие, что поэт нелеп
И ничего не смыслит в хлебе.

42г.

ПОСЛАНИЕ МИШЕ ЛУКОНИНУ

Ведь ты поэт, и я поэт.
Мы, зная толк в стихах,
Друг друга знаем больше лет,
Чем пальцев на руках.

Избрали мы давным-давно
Поэтов ремесло,
А было что перед войной,
То былью поросло.

Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах; но
Кульчицкий где, Майоров где
Сегодня пьют вино?

Для них остановились дни
И солнца луч угас;
Но если есть тот свет, они
Что думают про нас?

Они поэзию творят
В неведомой стране.
Они сегодня говорят,
Наверно, обо мне,
Что я остался в стороне
От жизненных побед...

Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!
Сегодня мной почти забыт

Наплыв былых забот.
Вчера я был как следопыт,
А нынче как завод...

Встает рассвет. Я вижу дом.
Течет из дома дым.
И я, поэт, пишу о том,
Что буду молодым...

Не молодым поэтом, нет,
Поскольку в наши дни
Понятье «молодой поэт»
Ругательству сродни.

Мол, если молодой, то он
Валяет дурака,
И как поэт незавершен,
И не поэт пока.

Нет! Просто мир побьет войну
В безбрежности земной,
Тогда я молодость верну,
Утраченную мной!

Пусть я тебя не изумил
И цели не достиг;
Но как стихи стоят за мир,
Так станет мир за стих!

51 г.

ОБСИДИАН

(Легенда)

Виктору Шевченко — художнику

Один чертенок-сорванец
Забрался в райские чертоги.
Увидя солнечный дворец,
Запричитал: — Живут же боги!

Архангел вышел Гавриил:
— Чего тебе, лукавый, надо? —
Бес сигарету закурил,
Потом спросил посланец ада:
— Видна прозрачная стена.
Скажи мне, из чего она?
Не тайна это?
— Нет, не тайна!
Стена прозрачная хрустальна!

Бес усмехнулся: — Возведу
Себе такую же в аду! —
И — пламя ада помогло —
Поспешно стал варить стекло.

Увы! Венецианцы, чехи
Имели большие успехи.
При всем старании упорном
Стекло у черта было черным!

* * *

Напрасно огорчаешься, волнуясь
По поводу того, что годы мчатся...
Столбцы газет нам заслонили юность,
И бедствия нам заменили счастье.

Мы всё могли и ничего не смели,
Но предаваться не хочу печали:

Тут сатана вмешался сам:
— Стекло серьезного изъяна,
И вылей ты его к чертям
При извержении вулкана!

Бесенок проявляет прыть
И чрезвычайное проворство:
Лил, выливал и будет лить
Отходы адопроизводства!

Так появилось на земле
Стекло — создание природы.
О вулканическом стекле
Узнали страны и народы.

Его геолог находил,
Когда исследовал распадки
Аляски, Корсики, Курил,
Мадагаскара и Камчатки.
В Иране встретиться могло,
Известно Андам и Саянам
Нерукотворное стекло.
Его зовут обсидианом!

79 г.

Мы юности и счастья не имели,
А стало быть, мы их не потеряли!

А будущие годы будут плохи
Иль будут радостными эти годы,
Зависит не от нас, а от эпохи:
От мировой судьбы всего народа!

56 г.

Николай Котенко

К ВОПРОСУ О МАШИННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

Конфузятся злосчастные эвклиды:
Понятно, мы не верим в чудеса,
Но как же он дерзнул — без колеса! —
Такие храмы... или пирамиды?..

Но их бодрят компьютерные гиды:
Все эти чудеса за полчаса
Взметнем — лишь повелите! — в небеса
Мы, Робота с Венерою гибриды!..

Машинный интеллект? — да кто же против,
Коль брошен вызов матушке-природе?
(Хоть «механический» (см.: Монтень) —
«убогий»...)

Уже над м о с л ь ю празднуем победу,—
А вы свое: титаны, полубоги...
Да он, сердешный, колеса не ведал!

* * *

Не труд, а грех нас сотворил, когда
В веселых кущах славного Эдема
Зубами глупых Евы и Адама
Коснулись мы запретного плода.

Но с этих пор вкусили мы труда!
И странно: это не считаем драмой,
Гордясь и повторяя непрестанно,
Что — рыбки не достанешь из пруда...

Но ведь не ради рыбки — что за чушь! —
Беремся мы за самый тяжкий груз,
В нем находя забвение и сладость,—

Бывает, вовсе не едим, не пьем...
Тогда скажите: ну какого ляда
Все сладкое греховным мы зовем?..

Лариса Васильева

СВЕТИЛЬНИК

Современная сказка

I. ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

Безбородая рыжая сила.
Ржавых слов исковерканный звук.
Продырявленный лоб просквозило.
Глухо выпало слово из рук

как игрушка злодейского свойства:
испугать, омрачить, извести,
преднамеренный дух беспокойства
безразличной тщетой оплести.

На дорогу слова выпадают
и лежат, как сырые дрова.
Посмеются. А то порыдают.
Никуда не взлетают слова.

Рассыпающий их усмехнется.
Обнажатся развалины рта.
К позвоночнику сердце прижмется,
как к чужому отцу сирота.

II. РОЖДЕСТВО

На юру деревенская дура
жениха невозможного ждет.
Новый плотник — юродивый Юра
по зловонной помойке бредет.

Разойдутся, столкнувшись друг с другом,
но друг друга не видя ничуть,
между Севером, Западом, Югом
на Восток обозначится путь.

Ничегошеньки это не значит.
Никудашеньки путь не ведет.
Но от черного ворона зачат,
шевелится в ней согнутый плод.

Разродится в районной больнице,
от волхвов прочитает письмо,
мол, у дитятки на ягодице
кто-то хочет поставить клеймо.

Воздух веком отчаянным выпит.
Где искать упасенья от бед?
Невозможно податься в Египет,
но свободен Саянский хребет.

В сотый раз эта древняя сказка
нас морочит и верить велит,
но страшит откровеньем развязка:
у героя немислимый вид:

кто когда-нибудь видел младенца
с фотокамерой вместо лица?
Повитухи, держа полотенца,
поминали Святого Отца...

III. ПРОРОЧЕСТВО

Тут явился на роли предтечи
председатель колхоза «Рассвет»:
— Мы и этого взвалим на плечи.
Для народа препятствия нет.

Воспитаем мальчонку на славу,
будет сытым в любой недород,
а потом он людскую ораву
куда надо, туда поведет.

IV. КАРТИНА (*Созиданье*)

Тяжело отмирает столетье.
Лихорадочен пульс у земли.

Недоверья чугунную сетью
человеки себя оплели.

А в какой-то сибирской глубинке
подрастает Спаситель. Кого?
И чисты у него половинки,
но с обличем немного... того...

Говорят, он растет по системе,
не по дням, по часам, без помех.
Он ни с этими будет, ни с теми,
он за этих пойдет и за тех.

Он взлетит, как ракета в салюте.
Он проявится, как чародей.

Но в какой, извините, валюте
заготовлено тридцать рублей?

V. ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Человечество вышло к порогу,
изогнуло хребты на поклон,
помолиться забытому богу
перед новым явлением времен.

Ожидают. В надежде. В тревоге.
С коробами грехов и обид.
— Слышишь, кто-то идет по дороге!
— Видишь, что-то по небу летит!

Анатолий Брагин

СТОЛП РАДУГИ

И надо ж случиться такому!
Однажды средь летнего дня,
Как только я вышел из дому,
Столп радуги обнял меня.

Хвалиться особенно нечем —
Случайность. Но чудилось мне:
Я знаком особым отмечен,
Что весь в разноцветном огне.

Когда отступал он, я с ходу
К нему — и опять под навес...
Потом он устался в воду,
Я в воду за ним не полез.

С поверьем ли это совпало,
Но думка такая была,
Что в речке вода убывала,
Что радуга воду нила.

Муза Павлова

* * *

Отражалась улица в графине:
полукругом к небу шел троллейбус,
провезли корову на машине,
точно к гильотине королеву.

Жизнь кружилась, поднятая в смерче
бесконечной этой карусели,
только все казалось в сто раз мельче,
как оно и было в самом деле.

* * *

И говорит осина:
— Смотреть невыносимо,
как сильный душит слабого.

Ей отвечают грабы:
— А ты смотреть могла бы,
как слабый душит сильного?

Николай Лисовой

ИЗ ЦИКЛА «СТРАНСТВИЯ ОДИССЕЯ» ИСПЫТАНИЕ СВИНЬЯМИ

Какне злые испытанья
Кронида нам приберегли!
...И корабли, гласит преданье,
Морские волны погребли.
И, усомнившись в трудной цели,
В минутной слабости своей,
На тихом острове Цирцеи
Искал спасенья Одиссей.

Ему казалось, с ним осталась
Толпа друзей. Ну что ж, пойдем!
Цирцея вежливо смеялась
Над незадачливым вождем!
Но воин бросился к богине
И, вырвав жезл из женских рук,
Воскликнул: — Где ж они? — И свиньи
Стопнулись, хрюкая, вокруг.

...Вы знали, вдумчивые греки,
Земные радости цenia,
Что где-то в каждом человеке
Упрямо прячется свинья.

И нелегко во тьме скитаний,
Теряя жизненную нить,
В минуты трудных испытаний
Людскую душу сохранить.

Бывает так: придется туго,
И срок ответить головой,
Но рядом друг. Ты, веря в друга,
Не ждешь измены за спиной.
Ты с ним прошел дожди и вьюги,
Всегда во всем он был с тобой,
И вдруг оглянешься в испуге —
И друг окажется свиньей...

И сколько их, в корыто тычась,
Живет и здравствует кругом,
Своим закутом ограничась
И не заботясь об ином.
Без вдохновенья и без цели
Влекут безрадостные дни.
...И остров пуст. И нет Цирцеи,
Чтоб снова сделать их людьми.

Александр Зорин

* * *

Телеграфный столб
без проводов...
Чашками пустыми оперенный,
просмоленный... В кипени цветов
полевых. Кругом простор зеленый —
ни дороги, ни других столбов.

Дятел не осмелится стучать
по оглобле голой. Не почешет
боров шкуру, и бобер не срежет.
Век ему, безродному, торчать.

Кто ж его откомандировал
в глушь такую... Или сам восстал
из-под камня
на бугре прогревом?..
Или ворон старый пролетал —
уронил перо на месте этом?..

Дремный лес, яруги, да луга,
да болота, да гнилые гати...
Ты откуда, Черная Нога?
Как тебя, к примеру, величати?..

Александр Орлов

* * *

А здесь была моя любовь:
Картошка, свекла, и морковь,
И маленькие огурцы,
Что завещали нам отцы,

И проскрипел капустный лист:
Примитивист, примитивист.

* * *

Если ты человек, у тебя есть мать
И есть жена, между прочим.
И если тебе есть что сказать,
То говори короче.

* * *

Давно уж нам пора понять,
Что в жизни все всерьез,
И никогда не занимать
Ума, любви и слез.

* * *

Ты, сова, облетевшая ночное дерево,
И ты, ночное дерево, облетевшее вокруг совы,—
Не надо, не встречайтесь утром.

Игорь Грудев

* * *

Репей однажды в луже
Отразился
И... в самого себя
Вцепился!..

Виктор Коллегорский

ТЫ И Я

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.

Из поэзии 20-х годов

Лети, кораблик мой, лети!
Ведь ты и я одно по сути!..

Евгений Винокуров

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
В какое может занести
Тебя еще стихотворенье?

Забудь, кораблик мой, забудь,
Кто написал тебя. И все же
Боюсь, что вспомнит кто-нибудь,
Что ты и я — одно и то же.

СОН НАЯВУ

В кабаках, в переулках, в извивах...

Александр Блок

Кабаки, переулки, закаты...

Пень, иль волк, или Пушкин мелькнул?

Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой,
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной.

Юрий Кузнецов

Кабаки, переулки, закаты...
Уж не снится ль мне все наяву?
Неужели и впрямь я, ребята,
Знаменитым поэтом слыву?

То ли Блок, то ль обломок цитаты,
То ли пень, то ли Пушкин мелькнул,
То ль онегинский дядя куда-то
Впопыхах не туда завернул.

Александр Иванов

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Пародия

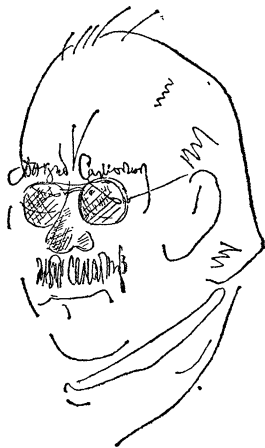
Не ведая мотива,
Не зная слов, пою.
А песнь легка на диво,
И вся — про жизнь мою.

Лев Озеров

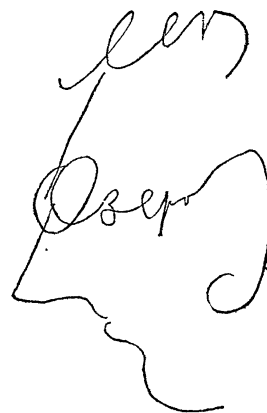
Без всякого мотива,
Без всяких слов пою.
И это все на диво
Коллегам издаю.

Но вдруг один читатель
Мне прошептал, скорбя:
Когда нет слов, приятель,
Ты пой, но про себя...

Рисунки поэтов



Шарж Л. Озерова на Давида Самойлова.



Автошарж Л. Озерова.

ПРИМЕТА ВЕКА

Пародия

И стала я приметой века:
не волновалась, не ждала,
от женщины до человека
довольно легкий путь прошла.

А мой талантливый ребенок
был в непорочности зачат.

Лариса Васильева

Была я женщиной. На блюде
мне был предложен бабий век.
Мне захотелось выйти в люди,
и вот теперь я — человек!

Оригинальной быть решила,
и это удалось вполне,
ведь я не стряпала, не шила,
поскольку это не по мне.

Была допущена в печать я,
не поэтесса, а поэт!

И непорочного зачатья
познала редкостный секрет.

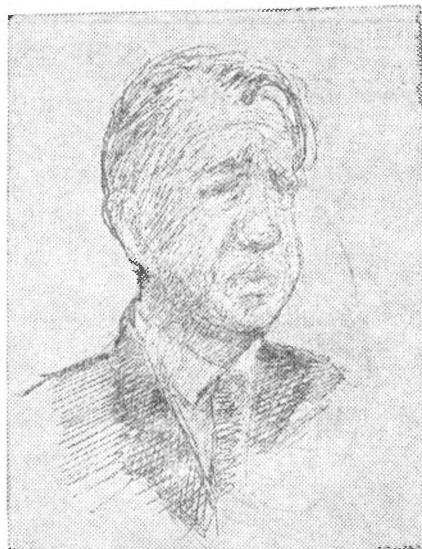
К несчастью, избежать целенок
до сей поры никто не смог.
Но мой особенный ребенок:
зато талантливый как бог.

И стала я приметой века,
езде и всюду на виду.
И вот теперь от человека
я к божьей матери иду...

Рисунки поэтов



Шарж В. Гончарова на Леонида Мартынова.



Шарж В. Гончарова на Василия Федорова.

Алексей Пьянов

ХОРОШО, ЧТО ЛИФТ СЛОМАЛСЯ

Пародия

Опять ремонтируют лифт.
Под крышу загнали кабину.
А жизнь подниматься велит,
Кряхтя и смиряя обиду...

Давай твою сумку возьму,
Давай я тебя поцелую.

Константин Ваншенкин

У нас ремонтируют лифт,
О чем извещает табличка.
А жизнь подниматься велит...
Что ж, старую вспомним привычку.

Тогда мы, бывало, с тобой
Пешком поднимались и выше.
Тогда небосвод голубой
Считали мы лучшей крышей.

А нынче дивимся чему?!
Подумаешь — лифт не в порядке...

Давай я тебя обниму
На лестничной тесной площадке!

Давай мне авоськи твои!
Давай я тебя поцелую!..
Ты слышишь — поют соловьи
Нам юности песню былую?

Вдвоем не страшны этажи...
Но что же ты плачешь?
— От счастья!
Прошу тебя, Костя, скажи,
Чтоб лифты ломали почаще!!!

Рисунки поэтов



Шарж Е. Елисеева на Евг. Евтушенко.



Шарж Е. Елисеева на Роберта Рождественского.

Борис Брайнин

КОСТРОМСКИЕ СТРАДАНИЯ

Пародия

...Эй, сюда, сюда. подруги,
Через буги, через вуги...

...Ах ты, курочка-цыпурочка с Калуги!
Ах ты, кралечка со всею Костромой!
Не хотите ли — сыграю буги-вуги?
Это, знаете ль, из Африки самой.

Н. Тряпкин

Дайте гусельки, спою об интуристе,
По-простому расскажу вам напрямик,
Как заехал к нам в деревню мистер Твистер —
Гримированный камаринский мужик.

Он, антихрист, дергал девушек за клипсы,
Фулюганничал, цитировал меня,
Каждой бабе возле бани делал книксен:
Не хочется ль, мол, пройтись в зелена?

Ах ты, барыня-сударыня — чувиха,
Выбирай себе товары по душе!

Аж зашлася сватья баба-повариха,
Увидавши чемоданчик-атташе:

— Ах ты, гой еси, майн либер, футер-муттер,
Ай лав ю меня без загса полюбить?!
Аль приехал к нам из Африки на хутор
Специально, чтобы бабочек ловить?

Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, мама-папа,
Воленс-ноленс, по-простому говоря!
И в сердцах его послал «мэйд ин Джапан»¹,
Что понятно и ежу без словаря.

¹ Сделано в Японии.



Шарж Е. Елисеева на Анатолия Жигулина.

Новелла Матвеева

ДА НУ ИХ!..

Пародия

Я люблю этих бедных пиитов,
Что угрюмые вирши плетут,
Тех, которые горький напиток
Непризванья и бедности пьют.

Ах, как свято они бесталанны...

Давид Самойлов.

«Неизвестные поэты»

Я поэтов люблю неизвестных,
Им любовь моя, правда, не впрок;
Что за тени там корчатся в безднах?
Это все, кому я не помог.

Кто безвестен,— ручаюсь анчуткой,—
Тот бездарен. (Вот, кстати, пример:
Поражает бездарностью жуткой
Неизвестный при жизни Бодлер!)

Гордость бедных? Она несерьезна.
Я над ними люблю подтрунить;

В нос тому подымить грациозно,
На другого кирпич уронить...

Я люблю неизвестных! Признаться,
За восторг: не считать их людьми.
С неизвестными легче справиться,
Чем с известными, шут их возьми!

Разумеется, это бесчестно:
Трогать тех, кто безвестен и слаб!
Но, с другой стороны... неизвестно,
Что известность их мне принесла б!..

СТРАННОСТЬ

Мне критик запретил святые имена
Великих называть. Сказал, что пошло это,
Что невоспитанность ужасная видна
В стремленье помянуть бессмертного поэта.

Суровый критик мой! Что ж... Я ведь — ничего!
Я имя гения готова скрыть под кодом!
Боюсь, однако же, что как-нибудь, обходом,
Другие все равно напомнят вам его.

Чрез невоспитанность огромного числа
Людей — до нас и вся поэзия дошла.
Но, с вами согласясь, я вам желаю лично

Столь громким именем потомство потрясти,
Чтоб уж никто не смел его произнести
В собрании людей, воспитанных прилично.

Поэзия в меняющемся мире

Андрей Битов

С О О Б Р А Ж Е Н И Е П Р О З А И К А О М У З Е

Довольно-таки сразу приходится понять, а потом бесконечно в этом убеждаться, что то, с чем нам предстоит провести всю жизнь, не имеет определения. Определения уточняются до окончательных лишь в отношении переходящего: его мы успеваем рассмотреть на расстоянии приближения, встречи и удаления. Но основные понятия — жизнь, смерть, любовь, красота — не под силу толковому словарю. Усилиями тысячелетней, пусть самой мощной и гениальной мысли не сдирается с них покров тайны и бесконечности. С этих понятий достаточно, что они — есть. Их можно иногда, прикосновением, постичь, но не — понять, их иногда удается поэтически выразить, но не сформулировать.

Поэзия — тень этих смыслов, поэтому, хотя и во вторую очередь, как отражение непознаваемого, и она не имеет определения. Почти каждому любителю поэзии (не говорю за поэта, как и за глухого) довелось ловить себя на этом недоумении: что, собственно, произошло? почему преобразилось слово? отчего затрепетали смыслы? откуда эта полнота, равная лишь потрясенной немоте? Разве эти признаки — ритмы, размеры, рифмы — хоть в какой-то мере способны определить чудо, разве их наличия достаточно? Что недостаточно. Это мы усваиваем легко на примере дурных стихов. Собственно, дурных стихов не бывает. Есть стихи и не стихи. Мол, поэзия и непоэзия — этим дискриминирующим делением кончается всякий опыт общения со стихами, и только тренированность и одаренность чутья ценителя остается мерилом.

Как всякая непознаваемая категория, поэзия обрастает огромной раковиной периферийного постижения, наукой о стихе. Тут потрачено бездна ума и учености, но всегда рядом со смыслом сказанного. Так нетух, передумав драться, поклевывает несок в стороне от противника. Так остается в сохранности и незатрепанности вечная возможность: поэтам — писать, нам — читать (как исследователям — исследовать). У нас своя компания, у нас своя компания. Все это как-то не плохо, что именно так, что не в центр, не в яблочко, а — мимо. Вот и жизнь — жива, и красота красива, и поэзия — случается... Поэты и читатели обошлись без науки, первые — по судьбе, вторые — по любви. Достаточно наличия. Если что-то хорошо — то это и впрямь хорошо, действительно хорошо, непостижимо... Мы доверяем, верим, веруем. «Необъяснимо прекрасно» — наивысшая похвала. Когда хорошо, то я уже никак не могу объяснить почему. «Он имел одно виденье, непостижное уму...» Почему это так хорошо? Окончательно неизвестно, и не постижно.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно», и еще мы говорим: «Невероятная свобода». Какая же тут свобода, когда она отовсюду стеснена: обрывистым дыханием строки, усыпляющим топтанием ритма, побрякиванием обязательных рифм на веточках строк... — это не вольное древо речи — новогодняя елка. Напршивается полезная мысль, что для проявления высшей свободы, которая есть поэзия, необходима изначальная клетка, золоченая тюрьма, необходим избыточный канон, от-

куда, с тем большим свистом, чем все это теснее, вырывается вольное слово или истинный смысл. Трепет горла особенно хорошо ощутим под пальцами. Диалектика осознанной необходимости тем не менее вряд ли владеет поэтом. Он ведь не вынужден подыскивать рифму и не выбиваться из размера, натолкнувшись внезапно то на эпитет, то на метафору, столь удачные, что их жалко пронести мимо не того размера строки. Ему, поэту, так говорить — естественно, именно так осуществляет он свою (и не только свою) высшую свободу. В чем же эта естественность? — задаю я себе прозаический вопрос. Когда искусственность во всем? Одна аллитерация чего стоит... Так трудно выразить мысль словами! А тут еще наряд прежде тела... Значит, не наряд. И это, пожалуй, первый вывод.

Значит, само тело. Неужели же наша несвященная обыденная речь есть распахнувшаяся и рассыпанная поэтическая? А не наоборот, как привычно полагают, поэзия — есть высший концентрат речи обыденной, результат духовного, аналогично естественному, отбора?.. Но — именно так, наоборот. Поэзия — первична по отношению к рабочим и обыденным смыслам речи. Но — ах! — тут бы мне и потребовался знаток, которого я только что обругал. Он бы мне подобрал примеры. Он мне их не подберет. И я опять останусь в нищете недоказанности, с тем стесненным чувством правоты и обиды, которое возвращает меня в детство...

Но, может, в нем я и отыщу первые доказательства.

С какого момента мы себя помним? Толстой помнит себя с восьми месяцев, на то он и Толстой. Я помню себя с четырех лет. Поздновато. В этом диапазоне помнят себя все остальные люди. Одно точно — не с начала. Скорее всего, люди помнят себя уже говорящими. Может быть, даже они себя начинают помнить еще позже, с тех пор как впервые в отношении себя употребят слово «я». Я наблюдал этот перелом лишь однажды, однако с уверенностью полагаю его общим. Уже с легкостью складывая подступивший к нему мир в предложения, ребенок поначалу говорит о себе в третьем лице, как о герое этого сна жизни. (Соображение, которое можно было бы отнести к природе прозы...) Именно так мы себе часто снятся — в третьем лице, — возможно, это тоже тень изначальности, до грехопадения, до «я». Возможно, Адам и Ева думали о себе в третьем лице и в более зрелом возрасте, различая себя друг от друга лишь по роду местоимения, хотя еще и не по полу. (Любопытно, что «я» — бесполо.) Так вот, я хорошо запомнил, с каким испуганным недоумением, с каким противостественным усилием, с каким потрясением, как бы с чувством невозобновимой утраты, ребенок разлепил губы для первого «я». У меня есть подозрение, равное ни на чем не обоснованной уверенности, что именно с этого момента начинается то, «что мы помним». С этим можно соглашаться или нет, это не помешает дальнейшему рассуждению. Важно, что «мы себя помним» позже, чем живем, чем, возможно даже, говорим. Важно, что за пределами наших, дисциплинированных выражен-

постью словом и повторностью, воспоминаний остается первый, возможно, важнейший слой впечатлений от бытия. Важно и то, что именно в этом невоспомиаемом времени мы и обучились человеческой речи. И что еще замечательно, что это, при всех усилиях педагогов, вне области педагогики. Педагог не способен обучить младенца речи в той же степени, как и рыбу. Младенец учится речи с а. м. Лишь слыша ее. Все те законы речи, до которых и в малой степени не дошла наука, открыты младенцу с рождения и вновь закрыты с момента овладения речью. Эти паразитские способности младенца в филологии неоднократно отмечены. И здесь меня посещает предположение, безусловно частное по отношению к безмерности и удивительности явления, но все-таки и не лишнее, что мир созвучий, рифм, аллитераций — первым приходит к нам. Когда младенец своим великим ушком прислушивается к стертому шестуэт взрослой бытовой речи.

Я, право, не знаю, что бы было с русской поэзией и отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифм «крозь — любовь» и «человек — век». И что бы было со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны «деревня — деревья» и «крест — крестьянин — христианин». Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни. Их-то, возможно, и помнит поэт в большей степени, чем простые смертные. Может, тоже не помнит, зато наделен способностью смутно припоминать то, чего не помнит никто, — родовые созвучия зарождающейся в жизни речи. Тогда ни при каких обстоятельствах искусство стиха не может стать «техникой». Искусственно набранные созвучия могут поразить только глухого на природу речи человека. Их надо не изобрести, а вспомнить. («И как само собой рассыпается, — справедливо отметил Маяковский, — Чуждый чарам черный чолн...») Это и впрямь инфантилизм, а не детство.) Расхожее до пошлости, что «поэты как дети», наполняется обратным светом в свете этого рассуждения.

Сходство по звучанию, очевидно, изначальное сходства по смыслу. Оттого особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом. «Пора, мой друг, пора...», «По небу полуночи ангел летел...», «Девочка пела в церковном хоре...», «Мать говорит Христу...», «Тихая моя родина!» Здесь слова молятся в храме речи, а не выживают в водовороте языка и опыта.

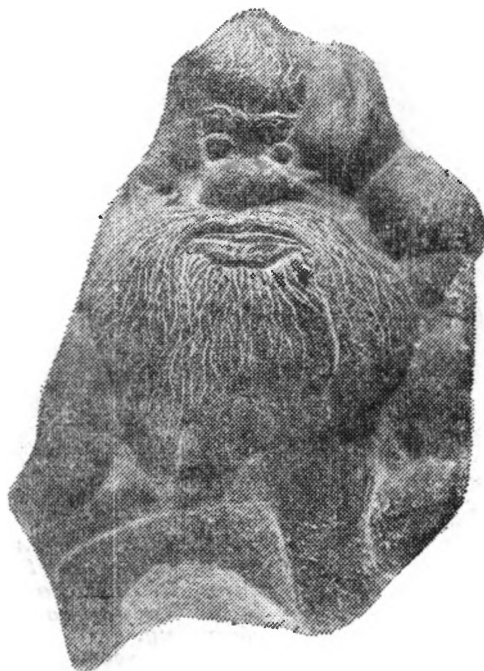
Но вот, объединив звуки в созвучия, созвучия в речь, младенец произносит «я». Спитез вновь искромсан этим орудием анализа — Я. Место «я» в великой поэзии — тема неисчерпаемая, однако я нахожу особый смысл в том затененном, неярком, испаряющемся «я», которое стоит на грани его первого произнесения, но как бы с обратным знаком, как бы с желанием вернуться в его «допроизнесение»: «Тарантас бежал по полю, в тарантасе я сидел и своих несчастий долю тоже на сердце имел» (ср. «Взбегу на хойм и упаду в траву...»).

Однако, раз появившись, Я, муча себя, кромсает этот мир с видом познания и даже созидания. Появляются сходства по смыслу, ведущие к метафоричности мышления. Сравнить, пожалуй, можно что угодно с чем угодно — для этого необходима лишь подвижная мозговая машина. Так же, как набрать ворох созвучий. Однако если истинно поэтические созвучия уведат нас в беспомытный мир первого постижения речи, то истинно поэтические сравнения лежат, по-видимому, в иной плоскости, уже сыта и обобщения; но в каком же тогда случае они нас потрясают все той же неостыжностью и как бы сверхъестественно? «Я сказал: виноград

как старинная битва живет, где кудрявые всадники бьются в кудрявом порядке...» При каких условиях, если я даже запомнил виноградные усики и когда-то немо поразились ими, они обретают как бы понятность и становятся говорящими от сравнения с битвой, которую ни я, ни поэт в глаза не видели, а видели гравюру (поэт, может, и присматривался к ней с внимательным удовольствием, а я — так вовсе случайно, краем глаза...)? Неужели виноградные усы и лоза и листья подчинены тому же закону, какому подчинены кривые сабли всадников, и перья на их шлемах, и изгиб спины и шеи вставшей на дыбы лошади, и круглые облачка дальних выстрелов, и кудрявые облачка в небе, взирающие на битву, и рука художника, гравировавшего все это наоборот на металле, и металл, подавшийся именно этому движению резца, и восприятие поэта, объединившее эти смыслы, и мое восприятие? — неужели все это подчинено единому закону? Значит, подчинено.

«Просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле...» Образ не рассыпается, лишь когда ощутит поэт единый закон в том, что увидел. Тогда нет ни изыска, ни нарочитой оригинальности. Поэт проникает в закон, и чувство восторга, связанное с этим проникновением, оставляет в нем ощущение счастья, которое уже потом называют вдохновением. Творчество проникает в единый закон творения, и тогда наше сознание бывает поражено метафорой — причем вовсе не смелостью, оригинальностью или изысканностью ее, а ощущением единого надо всем замысла.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно», и мы говорим: «Невероятная свобода», и еще мы говорим: «Божественно».



Виктор Гончаров. «Прозаик». Камень.

Я беру перо в руки (сажусь за машинку) и не знаю, каким будет первое слово. Оно и впрямь может быть любым. Зато я могу быть уверен, что последнее слово будет с ним связано. И тогда первое слово, по необходимости, станет единственным. Мне надо будет потревожить все слова, по которым пробежал живительный электрический смысл, чтобы заменить первое слово, возникшее так легкомысленно и случайно, в вялости, неопределенности или тоске. И я не смогу их потревожить, не прервав цепи. Эта целостность называется ТЕКСТ. Он несет на себе печать рока и судьбы. Он произошел, он уже не может быть другим. Точка.

Не стоило бы заниматься все тем же делом, если бы

в нем каждый раз не оказывалось все той же тайны — неисповедимого отличия слова начертанного от слова произнесенного. Не стоило бы им заниматься, если бы мы уже знали текст перед написанием, если бы мы его записывали. Но мы его не записываем, а списываем с невидимой, прозрачной, несуществующей доски, где следующее неведомое слово следует за предыдущим с предопределенной не нами неизбежностью. Итак, мы пишем.

И пишем мы ПРОЗУ. Так называется неустная и непоэтическая речь, организованная границами текста. Она отличается от той и от другой и вряд ли помещается между.

О Музе прозы я молчу.

Редколлегия благодарит работников московских архивов и музеев М. И. Брылову, О. В. Румянцеву, А. И. Фрумкинчу, В. В. Макарова, фотохудожников А. А. Задикяна и В. М. Табольского за помощь в подборе иллюстраций к сборнику.

Использованы материалы, хранящиеся в ЦГАЛИ, Государственном Литературном музее, московском музее А. С. Пушкина, Государственном музее народов Востока и в частных собраниях.

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1981» УЧАСТВУЮТ:

Аксельрод Е.— стр. 128
Алексеев О.— 125
Алигер М.— 25
Алпатов М.— 97
Астафьев В.— 90
Афанасьев В.— 151
Ахмадулина Б.— 53
Ахметьев И.— 137
Ахундова А.— 218

Бадалбейли И.— 205
Баева А.— 119
Байдуков Г.— 97
Балашов Э.— 98
Балин А.— 40
Бахтин М.— 76
Белов В.— 92
Белова Л.— 217
Берестов В.— 222
Битов А.— 234
Благой Д.— 27
Богданович А.— 119
Бокадорова Н.— 139
Боков В.— 24
Бояринов В.— 206
Брагин А.— 226
Брайнин Б.— 232
Булавин А.— 211
Бурич А.— 136
Быкова Е.— 13
Бялосинская И.— 54

Валиков Г.— 45
Ваншенкин К.— 21
Василенко С.— 194
Васильев П.— 29
Васильев Я.— 205
Васильева Л.— 225
Велихова З.— 202
Викулов С.— 46
Винокуров Е.— 26
Вознесенский А.— 105
Волжина Т.— 43
Воробьев Б.— 126
Высоцкий В.— 118

Гаврилин В.— 112
Глазков Н.— 223
Говоров А.— 181
Голованов Г.— 172
Голованов Л.— 100
Гончаров В.— 63
Грибачев Н.— 15
Григорьева Л.— 122
Грудев И.— 228
Грушко П.— 170

Денисов Ю.— 211
Державин В.— 168
Дмитриев О.— 35
Друшина Ю.— 10

Евтушенко Е.— 66
Елисеев Е.— 114
Ермилова Е.— 102
Жданов И.— 120
Жигулин А.— 73
Жирмунская Т.— 175

Завальнюк Л.— 110
Заяц А.— 160
Злотников Н.— 126
Зорин А.— 227

Иванов А.— 229
Ивнев Р.— 51
Исаев Е.— 5

Казакова Р.— 129
Казанцева В.— 85
Казин В.— 11
Калашников Г.— 217
Каныкин А.— 204
Капитанов Н.— 220
Каратов С.— 212
Карпеко В.— 32
Карпец В.— 219

Кашежева И.— 151
Ким А.— 137
Клюев Н.— 188
Ковальджи К.— 128
Ковда В.— 179
Коган А.— 172
Кожин В.— 154, 220
Козловский Я.— 47
Коллегорский В.— 228
Коносов М.— 81
Копылова Л.— 182
Коржинов В.— 42
Корин Г.— 123
Королева Н.— 181
Костров В.— 60
Котенко Н.— 224
Котляр Э.— 171
Кочетков О.— 153
Кошель П.— 61
Кузмин М.— 103
Кузнецов Вал.— 183
Кузнецов Ю.— 78, 87
Кузнецова С.— 152
Куняев С.— 92
Куприянов В.— 134, 141

Лавлинский Л.— 45
Лазарев В.— 116, 146
Лакшин В.— 94
Латынин Л.— 129
Лебедев Е.— 203
Левитанский Ю.— 149
Леонович В.— 38, 64
Лисовой Н.— 227
Лисянский М.— 50
Лихачев Д.— 158
Лосев А.— 69
Лошиц Ю.— 127
Луговская М.— 111
Луговской В.— 13
Ляпин И.— 63

Мазнин И.— 202
Мальми В.— 166
Мандельштам О.— 194
Мариничева В.— 208
Марков Алексей — 34
Марков Апатолій — 132
Мартынов Л.— 23
Матвеева Н.— 233
Матусовский М.— 9
Мелехин П.— 116
Мельников Ю.— 148
Митасов Е.— 184
Мнацаканян С.— 127
Молдавская А.— 139

Нежданов В.— 123
Нежданов Н.— 56
Никифоров А.— 185
Николаев А.— 221
Николаева О.— 171
Никологорская Т.— 211
Никонычев Ю.— 123
Николюкин И.— 204
Новиков М.— 44

Озеров Л.— 141
Озерова И.— 143
Окуджава Б.— 113
Орлицкий Ю.— 137
Орлов А.— 228
Осетров Е.— 70
Осинин В.— 148
Осипова Л.— 215

Павлинов В.— 58
Павлова М.— 226
Панченко Н.— 143
Паркаев Ю.— 120
Пастернак Б.— 161
Пастернак Е.— 161
Петренко С.— 148
Поделков С.— 30, 109
Поздняев М.— 167
Полянц О.— 140
Поляков В.— 204
Пономаренко В.— 125
Поперечный А.— 50
Попов В.— 122
Прасолов А.— 88
Преловский А.— 47
Пьянов А.— 231

Рабинович В.— 176
Разумовский Ю.— 171
Рахманин Б.— 180
Ревич А.— 140
Рерих Н.— 131
Рихтерман М.— 207
Ростовцева И.— 90, 168
Рубцов Н.— 82
Румарчук Л.— 138
Русаков Г.— 62

Савельев И.— 209
Самойлов Д.— 31
Сафонова М.— 210
Севастьянов В.— 43
Семакия В.— 33

Семернин В.— 212
Сенкевич А.— 206
Сергеев В.— 175
Серебряков П.— 182
Сидорина Н.— 140
Сидоров Вал.— 130
Симонёнок В.— 138
Слуцкий Б.— 39
Смирнов Александр — 219
Смирнов Дмитрий — 176
Смирнов Лев — 36
Смирнов Сергей — 7
Смоленский Б.— 172
Соболь М.— 17
Соколов В.— 71
Соловьева И.— 84
Соложенкина С.— 180
Сорокин Ю.—186
Софровов А.— 16
Стушин Г.— 169
Сырыщева Т.— 125
Субботин С.— 187
Сухов Ф.— 74
Сушкова Л.— 209

Тарковский А.—207
Теплова Г.—179
Тер-Акопян А.—174
Терехин Л.—48
Терещенко Д.—177
Тихомиров А.—213
Томшакова Т.—139
Тряпкин Н.—79
Тульчин В.—28

Усминов В.—178

Федоров Вас.—22
Федоров Г.—213
Флёров Н.—150
Флоров Г.—108
Фоломин Ф.—52
Фрейдин Ю.—194
Фролов Г.—219

Хабаров О.—212
Хатюшин В.—174
Хомутов Г.—216
Храмов Е.—129

Цетлин М.—99
Цыбин В.—57

Челноков А.—173
Чернов А.—160
Чижевский А.—100
Чуев Ф.—180

Шаламов В.—166
Шевелева Е.—41
Шервинский С.—201
Шестинский О.—49
Шикина Л.—121
Широков В.—143
Шклярёвский И.—54

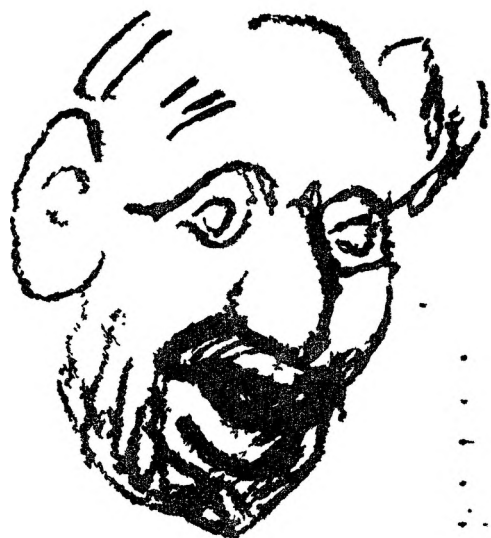
Щипахина Л.—186

Эскович Н.—182

*На последнем развороте — фрагмент рукописи и рисунки В. В. Маяковского.
На четвертой странице обложки — репродукции с акварелей С. Горобецкого
(верху) и М. Волошина.*

ИБ 2491

Сдано в набор 10.07.81. Подписано к печати 23.10.81. А 02954.
Формат 84×108 ¹/₁₆. Бумага тип. №1. Обыкновенная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 26,47. Тираж
100 000 экз. Заказ № 3052. Цена 2 р. 80 к. Издательство «Совет-
ский писатель», 121069, Москва, ул. Воронского, 11. Ордена
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



388

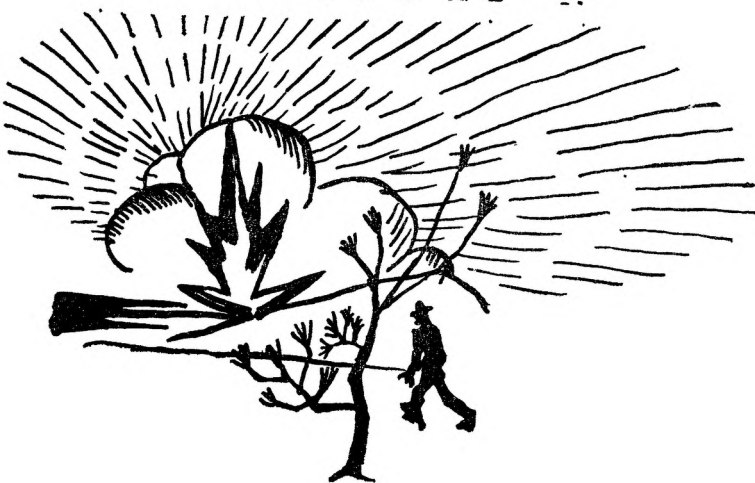
50

68

69

502

62



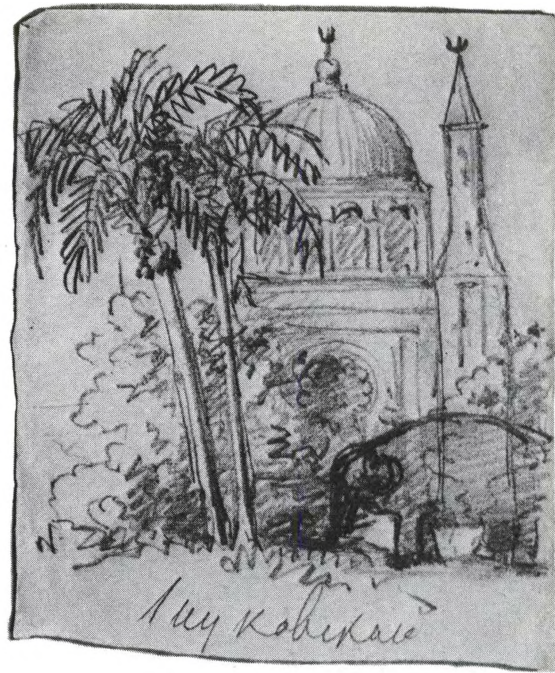


Одним из крупнейших архивов, хранящихся в ЦГАЛИ, является архив Вяземских, более известный в литературе как Остафьевский архив (по названию родового имения Вяземских).

В 1972 году при работе над этим архивом был обнаружен рисунок А. С. Пушкина — портрет Натальи Николаевны Гончаровой, нарисованный поэтом на странице письма Е. М. Хитрово к П. А. Вяземскому. Были известны четырнадцать портретов Натальи Николаевны, рисованных Пушкиным, — этот, пятнадцатый, по времени самый ранний из них, по-видимому, относится к маю — июню 1830 года.

Рисунки В. А. Жуковского.

1840-е годы.



Василий Андреевич Жуковский учился рисованию в Тульском народном училище и в Московском университетском Благородном пансионе. Позже брал уроки у известного гравера, профессора Дерптского университета К.-А. Зенфа.



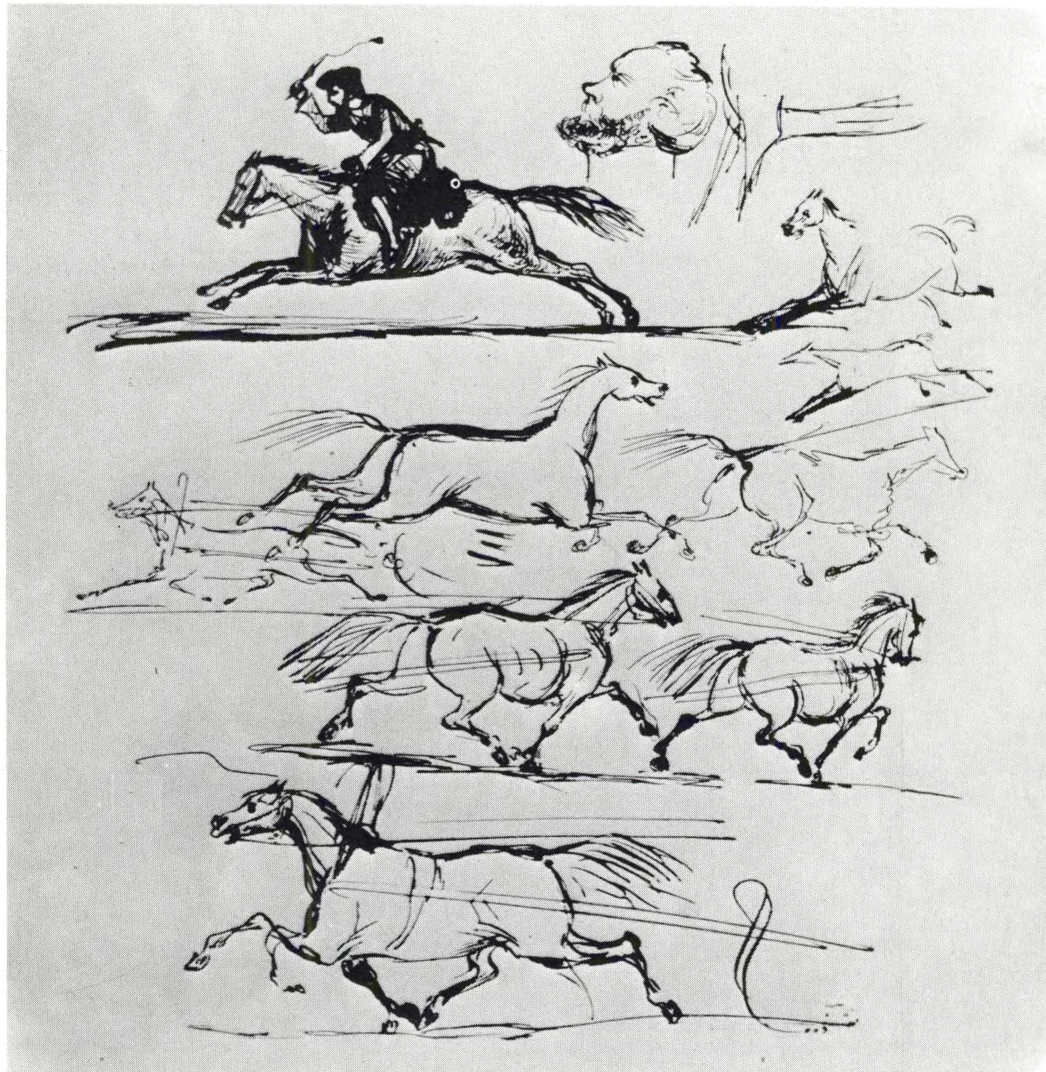


Окрестности села Мишенского, родины поэта. 1810-е годы.

Вид Баден-Бадена. 1851 год.



Рисунки М. Ю. Лермонтова.

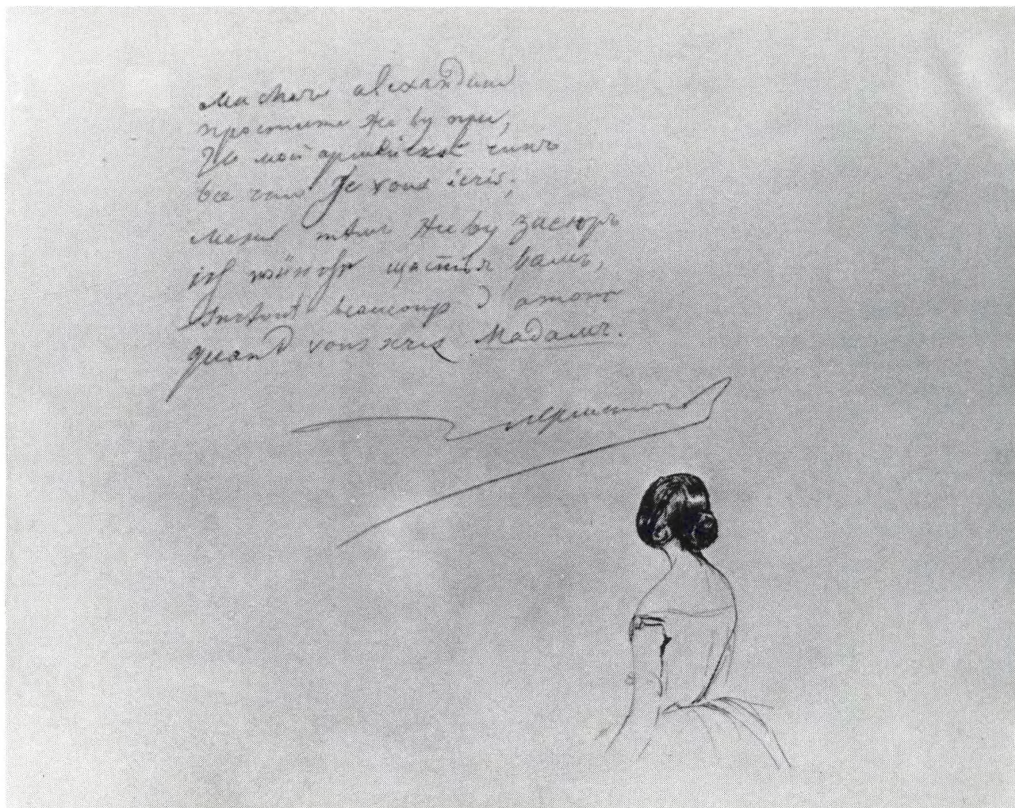


Лист набросков из альбома кн. П. А. Урусова. 1840 год.



Благословение молодых. 1835 год. Есть предположение, что на рисунке изображены Варвара Александровна Лопухина-Бахметева и ее муж Николай Федорович Бахметев рядом с князем Н. Ф. Голицыным и геткой Бахметева—А. И. Нарышкиной, в имение которой, Лопатино, молодые приехали по ее желанию для благословения после свадьбы (1835 год).

Автограф шуточного стихотворения, обращенного к А. А. Углицкой. 1841 год.



Рисунки К. Н. Батюшкова.

В коллекции альбомов ЦГАЛИ хранится альбом С. Д. Пономаревой, родственницы Н. И. Гнедича. В альбом писали стихи Н. И. Гнедич, Е. А. Боратынский, рисовал О. А. Кипренский.

Несколько рисунков К. Н. Батюшкова, сохранившихся в этом альбоме, в том числе публикуемые в «Дне поэзии», относятся, по-видимому, к 1818 году. О том, что Батюшков во время своего короткого пребывания в Петербурге в 1818 году встречался с Пономаревыми, свидетельствуют его письма к Н. И. Гнедичу.



Рисунки Я. П. Полонского.



Автопортрет.



Бивак на Кавказе.

Т. Г. Шевченко. Пугачев.



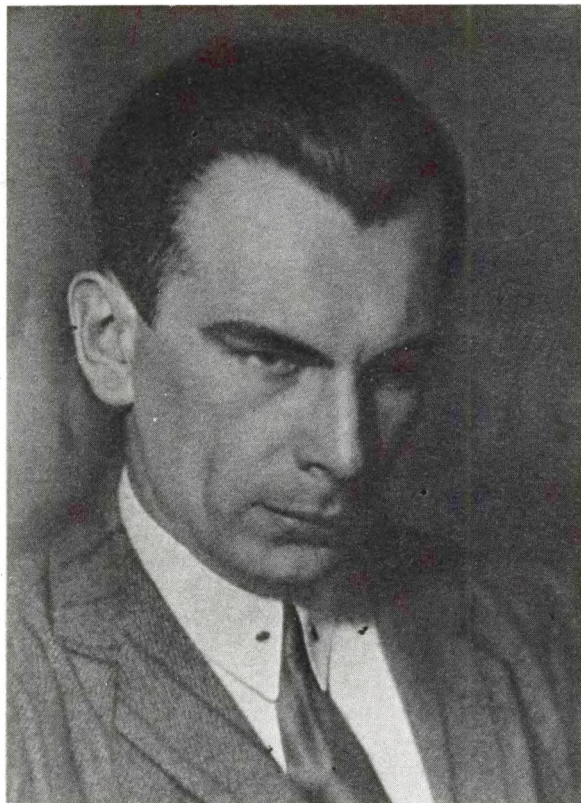
Александр Твардовский. 1928 год.



С. Я. Маршак и А. Т. Твардовский.

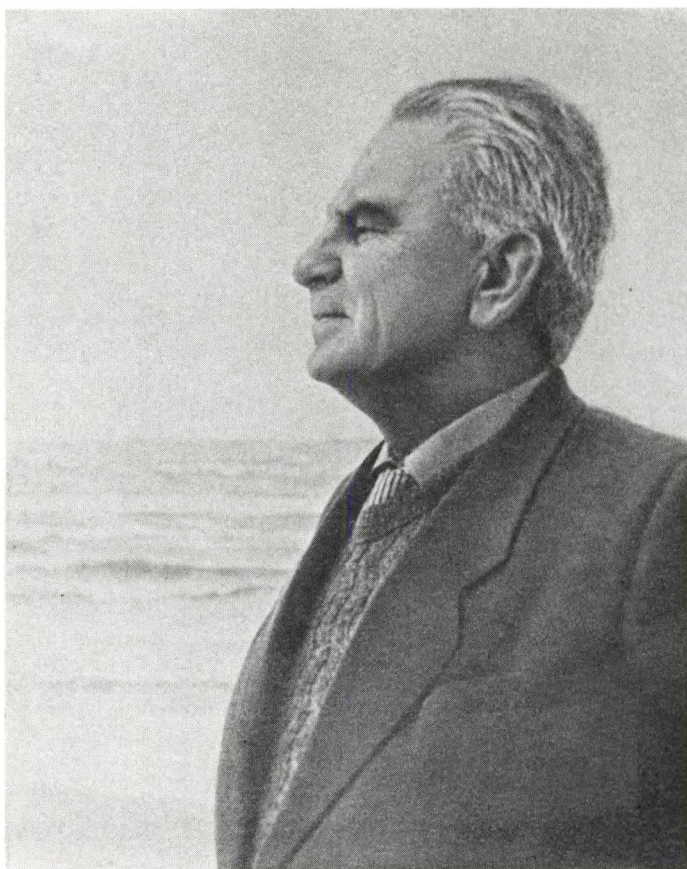
Фото К. Зелинского.





Владимир Луговской. 30-е годы.

Фото М. Напельбаума.



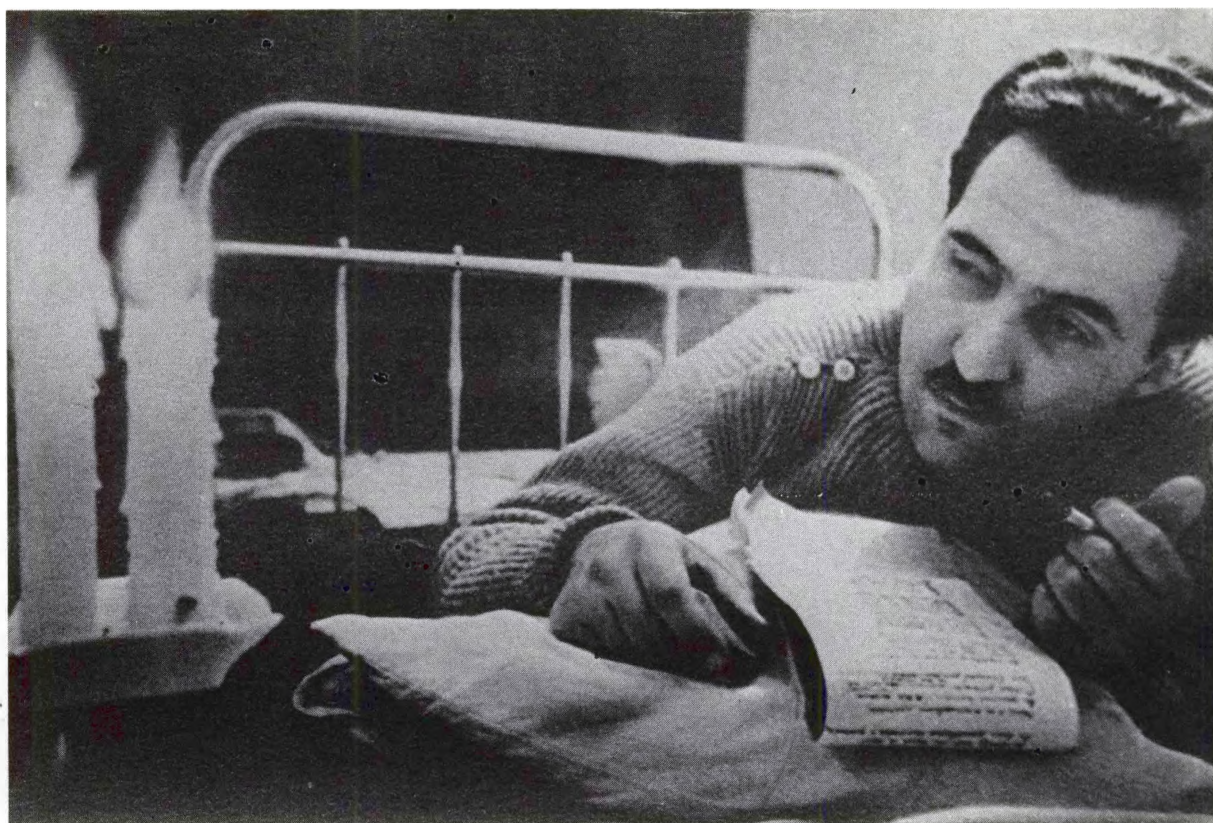
В. А. Луговской. 50-е годы.



Ярослав Смеляков. 1939 год.

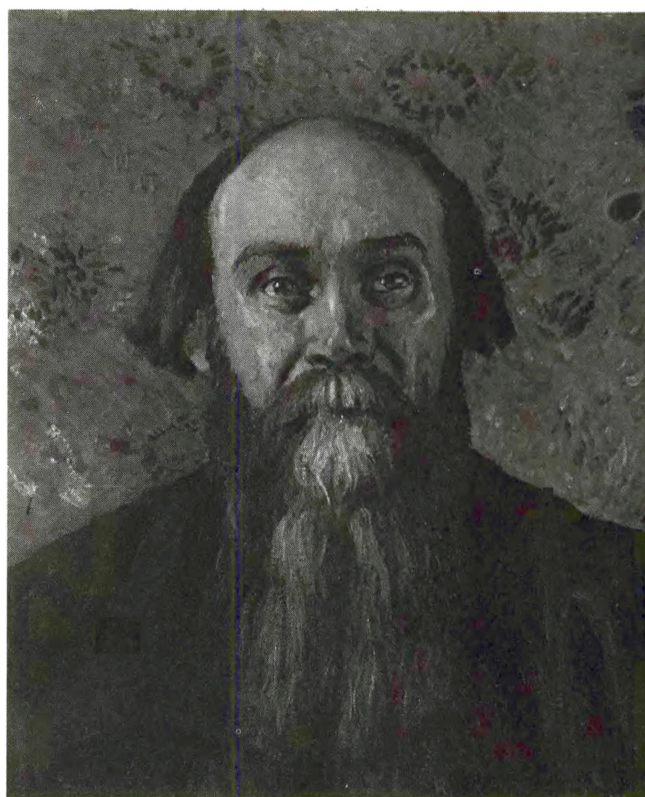
Константин Симонов. Северный фронт, 1941 год.

Фото Г. Зельма.





Портрет Михаила Кузмина работы художника К. Сомова.



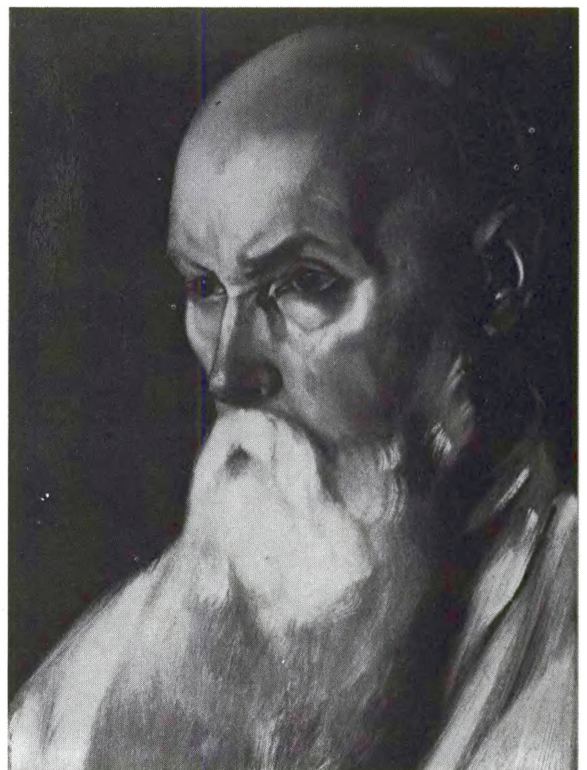
Портрет Николая Клюева работы художника И. Грабаря.

Рюрик Ивнев и Осип Мандельштам. Фрагмент групповой фотографии.





М. М. Бахтин. 1928 год.



Портрет Николая Рериха работы художника
С. Н. Рериха. 30-е годы.

А. А. Ахматова и Б. Л. Пастернак. 1946 год.



Павел Васильев.
Фото.



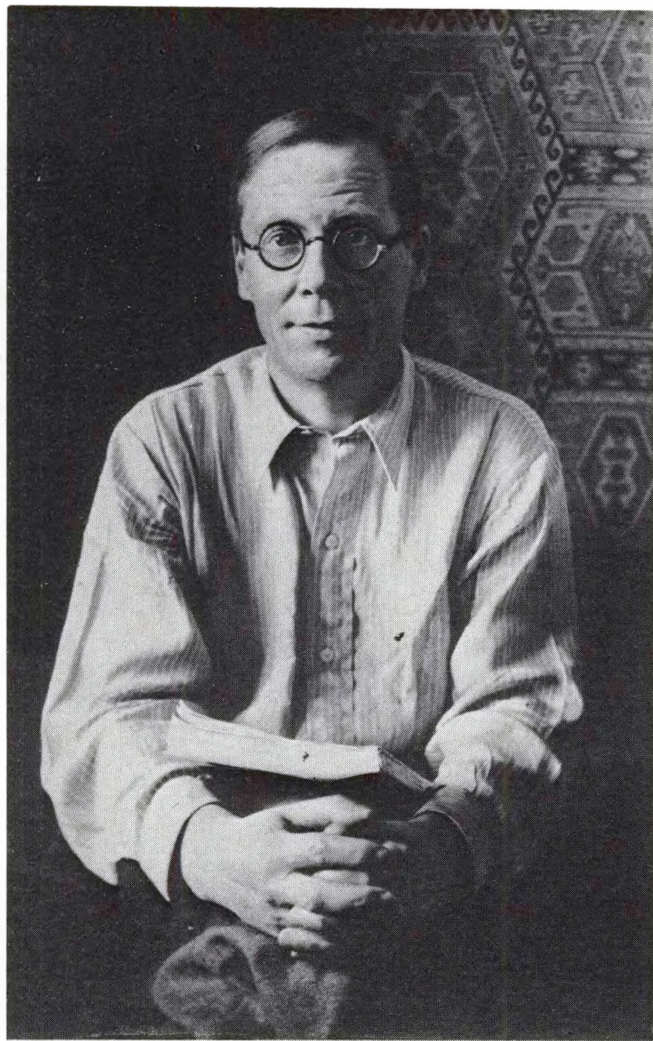
Рисунки поэтов

Николай Асеев. Рис. С. Городецкого.



Сергей Есенин. Рис. С. Городецкого.





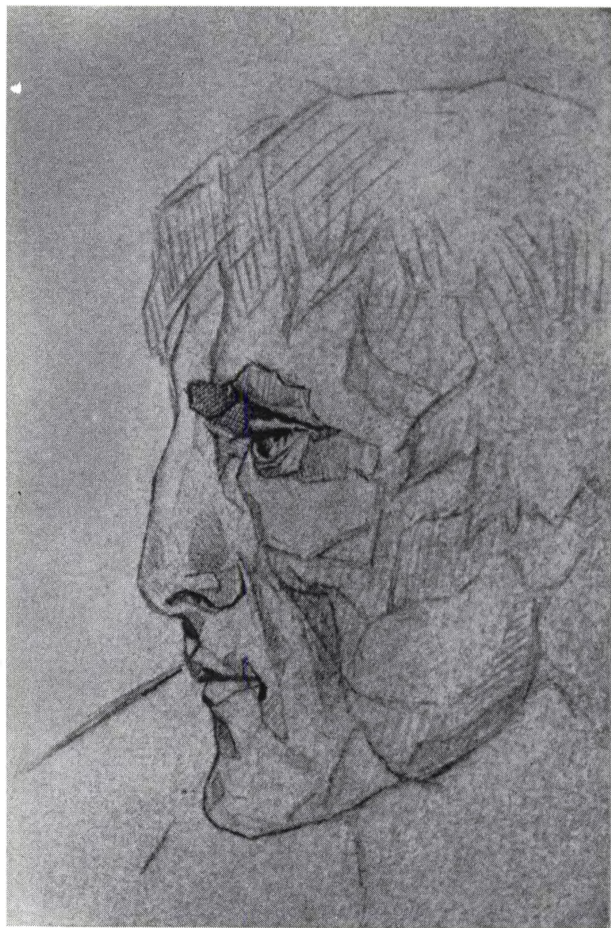
Н. А. Заболоцкий. 1948 год.
Фото Никиты Заболоцкого.

В кратких воспоминаниях Н. Е. Сбоева о Николае Алексеевиче Заболоцком («Воспоминания о Заболоцком». М., «Советский писатель», 1977) говорится о том, как в 1925—1926 годах четверо молодых друзей жили в одной из ленинградских мансард—учились и работали, голодали и веселились, читали стихи и рисовали. «Н. А. Заболоцкий и Н. П. Резвых,—пишет Сбоев,—обладали хорошими способностями к рисованию, и наша комната украшалась характерными эпизодами из жизни, карикатурами. Это было свободное творчество, лишенное каких-либо претензий на «красоту» или профессию. К сожалению, все эти памятные записи и картинки не сохранились».

Несколько рисунков Н. А. Заболоцкого того времени все-таки сохранилось. Один из них, автопортрет 1925 года, был опубликован в «Дне поэзии 1978», а здесь воспроизводится другой рисунок, относящийся примерно к тому же времени и очень похоже изображающий Н. Е. Сбоева, автора процитированных воспоминаний.

Следует сказать, что 1926 год в творческой биографии Заболоцкого отмечен появлением первых стихотворений, признанных им самим и позднее включенных им в основной свод своих произведений. Тем больший интерес представляет для нас все, что сопутствовало в те годы становлению поэта.

Никита Заболоцкий





Л. Н. Мартынов с найденным в Подмоскowie камнем «Голова быка». Начало 70-х годов. Фото В. Уткова.

«Раздвинься ты, завеса снеговая, врата златокипящей Мангазеи передо мной и вами открывая»,— писал Леонид Мартынов в стихотворении «Гиперборея» (1938 год). Ему не удалось побывать на месте Мангазеи, но силой воображения в своих рисунках он воссоздавал образ этого древнего русского города на севере Сибири. На рисунке, который здесь воспроизводится, мы видим землепроходца на парусном коче, стрельца, выглядывающего из-за палей крепости и прекрасных мангазейских дев. Публикация Г. А. Суховой.





В. В. Казин. 1981 год.

Фото Евг. Евтушенко.



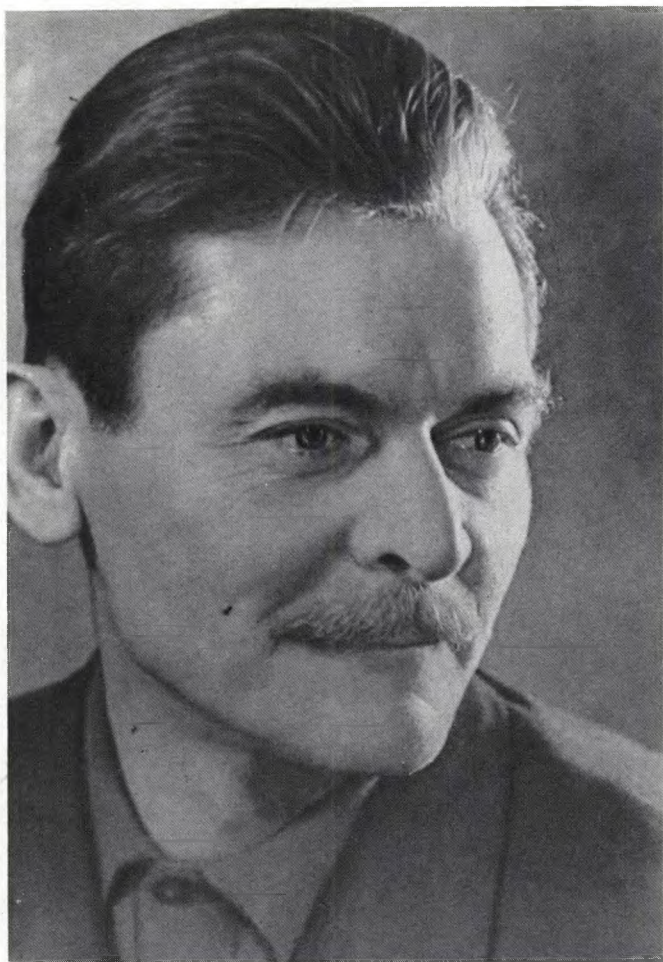
**Анатолий Софронов.
30-е годы.**



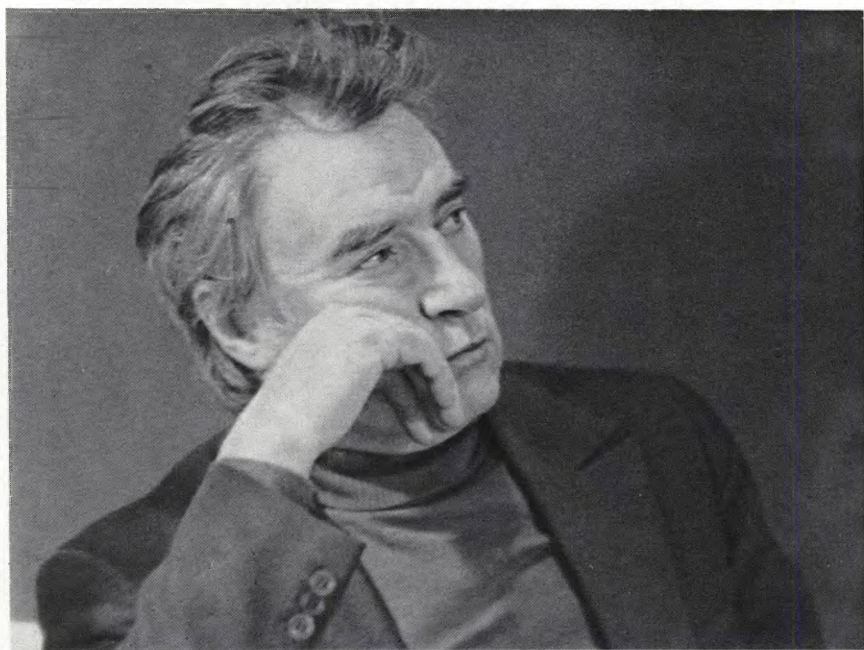
**М. А. Шодохов
и А. В. Софронов.**



Пабло Неруда, Семен Кирсанов и Михаил Лукошин.
65-летие П. Неруды. Сантьяго, 1969 год.

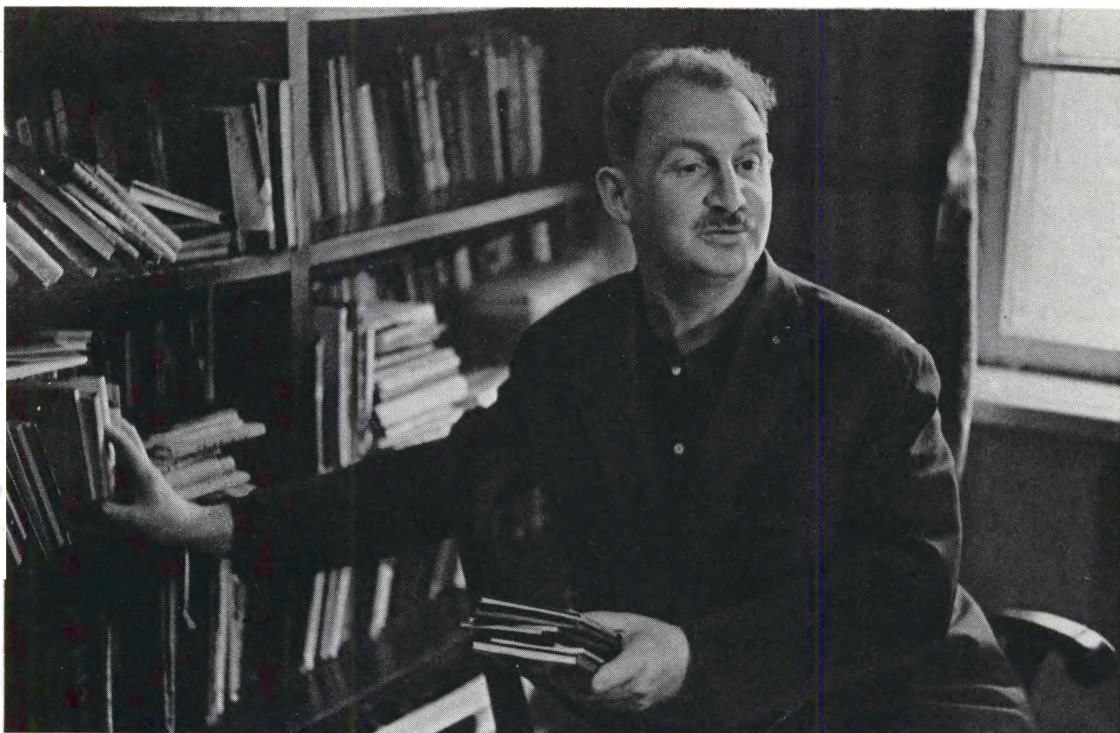


Александр Яшин. 50-е годы.



Егор Исаев.

Фото В. Табальского.

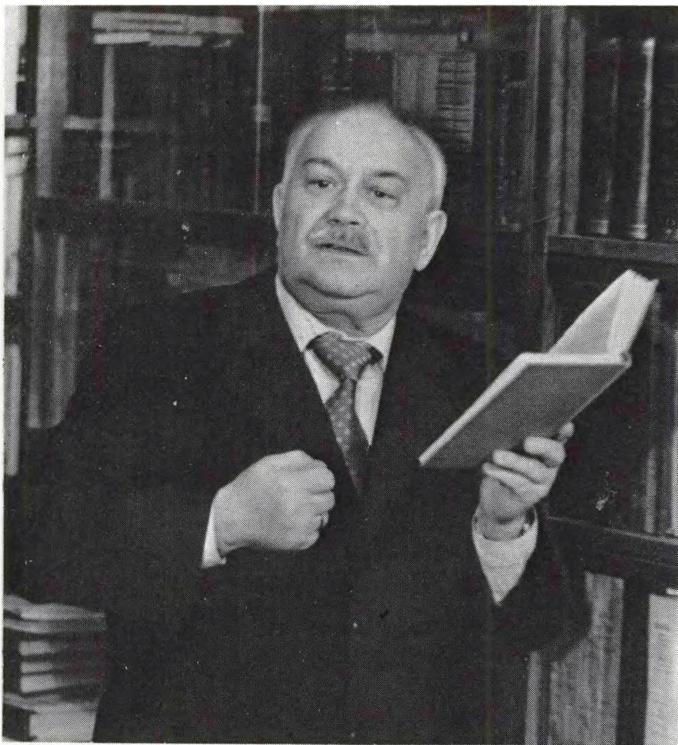


Борис Слуцкий.



Николай Тряпкин.

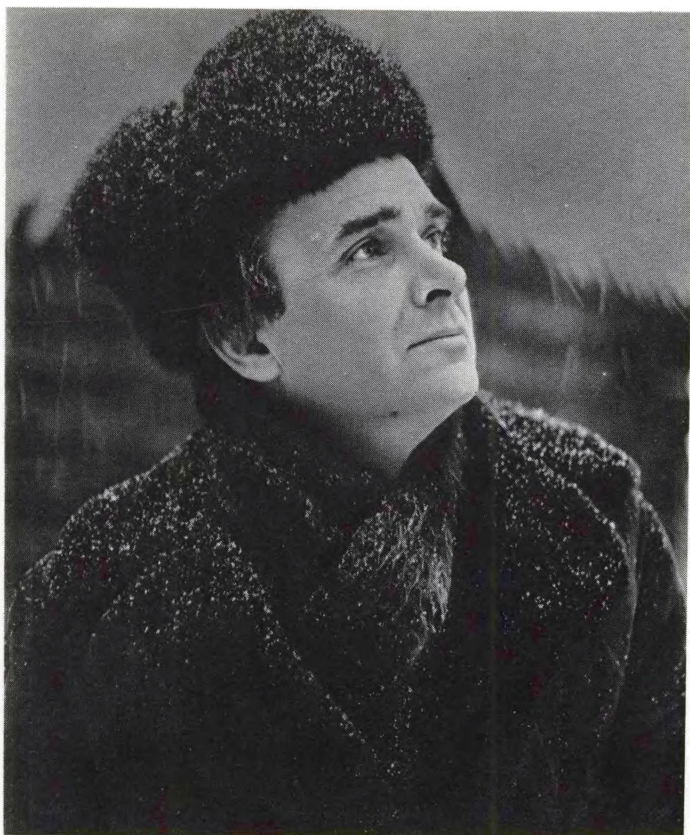
Фото В. Табольского.



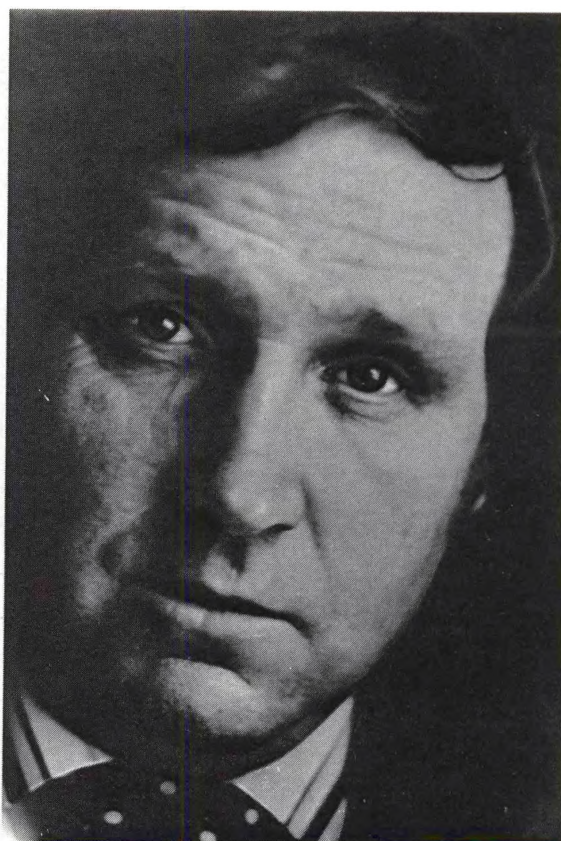
Сергей Поделков.

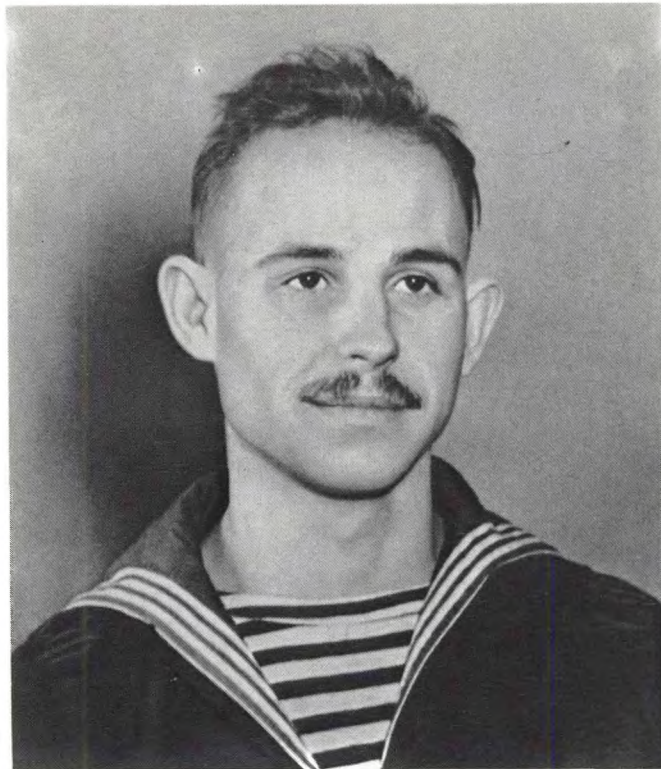
Фото В. Табольского.

Василий Казанцев. Фото В. Табольского.



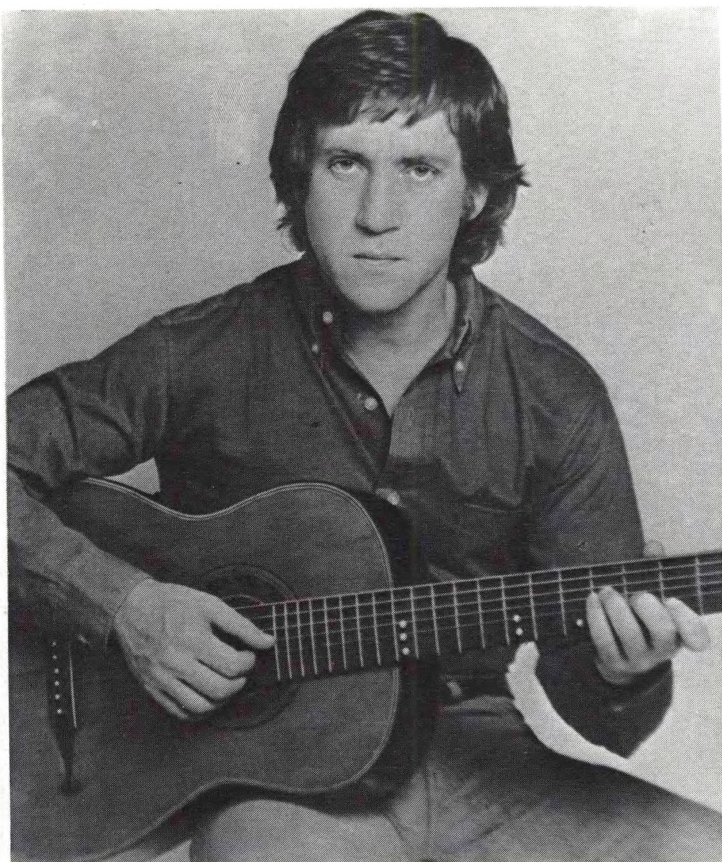
Владимир Цыбин. Фото В. Табольского.



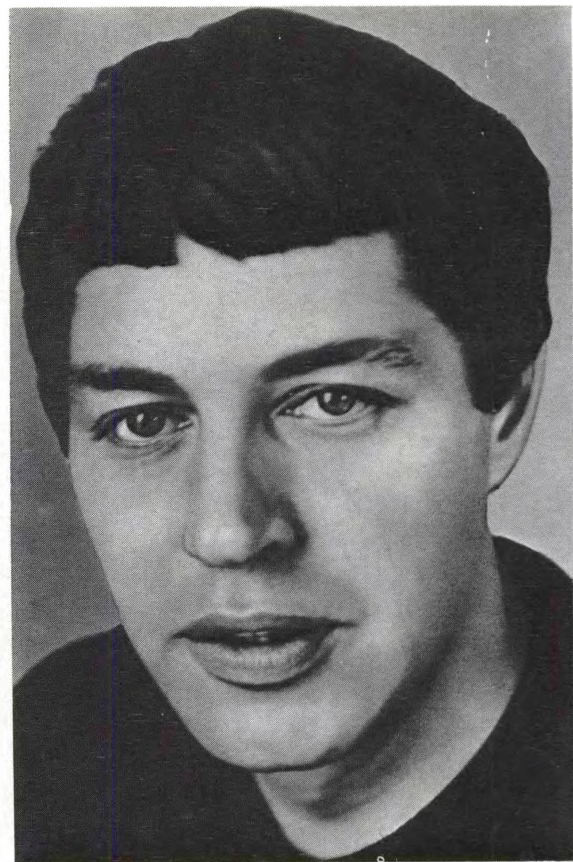


Николай Рубцов. Конец 50-х годов. Из архива В. Матвеева.

Владимир Высоцкий. Фото В. Плотникова.



Александр Тихомиров.

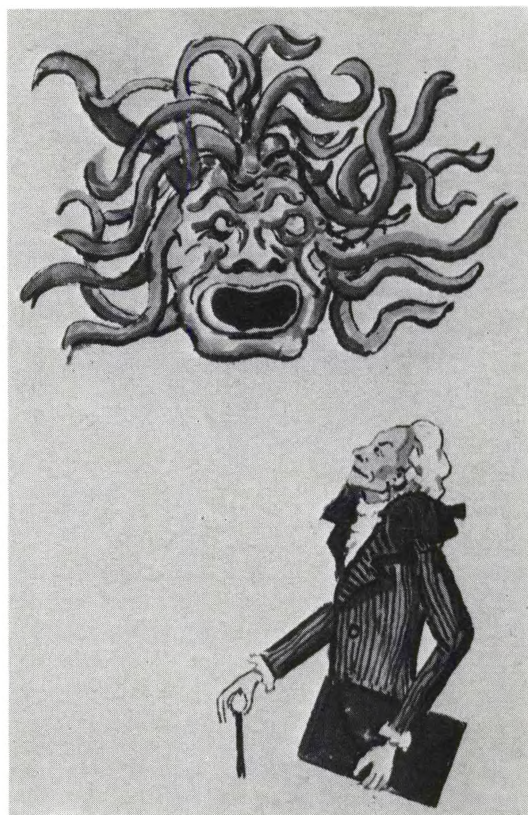
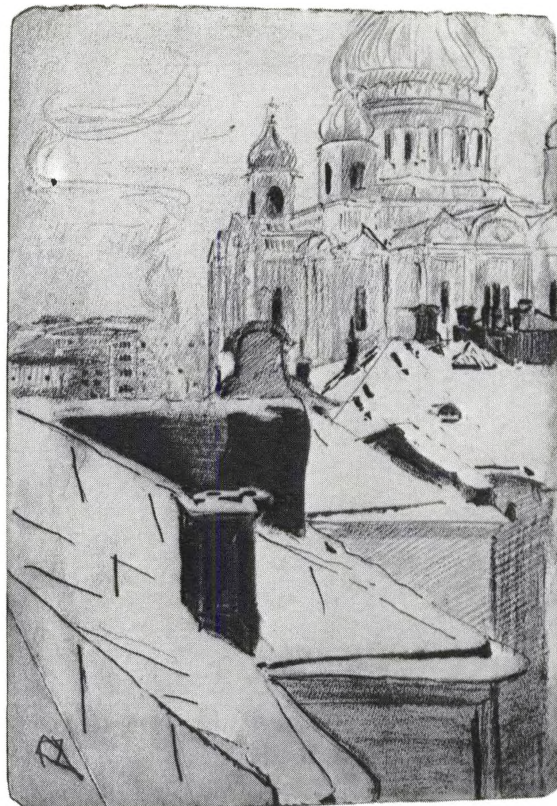




Автопортрет. 20-е годы.

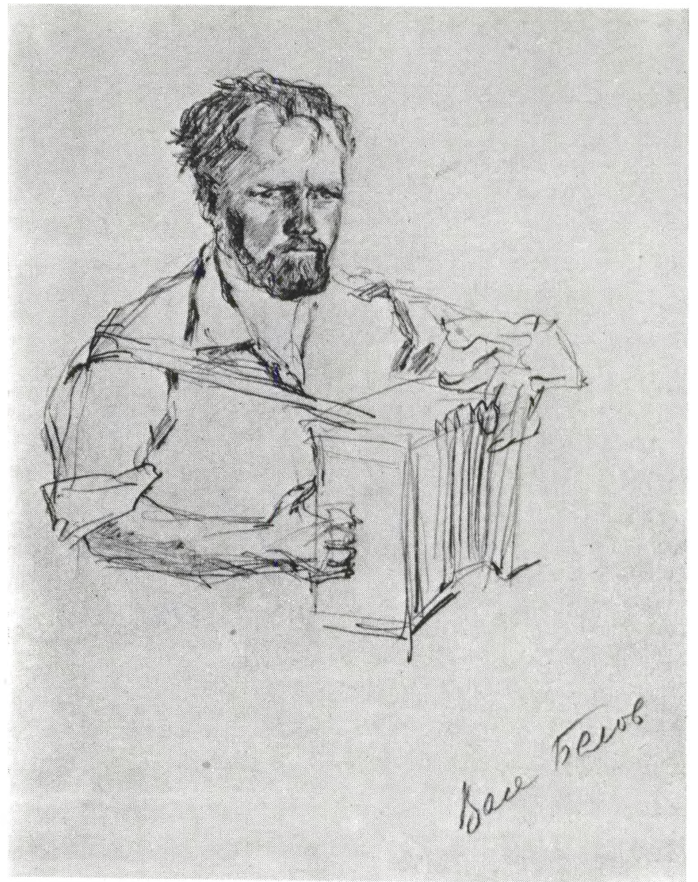
Павел Антокольский.

Рисунки разных лет.



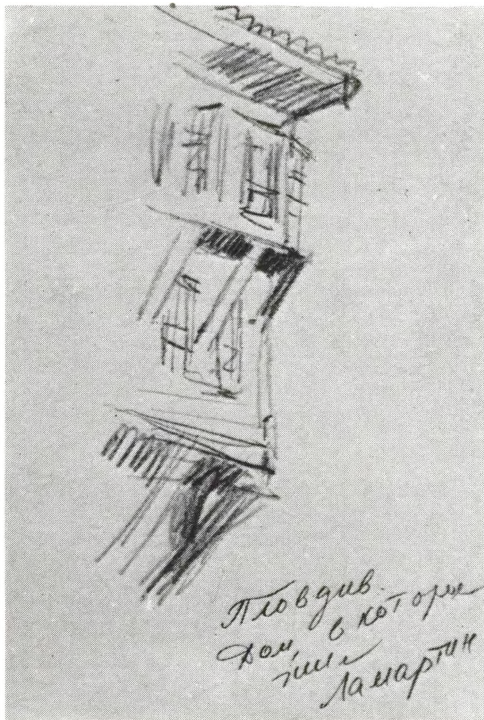


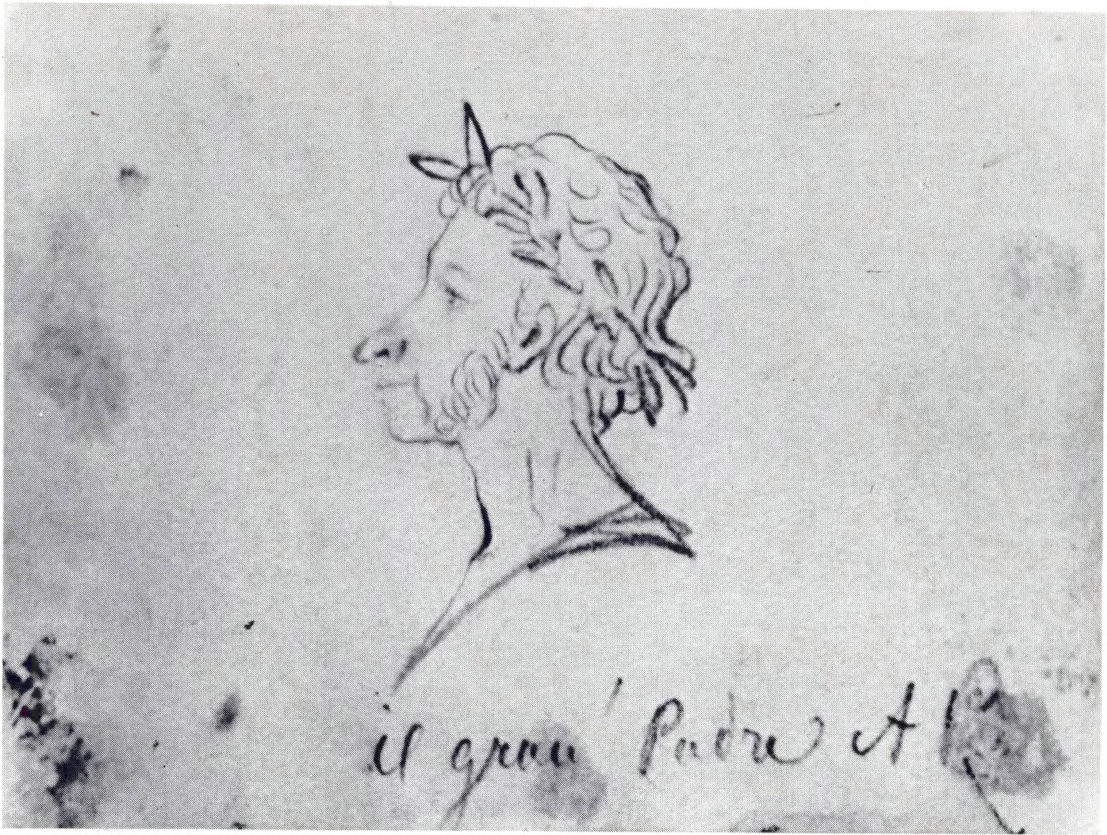
Алексей Прасолов. Автопортрет.



Дмитрий Голубков. Портрет Василия Белова.

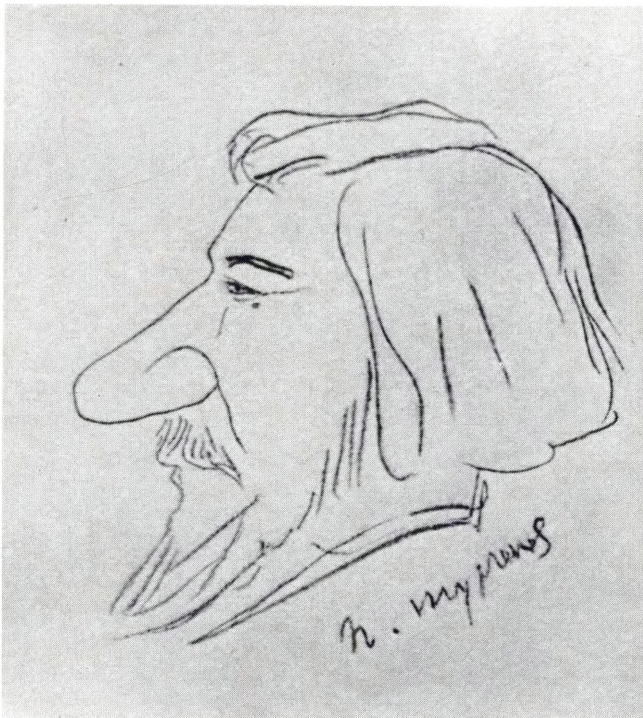
Дмитрий Голубков. Болгарские зарисовки.



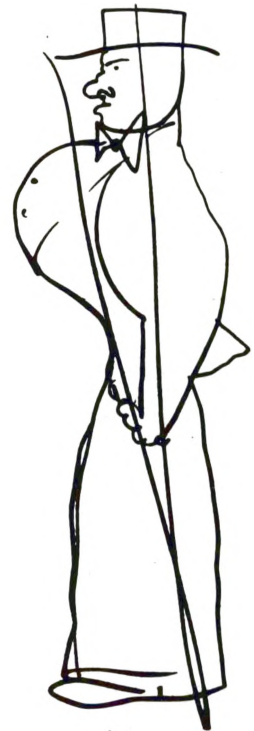


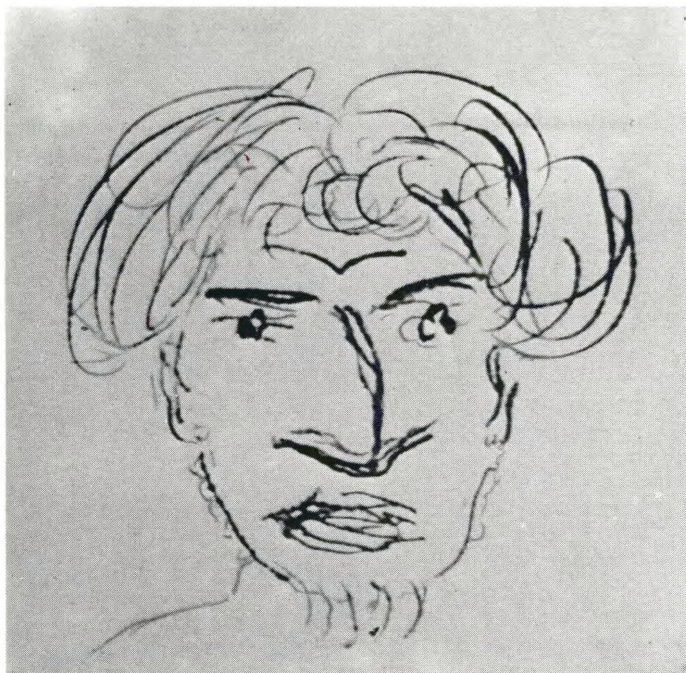
А. С. Пушкин. Автошарж.

И. С. Тургенев. Автошарж.

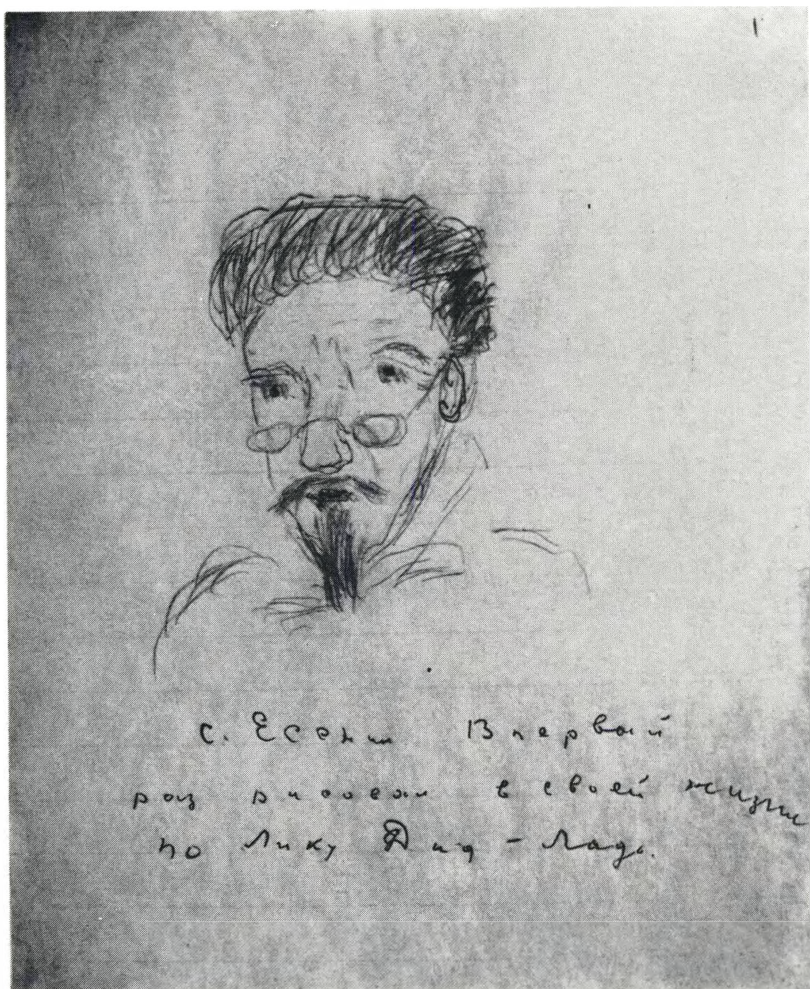


В. В. Маяковский. Автошарж.





А. А. Блок. Шарж на Сергея Городецкого.



Этот рисунок С. А. Есенина хранится в фонде поэта в ЦГАЛИ. Дид Ладо, как вспоминает А. Мариенгоф, был художником, дружившим с группой имажинистов.

С. Есенин 13 первой
раз в жизни в своей жизни
но Лику Я и г - Ладо.



В. Я. Брюсов. Шарж на Константина Бальмонта.

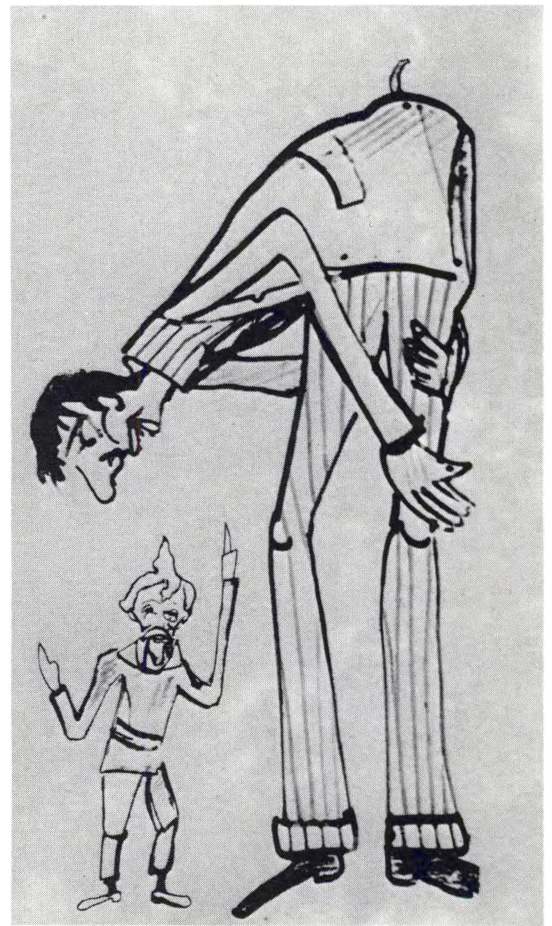
С. М. Городецкий.

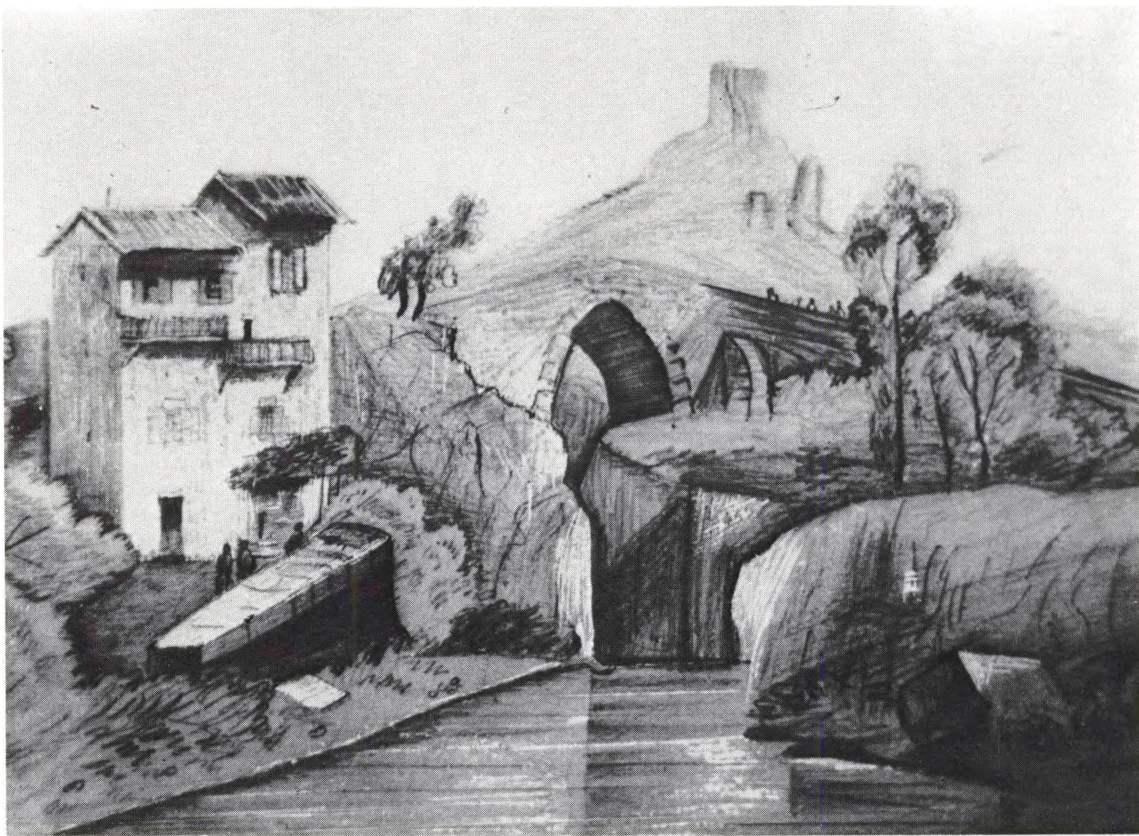
Шарж на Вячеслава Иванова. 1920 год.



Сергей Митрофанович Городецкий специального художественного образования не получил, но умел и любил рисовать. Ему принадлежит множество пейзажей и целая галерея шаржированных портретов современников — писателей, ученых, деятелей культуры. Мастерство Городецкого-рисовальщика отмечал И. Е. Репин.

С. М. Городецкий. Чуковский и Репин.





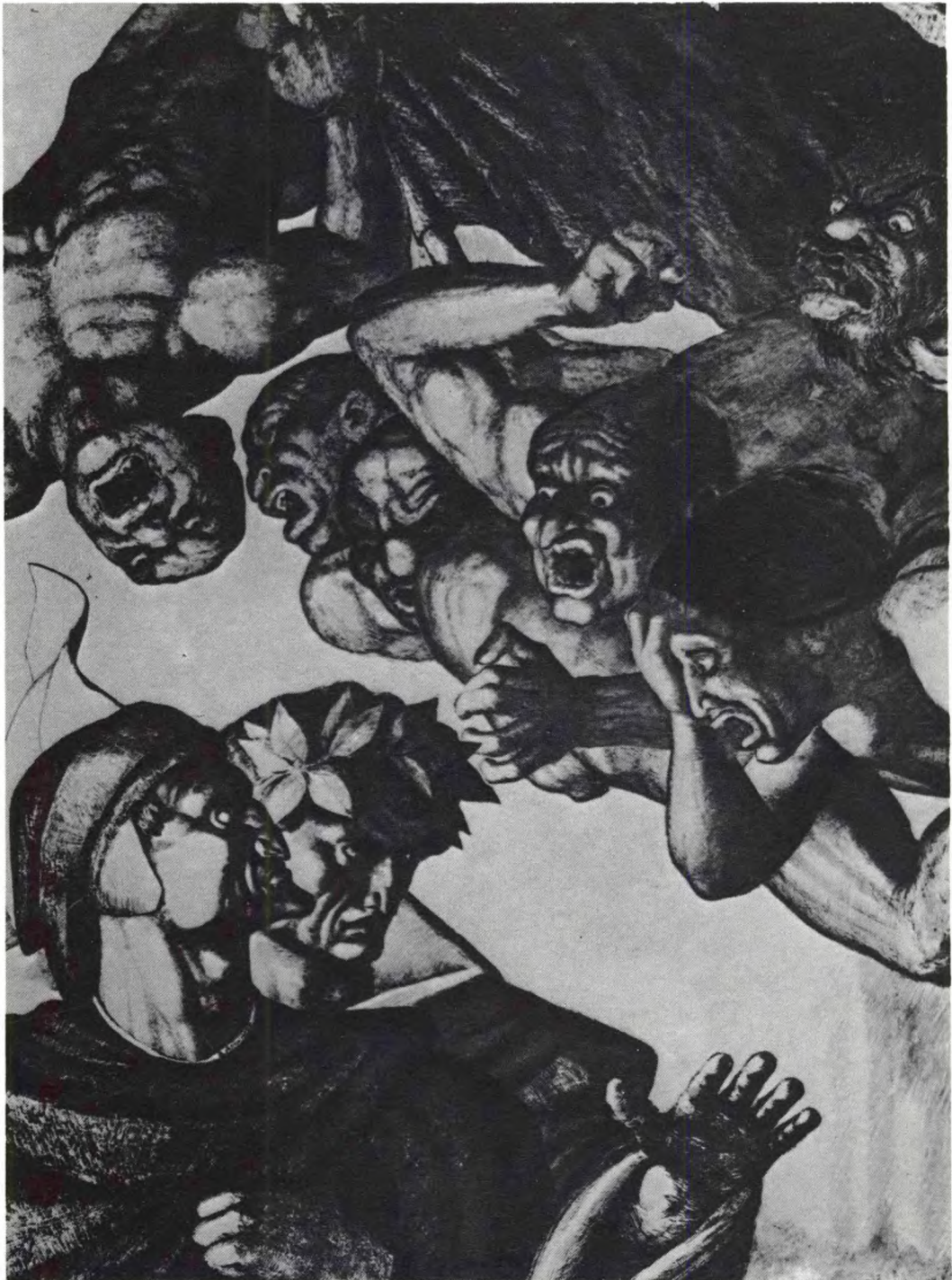
В. Я. Брюсов. Пейзаж.

Н. К. Рерих. Эскиз декорации к опере «Князь Игорь» (?).



Рисунки В. В. Хлебникова.

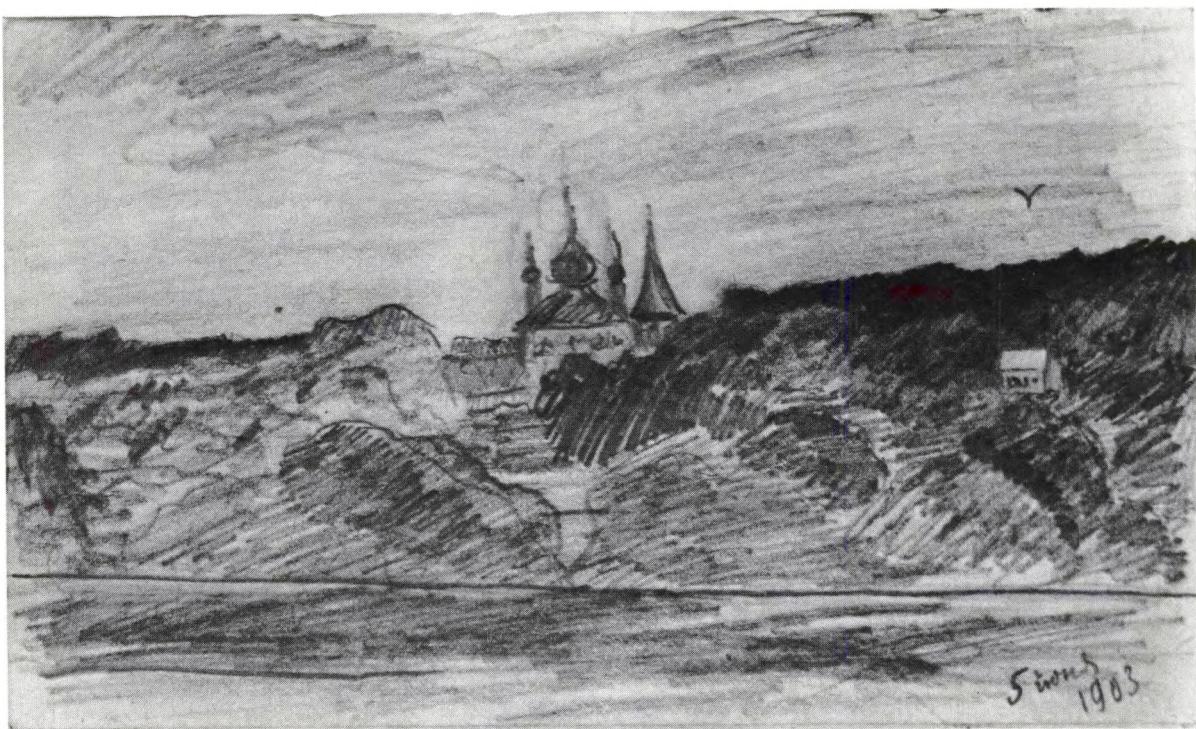




В. В. Державин. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте.

Детские рисунки Бориса Пастернака.





Товарищи девочки! Товарищи мальчики!
 Требуем у мамы эти медрики
продать везде



Дождик дождь выйду मैं 2 мажора
 Я не боюсь дождя
 С помапой трекостра
 мы везде ахал небо



продать везде

Победительница всех мик
 на всесоюзной пробке легковых машин



Лучшие сосиски не делают из
 гов. сосиски, со фруктов лет!



RO



продать везде!

